1 р. 50 к.

231, -14

ИНДЕКС 73274

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Начиная с первого номера 1992 года, на страницах журнала "Наш современник" вас ждет встреча с уникальным явлением в русской литературе, о котором до сей поры было известно лишь очень немногим людям, кто в течение десятилетий тайно хранил объемную рукопись. Известный писатель Леонид Бородин ознакомился с ней накануне своего второго ареста. Рукопись была арестована вместе с Бородиным. Как выяснилось спустя годы, специалист КГБ так квалифицировал эту книгу: "Автор с антисоветских позиций изображает события периода Октябрьской революции и гражданской войны. При помощи образа "героини" романа восхваляет буржуазно-помещичий строй царской России и отрицает Советское государство в эпоху его образования и становления. Первые, трудные годы Советской власти автор романа освещает клеветнически". После освобождения из лагеря Бородин долго разыскивал изъятую у него книгу, которая, по его мнению, стоит по своему значению в одном ряду с произведениями Булгакова, Солженицына, Пастернака, Олега Волкова. Но тщетно. Казалось, что рукопись безвозвратно исчезла в недрах КГБ.

И вот произошло чудо. Душеприказчица автора, Н. Ю. Квятковская, с риском для себя хранившая один из экземпляров, осмелилась наконец явить его миру и предложила для публикации в журнале "Наш современник"

роман Ирины Римской-Корсаковой
"ПОБЕЖДЕННЫЕ"

Это значительное по объему, многоплановости и глубине содержания произведение рассказывает о трагических судьбах русских аристократов, оставшихся на Родине и пытавшихся приспособиться к чудовищной действительности. Действие разыгрывается в 1931 – 1932 годах, когда органам ГПУ удалось нащупать следы этих людей, выявить их и уничтожить. И. В. Римская-Корсакова – внучка великого русского композитора, в своем романе описывает события с той доскональной достоверностью, которая свойственна только непосредственным очевидцам: ведь роман во многом автобиографичен. Но при чтении этой книги волнуют и потрясают не только факты. Роман написан дивным русским слогом, от которого мы уже отвыкли, он воскрешает давно забытую атмосферу высоких и чистых взаимоотношений между людьми, атмосферу благородства и доблести настоящих русских аристократов – тех, кого кровавая стихия сделала побежденными, но не поставила на колени.

Мы надеемся, что роман Ирины Римской-Корсаковой "Побежденные" встанет в один ряд с такими книгами, как "Белая гвардия" М. Булгакова, "Доктор Живаго" Б. Пастернака, "Погружение во тьму" О. Волкова.

Наш современник, 1991, № 11, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №11 1991

ISSN 0027–8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№11 1991

К 100-летию со дня рождения
Ивана Лукьяновича СОЛОНЕВИЧА

"Ослепительно блестящие ризы великой и бескровной серели и линяли даже не с каждым днем, а почти с каждым часом. С каждым днем шло все хуже и все хуже: фронт, продовольствие, отопление, порядок. Гибла всякая уверенность в каком бы то ни было завтрашнем дне. Что будет завтра? (...) В марте 1917 года толпы шатались по городу (...) и орали ура — своим собственным виселицам, голоду, подвалам и чрезвычайкам".

Иван Солоневич

Статью о И. Солоневиче читайте на стр. 179 – 185.

НАШ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей РСФСР
и трудовой коллектив редакции

№11 1991

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

Содержание

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **М. В. Масленникова, Л. Н. Тихонова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор) 200-24-83, 921-32-16 (заместители главного редактора), 200-24-94 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.08.91 г. Подписано к печати 30.10.91. Формат 70×108. Бумага типографская № 2. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,07. Тираж 312 371 экз. Заказ 2575

ИПО Союза писателей СССР, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

МИХАИЛ ЛОБАНОВ

СЛЕПОТА

Когда Лазарь Каганович, после разгрома «антипартийной группы» (летом 1957 года на Пленуме ЦК КПСС) очутился в качестве ссыльного в городе Асбест Свердловской области, где был назначен управляющим трестом «Союзасбест», он мог быть свидетелем удивительных качеств русского народа. В статье С. Парфенова «Железный Лазарь»: конец карьеры» (журнал «Родина», 1990 № 2) об этом говорится так: «...в новом управляющем многие по-прежнему видели первого заместителя Председателя Совмина СССР, соратника Сталина, всемогущего, может быть, незаслуженно обиженного Хрущевым руководителя... К нему валили гурьбой из города, окрестных деревень, из других районов. С шести утра у дома на Уральской собиралась внушительная толпа, кто с чем: с жалобой на местные органы власти, похлопотать за арестованных родственников, испросить пенсии, пожаловаться на того или иного чиновника, а некоторые просто поглазеть на легендарного «железного Лазаря».

Новый управляющий обнаружил полную неспособность разбираться в конкретных вопросах вверенного ему горного дела, но свое невежество он рьяно покрывал привычным стилем «руководства» в виде разносов, угроз, поисков «вредителей» и т. д. Один из инженеров вспоминает: «После одной из аварий управляющий, рассвирепев, вызывает нас с директором к себе, выпытывает причины случившегося. По ходу разговора я что-то вставил, уточнил. Лазарь Моисеевич глянул на меня и сквозь зубы:

— А вас я буду допрашивать в другом месте.

Я был молод, ершист и возразил: дескать, допрашивать меня будут другие, если, конечно, сочтут необходимым. Но только не вы. Каганович вскочил, желваки ходуном, глаза налились бешенством. Мне тогда подумалось: вот после таких, наверное, «бесед» он стрелял людей в спину в своем рабочем кабинете. И стало не по себе. А меня он в тот же день снял с работы».

«Было как-то застолье в Асбесте — прием в честь китайской делегации. Тогда директор Северного рудоуправления

ЛОБАНОВ Михаил Петрович родился в 1925 году в дер. Ишшаково Спас-Клепиковского района Рязанской области. Окончил филологический факультет Московского университета в 1949 году. Участник Великой Отечественной войны. Член СП с 1960 года. Автор книг «Роман «Русский лес» Л. Леонова» (1958), «Время врывается в книги» (1963), «Мужество человечности» (1968), «А. Н. Островский» (серия «ЖЗЛ», 1979), «С. Т. Аксаков» (серия «ЖЗЛ», 1987), «Размышления о литературе и жизни» (1982), «Страницы памятного» (1988) и других. Живет в Москве.

звездинский, крепко выпивший, подошел к «железному Лазарю», взял за пуговицу.

— На вашей коже нет ни сантиметра чистого, все в крови...

Каганович, не дрогнув ни одним мускулом на лице, ответил:

— Так надо было».

Вблизи, воочию видя малограмотного сапожника, ближайшего соратника вождя (в «личном листке по учету кадров» Кагановича значилось: «образование — самообразование»), ветеран комбината вспоминает: «мы с ужасом поняли, какое у нас было правительство, кто нами повелевал! Это не боги на Олимпе — баре и проходимцы»...»

Поняли-то единицы, а масса? У Лазаря Моисеевича — руки в крови от палачества (в России, на Кубани, на Украине), а простодушные русачки встречают его как «батюшку-царя», ползут к нему, ждут от него заступничества, суда праведного. Где, в какой стране, в каком народе возможно такое? Армянский патриот разделался с одним из главарей геноцида своего народа, младотурком Талаат-пашой (кстати, другом троцкистов), а наш русский мужичок, даже и зная о злодействах того же «железного Лазаря», разве лишь под пьянку резанет ему «правду-матку», а так, скорее, как с «жертвой» отведет душу в домино с ним (чем, говорят, баловался пенсионер — бывший сталинский нарком). Может быть, зная эту благоприятную для него медузную среду российского обитания, и дожил Лазарь Моисеевич почти до столетия.

Я не знаю даже, как понимать, как оценивать такое простецкое великодушие. Как говорил Достоевский, русский человек без православия немыслим, без него он ничто, дрянь. Но быть православным — не значит быть покорно тупым, бездеятельным; Христос изгонял торговцев из храма, он учил не бросать бисер перед свиньями, то есть перед духовно чуждыми силами, неисправимо враждебными тому, что христианин считает своей святынею. Христианство вовсе не означает блаженную глупость, сказано же: будьте сердцем чисты как голуби, а умом мудры как змии. Смирение — это не слабость, не всеядность, а несокрушимое мужество духа, величайшая сила на земле. И готовясь к Голгофе, укрепляя дух учеников своих, которых ждет злоба и гонения мира, Христос говорит им: «Мужайтесь! Я победил мир».

Будьте мудры как змии! Но почему мы, русские, умом не змии мудрые, а дитяти слепые? Почему опыт-то, прошлое нас ничему не учит? Казалось бы, хватит, попались раз на удочку революционеров, проглотили октябрьскую большевистскую наживку в виде лозунга: «фабрики — рабочим, земля — крестьянам» — до сих пор, спустя семьдесят с лишним лет, не переварили еще этот проглоченный по легковерию смертельный крючок. Среди партий до 1917 года была, между прочим, и партия Минина и Пожарского, ничтожная по количеству членов и по влиянию на массы, в то время как подавляющая масса населения отдала свои голоса при выборах в Учредительное собрание кадетам, эсерам, меньшевикам, большевикам, у которых хотя и была грызня между собой, но — при общей спайке против национальной православной России (как, например, показала совместная операция меньшевиков и большевиков в аресте и расстреле Колчака в Иркутске, подобно тому, как в свое время поход генерала Корнилова на Петроград быстро заставил Ленина и Керенского объединиться перед общей опасностью). Партия Минина и Пожарского не имела успеха в массах, но вот прошло три года, и под знаменем Минина и Пожарского командующий всенародным ополчением в г. Тамбове Антонов объявил поход на Москву для освобождения ее от большевиков. Поднялись сотни тысяч крестьян. Началась народная война, и только подавляющим военным преимуществом, неслыханными зверствами над мирным населением большевикам удалось потопить в крови восстание. Так, оказывается, одна и та же патриотическая идея в одних случаях, на тех же выборах, затмевается демагогией политиканов, оболванивающих людей, в других исторических обстоятельствах становится огромной силой, объединяющей народ. Но почему это понимание приходит слишком поздно и ценою какой крови дается!

Не так ли теперь? Как в Октябре, масса опять клюнула на наживку — на этот раз на жульнические посулы так называемых «демократов». Но что еще более удивительно: посулов-то особых нет, есть звериная жажда денег и власти, которая заявляет о себе открыто и цинично, есть заклинания о «рыночной экономике», о «приватизации». И хотя уже прямо говорится о капитализации страны, но «построить капитализм» эти «демократы» могут с той же долей успеха, как еще вчера они же строили «зрелый социализм» и коммунизм. Те же, что и у «ленинской гвардии» когда-то, приемы: грабеж чужой собственности, перераспределение, «визитки», «талоны» — как средство закрепощения людей, манипулирования ими и т. д. Та же антинациональная антирусская политика с провокационными лозунгами об «опасности великорусского шовинизма», «русского фашизма». Тот же «интернационализм» — прежде с ориентацией на мировую революцию, ныне — на «общечеловеческие ценности», на «общеевропейский дом», на «цивилизованный запад», на мировое правительство. Вы когда-нибудь читали, слышали, чтобы эти «демократы», их вожаки хотя бы раз за все время «перестройки» произнесли слово «русский», — в лучшем случае, со скрипом могут выговорить «россиянин». Тридцатилетняя история русского патриотического движения (в том числе деятельность журналов «Молодая гвардия», «Наш современник») все-таки дала свои плоды, если ныне даже «демократы» в целях наживы политического капитала вынуждены спекулировать на идее «возрождения России», на традициях «российской культуры», даже на православии. Вчерашние громилы всего этого (от писаки до матерого партократа) сегодня объявили себя крещеными

«россиянами», но вот назвать себя «русскими» — ну, никак не хватает духа. И чего стоят эти дежурные «демократические» фразы о «возрождении России», так сказать, без субъекта национального сознания. Дело не в том, чтобы назойливо называть себя русским (это глупо), — все делается для того, чтобы вообще забыть, что ты — русский. А это значит, забыть свою историю, свою тысячелетнюю родословную, забыть, что ты, русский, — наследник одной из величайших в мире культур, непреходящих духовных сокровищ. Вытрави это из сознания, и что остается? «Простой советский человек». Та простота без чувства собственного достоинства, о которой сказано, что она хуже воровства, — этого национального достоинства нам и не хватает, от сего и многие беды. Вспоминаю один случай на Северном Кавказе, в самом начале 80-х годов. Приехал я тогда в Ессентуки, в санаторий, часы были поздние для регистрации, и меня поселили временно, до утра, внизу, в приезжей комнате. Вскоре появился здесь и другой запоздалец, грузин, начавший тотчас хозяйственно устраиваться. Он наставил на пол множество бутылок с чачой и предложил мне выпить. Я отказался, и он не настаивал. Вошел третий ночлежник, в кителе с непонятными мне погонами (как потом выяснилось—капитан речного флота). Выставленный ряд бутылок вызвал в нем суетливую оживленность, на предложение грузина выпить он выкрикнул что-то простецкое и начал действовать. Выпив для начала, он попросил у грузина курицу, лежавшую на тумбочке, и как же он рвал, жрал эту курицу, пожирал с чавканьем, нахваливая ее, не расставаясь с бутылкой чачи. И как же мне было стыдно за него — русскому за русского. Грузин, видя, кажется, это мое состояние, смотрел как-то отчужденно на загулявшего русака, мне показалось, с легким презрением; мы укладывались спать, а капитан речного флота все наяривал даровую чачу. Рано утром гуляка опять хотел было пристроиться к бутылке, я не выдержал и сказал, что через два-три часа начнется врачебный осмотр и дело кончится плохо для любителя чачи. Грузин сказал, что ему не жалко чачи, но врач может выписать за выпивку из санатория. Противнее всего в этой истории было то, что человек в погонах унижался как последний какой-нибудь падший нищий перед кавказцем, может быть, базарным торговцем, а тот по этому плебею может судить вообще о русском человеке.

Но мы должны знать себе цену, не надуманную, а цену реальную, объективную. Знать то, чем нам обязаны другие. Конечно, не тем, о чем сказал когда-то на съезде писателей советской среднеазиатской республики уязвленный гость из Москвы, когда ему, представителю России, дали слово последнему, после всех гостей из других республик. В ответ на выкрик из зала: «чему вы, русские, нас научили», — он с трибуны невозмутимо пояснил: «Хотя бы с... не против ветра». Но — не шутя — кое-чему научили, хотя бы в литературе: так бы и писали «против ветра» местные доморощенные классики, никому неведомые, если бы не русская литература, не русский язык, благодаря которым они и «вышли в люди», очутились вроде бы даже на виду «планеты всей», авторы всех этих «Плах» и прочей самодеятельщины. Благодаря России еще сдерживается межнациональная резня в «суверенных» республиках, и можно представить, какая начнется там резня с фактическим отделением их от России.

Но вот я написал о резне и задумался: а как там думают об этом? Читаю только что полученное мною письмо бывшего студента моего семинара в Литературном институте им. Горького Эдуарда Симоняна из Еревана (письмо от 20 мая 1991 года). Горько читать это письмо: «Вся же правда в том, что почти все приграничные с Азербайджаном армянские села были подвергнуты нападению русско-турецких войск... Михаил Петрович, предвижу, что сочетание **русско-турецких** покажется диким. Но дико не только это, а и все, что произошло и происходит в Карабахе и Армении. Армяне изгоняются русскими солдатами из своих домов, со своей родины. Российская интеллигенция, так оперативно и достойно отреагировавшая на Тбилиси и Вильнюс, оказалась терпимой к геноциду армян, происходящему у них на глазах, в их стране. У меня появился комплекс национальной неполноценности. Может, так надо, может, заслужил. Что Вы об этом думаете. Извините за резкий тон письма, надеюсь на Ваше понимание.

С уважением

Ваш бывший студент

Эдуард СИМОНЯН».

Дорогой Эдуард, мне легче было ответить на Ваше первое письмо, где Вы с такой болью писали о страшных последствиях землетрясения в Армении. Тогда в моей памяти всплыло все доброе, что связано было с моей поездкой в Армению, встречами с ее людьми, и мне было легко говорить с Вами. Теперь же, чувствую, Вас отделяет пропасть от меня как от русского человека. Положение мое незавидно и тем, что в моем семинаре были и Вы, и азербайджанец Ахмедов, оба, верю, уважающие меня, так же, как я с теплотой помнящий вас обоих. Как и Вы, Ахмедов может (если не сейчас, то завтра) винить в происходящем у них русского солдата, русских. Как мне, русскому, быть? Для обоих вас я виноват, не лично, а национально. Из письма Вашего я впервые понял и почувствовал, что произошло что-то непоправимое, если для армян «русское» стало равнозначно «турецкому» (то есть виновнику геноцида армян 1915 года). Лет пятнадцать-двадцать тому назад академик Амбарцумян в своей статье уподоблял взаимодействие между русским и армянским народами как между солнцем и планетой. Конечно, говорилось это искренне, но преувеличенно, в духе того времени («старший», «младший брат» и т. д.). Помню, во время своей поездки (кажет-

ся, в 1977 году) в Армению я наслушался в купе от двух соседей-пассажиров армян — композитора и научного работника — много любопытного. Поразило меня тогда то, что оба говорили о современной Армении как о преходящем этапе своей древней истории, говорили о том, что при русских жить можно, они не мешают и т. д. Поездив тогда по армянской земле, я понял, что такое для них Арарат. А теперь вот Карабах, где кровавые события связываются с русскими. А тут еще масла в огонь подливают московские «демократы». В том же конверте, со своим горьким письмом, Вы, Эдуард, вложили брошюру «По дорогам Карабаха». Автор ее, «народный депутат» Моссовета А. Мальгин, с репортерской лихостью отбарабанил свои летучие впечатления» о встречах и разговорах с армянскими жителями Карабаха, упиваясь фразами о немыслимых зверствах «русских солдат» (почему не «советских»?) Ни одного исключения, сплошное зверство; одни садисты, «людоеды» и «наркоманы». «Хотелось бы, чтобы эти матери знали, с какой чудовищной жестокостью их сыновья карают других матерей. Не надо рожать таких сыновей». Выводы автора вполне однозначны (говоря модным словом): «во всех пострадавших селах я слышал о повальном мародерстве солдат и офицеров»; «Не раз в Карабахе я слышал, что растет первое поколение, у которого ненависть к русским будет заложена в крови»; «Зверь, почувствовавший человеческую кровь, становится людоедом. Вот кого мы воспитываем в рядах нашей армии» и т. д. Но автор не ограничивается бойкими обличениями, а грозит неким загадочным: «В случае такого развития событий («широкомасштабных военных действий» в Карабахе) не исключено, что демократические силы в стране примут решение повторить опыт испанской войны 1937 года... с участием вооруженных интернациональных отрядов». Вот, оказывается, какая война по душе крошке-стратегу: не национально-освободительная, а интернационально-космополитическая. Теперь-то уж, кажется, сник ореол испанской войны 1937 года, и как-то по-другому видятся обе стороны — национально-франкистская «фаланга» и интернационалистский сброд, съехавшийся в Испанию со всех концов света. Воевали-то, конечно, русские «ребята», а не этот сброд, не Матэ Залки, Кольцовы, Эренбурги и прочие агитаторы-интернационалисты с их «Гренада, Гренада моя». Захотелось и Андрюше Мальгину отведать воинственной славы, наподобие Михаилу Кольцову в Испании, можно даже подумать, что он и возглавит «демократические «силы» (то бишь «вооруженные интернациональные отряды») в Карабахе, зажжет пожар новой мировой революции.

Помните, Эдуард, я говорил Вам в свое время о книге Д. С. Киракосяна «Младотурки перед судом истории», вышедшей сначала двухтомником на армянском языке в Ереване, а затем в сжатом изложении на русском языке. Вы мне писали тогда, что не нашли этой книги в Ереване. Так вот, много неожиданного можно узнать в ней о геноциде 1915 года. На богатом фактическом материале автор показывает, что организовали и проводили этот геноцид не султан, не турецкий народ, а младотурки, так называемые денме, которые по национальности не были турками. Это была организация масонов-заговорщиков, захватившая власть в Турции в 1908 году и устроившая массовую резню армян. С восстановлением в 1919 году власти султана в Турции султанский суд приговорил младотурецких главарей к смертной казни, но им удалось скрыться за границей. Примечательна связь младотурецких главарей с троцкистами (в 1918 году Карл Радек жил на квартире «главного палача армянского народа» Талаат-паши, был солидарен с ним в армянском вопросе). Геноцид продолжался и с приходом к власти Кемаля Ататюрка (также денме).

Народ есть народ, и он может расплачиваться за слепоту свою (что и настигает его), но не может отвечать за преступления, политику правителей. Космополитические правители русского народа за последние семьдесят лет никогда не думали о его национальных интересах и сейчас стремятся сделать его «козлом отпущения» в своей «перестройке». Русский народ должен был играть роль «старшего брата» в «семье единой», теперь же внушили, что он не брат, а враг. Но это наваждение пройдет так же, как прошла лживая, навязанная сверху «дружба народов». Нам не надо заискивать перед другими народами, а быть теми, какие мы есть. Я знаю только то, что если преемникам «интернационалистов», нынешним «демократам», удастся (разумеется, под руководством координационного мирового центра) подавить пробуждающееся национальное самосознание русских, разрушить Россию, сделав ее сырьевым придатком Запада, — то это прямым образом скажется на денационализации, космополитизации всех других народов нашей страны. Россия, как страна православная, всегда будет под покровом Божиим, а не под властью вселенского Президента Вельзевула. Поэтому, без всякого преувеличения, защита России, а не разрушение ее — дело всех наших народов.

Подобно тому, как лидеры сионизма рассматривают «правовое состояние» в любой стране по ее отношению к евреям, так и нам следует судить о политике наших правителей, парламента и прочего по их отношению к русскому народу. И пора прозреть русским людям и видеть воочию то, что сейчас происходит. Неужели у нашего народа нет даже инстинкта самосохранения, если он не видит, как власти открыто третируют его, попирают его достоинство.

Мы, русские, слишком доверчивы к нравственным декларациям. В оправдание общей слепоты каждый может сказать и о своей слепоте. Скажу о своей промашке. Как-то по телевидению шла передача «Нравственная проповедь». Выступал академик Б. Раушенбах, который мне был до того известен не только как ученый,

но и как знаток русской иконописи, можно сказать, как русский интеллигент, если не патриот. Б. Раушенбах привел пример с одним выходцем из африканской деревни, который, получив образование на Западе, остался там, а не возвратился на родину, чтобы учить африканских детей, вносить свет просвещения в жизнь своих земляков. Академик-проповедник назвал поступок такого африканца безнравственным. Вот уж поистине «где родился, там и пригодился», — подумал я, сочтя автора проповеди, немца по национальности, аборигеном земли русской.

И вот проходит немного времени, и Б. Раушенбах возглавляет движение советских немцев за создание в России «независимого немецкого государства» (которого никогда не было в России), выступает на эту тему в печати, добивается встречи с Президентом СССР и т. д. Надо ли говорить, чем чревато создание такого «немецкого государства» внутри нашей страны, — вспомним вторжение в Чехословакию под предлогом защиты интересов судетских немцев. Наивно думать, что связь между «немецким государством» на русской земле и ныне объединенной мощной Германией ограничится в будущем сентиментальными рождественскими посылками, а не превратится в немецкую экспансию против нашего народа! (О, не дурачьте нас сказками о райском «общеевропейском доме».) А я-то, наивный, слушая «нравственную проповедь» Раушенбаха, думал: вот наш русский патриот, не то, что африканец! Нет уж, братцы, перестанем умиляться «нравственным проповедям», не то нынче время, это вам не XIX век, когда п р и н и м а в ш и е п р а в о с л а в и е деятели науки, культуры иностранного происхождения действительно становились п а т р и о т а м и России, не помышляя о создании внутри нее эфиопского, датского, турецкого и прочих государств.

Нам надо прийти в себя, сосредоточиться. Слова Достоевского «широк, русский человек, надо бы его сузить» — в прямом смысле слова относятся к нам, русским. Мы слишком широки, раскинули свои руки для объятия чуть ли не всего человечества, а не видим почвы под ногами, есть ли она. Мы все еще живем прошлым, никак не можем расстаться с призраками, принесшими народу столько зла. То, что другие народы выбрасывают на свалку, мы подбираем и молимся этому (вроде того, как демонтированный памятник Ленину в Армении был увезен в Самарскую область и установлен там). То, что у других стало посмешищем (спекуляция на «интернационализме»), нами принимается всерьез. В единственной вроде бы (наряду с «Литературной Россией») некосмополитической у нас газете «Советская Россия» не раз печатались письма русских читателей, проклинающих «религиозное мракобесие» похваляющихся тем, как «мы бивали беляков» и т. д. У этих идейных бойцов уже есть действительные хозяева — эксплуататоры из нынешних приватизаторов, которые завтра выбросят их на помойку искать пищевые отбросы, как и десятки миллионов других безработных, а они все клянут помещиков да беляков.

И верят во временщиков. Помню споры с моим дядей по матери Алексеем Анисимовичем Конкиным. Бывший фронтовик, видавший столько смертей на войне, что у него уж, казалось, не оставалось веры ни в человека, ни в Бога, он по-детски верил в правителей при Брежневе. «Кто-то же там думает, отвечает за страну», — говорил он убежденно. «Никто не думает и не отвечает», — не менее убежденно отвечал я, и такого же мнения держусь ныне — как о тогдашних так и о нынешних правителях. В лучшем случае власть осознает себя, учитывая социальную психологию, психологическое поле из многомиллионных человеческих воль. Но какая может быть ответственность за страну у нынешних «архитекторов перестройки», если что и учитывающих, то скорее мнение бушей, тэтчеров, бронфманов и прочих, нежели «мнение народное». Трагедия в том, что простые люди по житейскому опыту своему не представляющие, как можно разрушать собственный дом, в котором живешь, становятся жертвами своего собственного легковерия. Страшнее то, что они сами втягиваются в эту разрушительную работу, полагаясь на воображаемую правоту властей. Об этой психологической народной черте правдиво написано в повести оренбургского писателя Г. Саталкина «Скачки в праздничный день». Жокей Иван Агеев, зная, что его лошади грозит гибель, идет на скачки, губит лошадь, повинуясь указанию начальства: начальство знает, что делает.

Не так ли и сейчас: все вроде бы должны догадываться, знать, куда, к какой пропасти нищеты и бесправия (вовсе не к процветающему капитализму) ведут «демократы» с их программой невиданной безработицы, ставкой на уголовную теневую экономику, и массы все-таки прут к пропасти, как бараны, что показали выборы.

* * *

Варлам Шаламов часто употреблял в своих записях 70-х годов, в разговорах аббревиатуру «ПЧ» — «прогрессивное человечество». Писатель, выработавший в себе опытом лагерей прямой взгляд на вещи, говорил о донимавшей его шумной публике из «ПЧ»: «Я им нужен мертвецом, вот тогда они развернутся. Они заталкивают меня в яму и будут писать петиции в ООН». «Этой сволочи плюху прямо на пороге дать — только так от нее избавишься». Но писатель не избавился от этой сволочи и тогда, когда, по свидетельству автора воспоминаний, попал в психоневрологический «дом инвалидов» и «бедная, беззащитная его старость стала предметом шоу», «доброжелатели» не щадили Варлама Тихоновича, организуя сенсации с фотовспышками, записями голоса, письмами на Запад, «обзваниванием» левых деятелей».

Среди разновидностей «ПЧ» в тех же шестидесятых — семидесятых годах весь-

ма активна была либерально-космополитическая идеология. О журнале «Новый мир» Шаламов писал как о приспособленческом, играющем на социальной конъюнктуре, враждебном подлинной интеллигенции (письмо к Эренбургу). В самом деле, достаточно было Солженицыну (открытием которого гордится «Новый мир») настоять на непреклонности своей оппозиции режиму, как хваленые новомировские протестанты перепугались и порвали с несговорчивым писателем. Впрочем, иначе и не могло быть, ибо со времени своего издания — с 1925 года этот журнал всегда был журналом не традиционного русского мира, а именно «нового мира», советского. Такова была, собственно, и вся так называемая «творческая интеллигенция», именующая себя ныне «жертвой тоталитаризма». Вся гнусность в том, что, не имея мужества держаться внутренней свободы, независимости творчества, малодушно, рабски обслуживая режим, в лучшем случае не выдерживая идеологического насилия, давления и уступая ему, ныне эти гении выдают себя или выдаются их поклонниками за распятых агнцев. Но не укреплялся ли тот тоталитаризм этими приспособленцами, восхвалявшими его?

В журнале «Новый мир» (1990, № 3) опубликована статья Л. Лебединского «О некоторых музыкальных цитатах в произведениях Шостаковича». Говоря о введении композитором в свой восьмой квартет популярной траурной мелодии революционной песни «Замучен тяжелой неволей», автор статьи поясняет, что Шостакович эту горестную песню относил к себе. Конечно же, замучен композитор «тоталитаризмом». «Что конкретно его мучило? Прежде всего, **неволя.** Свободолюбивый демократ, он должен был жить и творить в условиях тоталитарного строя... Квартет был задуман как документ, объясняющий обществу причину его, Шостаковича, гибели». Далее мы узнаем, что квартет был написан в 1960 году, сразу же после заявления композитора о вступлении в КПСС. Можно подумать (и это резонно), что вполне зрелый гражданин, теперь уже коммунист из сверкающего нового мира слышит траурную мелодию мира старого. Но нет, оказывается, «именно это насилие — вступление в партию — и было, как считал сам Шостакович, равносильно его гибели». Здесь возникает самый элементарный вопрос: зачем композитор все-таки вступил в партию, если это означало его гибель? Ведь это было не сталинское время, а «благословенно»-хрущевское, «оттепельное». Опять виноват «тоталитаризм», «сталинизм»?

Ниже следует еще более удивительная история — о Двенадцатой, так называемой ленинской симфонии Шостаковича: «...симфония (я знал об этом от самого композитора) была задумана как критика Ленина. Однако за две недели до ее премьеры в Ленинграде композитор, поняв, что замысел ничем не прикрыт и крайне опасен, в кратчайший срок, работая день и ночь, написал нечто хотя и совершенно новое, но маловразумительное. Тем не менее этот неудачный опус был объявлен льстивой и беспринципной критикой гениальным, в то время как сам композитор был в отчаянии». Если печатные словесные оды Шостаковича Сталину, коммунизму еще можно понять, то кто мог заставить всемирно известного композитора, опять-таки в «оттепельное» время, насиловать святая святых — талант, так стремительно менять «критику» Ленина на его воспевание? Запоздалой казуистике «оправдания зла» не скрыть того факта, что своим приспособленчеством к духу времени соответствующими сочинениями деятели культуры, искусства «освящали» столь освистываемый ими ныне «тоталитаризм», «облагораживали» его в глазах мировой общественности. И здесь они объективно куда больше делали для «тоталитаризма», для защиты его, чем партократы. Чего стоило для ЦК хотя бы козырянье принадлежностью к партии коммунистов Шостаковича («С кем вы, мастера культуры?»).

Возьмите любого известного «деятеля культуры», и в каждом (за исключением буквально единиц) вы увидите прислужника режима. Союзом режима с «интеллигенцией» (мерзкое слово: интеллигентов тьма, творческих личностей среди них — единицы) и фабриковалась ложь, вершился обман народа. И сейчас эта интеллигенция быстро переориентировалась и кинулась в сторону «архитекторов перестройки». Никогда еще не было такой смердяковщины в этом сброде. Патологических размеров достигло преклонение перед Америкой, обожествление ее. Ничего не говорят людям общеизвестные факты, свидетельствующие о материальном паразитизме США на человечестве: при пяти процентах населения планеты (250 миллионов) эта страна потребляет 40 процентов мирового производства сырья, а выбрасывает в почву, воду, атмосферу более 50 процентов всех мировых отходов. Не говорят ничего и факты беспримерной жестокости, аморальности американских властей; недавний пример этому — беспрерывные, чудовищные, в течение недель, бомбардировки мирного населения в Ираке, уничтожившие сотни тысяч неповинных детей, женщин, стариков. И в то время, как генерал-горилла Шварцкопф осуществлял этот геноцид, президент США Буш, призвавший американцев к «национальной молитве», цинично, кощунственно разыгрывал роль молитвенника-миротворца. Агрессия США в Ираке стала зловещим предупреждением всем кто не хочет поступиться национальной независимостью. и вот уже в нашей стране «архитекторы перестройки» в открытую призывают США под эгидой ООН вмешаться в наши внутренние дела для установления должного «мирового порядка».

Понятен американизм советских космополитов, людей нерусских. Там, в Америке, они свои, там их подкармливают различные фонды, еврейские организации и т. д. Правда, многие из них и хотели бы там остаться, но в США все-таки надо работать, и работать адски, к чему наши «американцы» не привыкли, не способ-

ны, да и уровень квалификации убог. Правда, и с убогой квалификацией их могут временно пригреть за особые заслуги перед русофобией (Евтушенко, Коротич). Но присмотримся к психологии «челночных перестройщиков», снующих туда-сюда, из СССР в Америку и обратно (вырванный у «парламента» закон о выезде-въезде). Приехал, например, в США из СССР какой-нибудь «народный депутат», «экономист» для «чтения лекций», поговорил о том о сем часок перед десятком-другим слушателей (чаще «русскоязычных») — обычная картина выступлений наших гастролеров за рубежом, — и ему вручают чек на тысячи долларов не за научную, разумеется, ценность «лекции», а за те же «особые заслуги». Хотя там и знают счет деньгам, но для своих не жалеют. И если учесть, что советский рубль унижен до предела (пятьдесят рублей за один доллар, хотя сам доллар на Западе ничего не стоит, три-четыре доллара кружка пива, то есть наших сто двадцать — двести рублей), если учесть, что лучший компьютер в США стоит около полуторы тысячи долларов, а у нас его «хватают» с ходу за восемьдесят тысяч рублей, — то, спрашивается, страшен ли нашим гастролерам дикий рынок с его «суперинфляцией»? Знаю, гастролеры посмеются над этим ничтожным для них «раскладом». Но я рассчитываю на читателя «дикого», верящего, что все эти наши «советники-экономисты» серьезно озабочены кризисом в нашей стране, что они наравне с народом будут нести тяжесть «выхода из кризиса». Программа у них откровенная — выбросить на улицу десятки миллионов безработных, наживая на бедах, страданиях народа капитал, «приватизируя», грабя то, что наработано народом.

И сумели же вдолбить культ американизма в голову русских, занятых подсчетом, сколько получает в США инженер, сколько программист, сколько ученый. Да нисколько там русский человек не получит, там он просто никому не нужен. Как сказал мне один крупный ученый математик: «там я мыл бы посуду», — потому что он не нашел бы точки приложения своему выдающемуся таланту, что не ко двору пришелся «демократам» с их заокеанскими хозяевами.

«Демократы» не прочь поговорить о бесах, об историческом предвидении Достоевского в «Бесах» («Известия» от 3 июля 1991 года с умилением приводят высказывания о «Бесах» такого беса, как А. Ф. Керенский), клянется «сталинщина» (термин беса Л. Троцкого), и при этом делается вид, что бесы только там. А между тем ныне появились и множатся, как тысячеголовая гидра, новые, «демократические» бесы, программирующие сорокамиллионную безработицу (с каким циничным удовлетворением пишут «демократы» о первых биржах труда!), массовую преступность, уничтожение семьи, остатков народа России, закабаление всех нас под властью мирового правительства, понятие дьявольских масонских сил.

Трагедия России в том, что народ не видит за политической демагогией приспешников дьявола.

• • •

Ну, а интеллигенция русская, национальная? Если иметь в виду не аморфную массу, объединяемую безликим словом «интеллигенция», а силы здоровые, то они есть. И более, чем в другой среде, есть в среде писательской (в отличие от среды научной кинематографической, театральной, музыкальной и т. д., где полнейшее антирусское засилье). Что это так, показал наглядно прошедший съезд писателей РСФСР с его патриотической атмосферой, выборы в писательские органы, где впервые за все время существования Союза писателей оказались за бортом левые экстремисты (как, впрочем, и былые процветавшие чиновники от литературы). Известна та могучая сила воздействия на людей, какой обладает пресса. «Малое дело, тиражированное миллионом экземпляров, становится большим делом», — изрек некто академик Гинзбург («Правда» от 2.04.1990 г.). Благодаря прессе, многомиллионному тиражированию не только малое становится большим, но и ничтожное превращается в великое, бездарное — в гениальное, аморальное — в образцово-нравственное. Создаваемый прессой фиктивный мир затмевает мир реальный, отменяет его.

Да, антирусская пресса, приведшая к власти «демократов», могущественна, но подобно тому, как бесы страшатся поста и молитвы, так эта империя печатной лжи боится правды. Многомиллионоголовая гидра не выдерживает прямого взгляда, нравственной прямоты. Ну не смешно ли: стоило в одном из районов Москвы появиться газетке «Пульс Тушина» с ничтожным тиражом (редактор Владимир Фомичев), как на нее остервенело накинулись «Известия», «Огонек», их собратья. Благодаря мужеству талантливого прозаика Николая Дорошенко некогда бесцветный «Московский литератор» превратился в писательскую гражданскую трибуну. Кто слышал каких-нибудь два-три года назад об альманахе «Кубань», а ныне это (теперь уже не альманах, а журнал) одно из лучших периодических изданий в стране (главный редактор Виталий Канашкин). Был такой «невзрачный» журнал «В мире книг» — ныне это интересный культурно-духовный журнал «Слово» (главный редактор Арсений Ларионов, заместитель главного редактора — Виктор Калугин). Начала выходить новая литературная газета «День» (главный редактор Александр Проханов, заместитель главного редактора Владимир Бондаренко, члены редколлегии Владимир Личутин, Карем Раш и другие), первые же номера газеты в защиту армии и целостности государства вызвали злобные нападки «Литературной газеты», прочих «демократов». Вы посмотрите, всего только несколько патриотических изданий с ничтожно малым (по сравнению с радикальными изданиями) тиражом, а ка-

кая это заметная общественная сила, способная вывести из себя газетных монополистов. Это и свидетельство того, сколько у нас активных патриотических сил, они могут объединиться, делать общее дело.

Вообще здоровые патриотические силы у нас есть, они нуждаются в поддержке, защите. Поддержкой может быть и нравственный пример. У нас есть писатели с нравственным авторитетом, и тем более следует им дорожить тем, кого в народе знают и любят. Ведь чтобы завоевать этот авторитет, нужны годы, иногда целая подвижническая жизнь. Поколебать, подорвать, потерять его — достаточно одного изменнического поступка, ложного печатного слова, политиканского расчета. Надо ли говорить, как это особенно опасно для писателей, которые в отличие от чуждых нравственности политиков, призваны выражать глубинные моральные интересы людей, народа...

Меня поразили слова М. С. Горбачева в его выступлении на Первой сессии Верховного Совета СССР: «Мы столько глупостей наделали на начальном этапе, когда хорошие фонды производственные, кадровый потенциал нашего военно-промышленного комплекса, оборонного сектора начали использовать на чепуху. Тут может быть большой проигрыш. Но сейчас это уже осознано» («Правда» от 13 июня 1990 г.). В самом начале «перестройки», во время кампании против пьянства, поспешно вырубили ценнейшие плантации виноградника — скажем так, по глупости. Но от глупости «оборонной» ноги подкашиваются. Вдумайтесь: то, что десятилетиями накапливалось, нарабатывалось как лучшее в науке и технике, поставленное на службу обороны страны, — пущено на кастрюльки. Психологически я почувствовал себя как в дни войны. Тогда, не подготовленные к войне, мы буквально трупами своих людей, солдат заваливали врага, вооруженного всеми видами новейшей техники. В первом же бою, на Курской дуге, в августе 1943 года (в котором мне пришлось участвовать) от нашего батальона осталось в живых человек пятнадцать — двадцать. На утро — новые пополнения, новые валы трупов. И вот я думаю: опять мы можем голыми оказаться пред врагом? [1]. И неужели в этом мудрость Президента как Верховного главнокомандующего?

И так ли необходимо писателю брать под защиту человека, облеченного чрезвычайными полномочиями? Еще понятно когда «демократы» Бакланов, Гельман, Гранин и т. д. обращались льстиво с открытым новогодним письмом к Горбачеву («Московские новости» от 1 января 1989 г.), дабы подвигнуть его на расправу с «врагами перестройки». А какая нужда беспокоить Президента довольно беспредметными одами, чему отдали дань все наши «деревенские» классики? Не резоннее было бы (и это в традициях русской литературы) взять под защиту «малых сих», оказавшихся под безжалостным катком «перестройки», поддержать тех мыслящих русских людей (не отмеченных никакими полномочиями), которые борются за Россию. Что-то я не припомню, чтобы наши деревенские классики хотя бы однажды назвали печатно имя какого-нибудь нынешнего «славянофила» (ведь не собчаки они, ведь это только Собчаку пристойно отчеканить: «я не западник и не славянофил, я — россиянин»). Нет, лучше уж быть «славянофилом» или даже «западником», чем загадочным «россиянином».

Нет ли во всем этом признаков наступающих в жизни России коренных психологических перемен? Газета «Известия» (15 апреля 1991 г.) с гордостью оповестила читателей о том, что некий юный Г. Стерлигов (образование — «средняя школа плюс один курс университета») «сделал» свой первый миллион за месяц работы. Что же это за работа? Вместе с братом Д. Стерлиговым он стал совладельцем биржи строительных материалов «Алиса», то есть гребут в десятки раз дороже за доски и прочее, чем государственная цена. Но «соль» не в этом, а в том, что братья и подобные им объединились дружно в клубе, чтобы защищать себя, по их словам, «самых бесправных» у нас людей — миллионеров. Оказывается, миллионеры самые социально незащищенный у нас слой населения. Но ведь такие же грабители и все другие совладельцы, президенты фирм и все прочие президенты, объявившие цветом народа, надеждой страны предпринимателей, которые у нас никто иные, как уголовники, жулики, грабящие народ, расхищающие богатства страны, вывозящие стратегическое сырье за рубеж в хищнических сделках.

Но мы отвлеклись, вернемся к нынешней литературной обстановке. Дозволенная сверху свобода говорить и писать что угодно, в том числе патриотическое, еще не гарантирует прочности убеждений. В испытаниях, в риске укрепляются, закаляются, как в горниле, убеждения, а этого многие не ведают. Более того, молодые литераторы уверены, что с них и начинается «возрождение России». Как будто до них ничего не было. Людям под сорок, за сорок, а они даже не задумываются о той драме, когда русские идеи, которые отстаивали, за которые боролись в 60—80-е годы патриоты старшего поколения, ныне перехвачены «демократами», взяты ими на вооружение в качестве политического капитала и под знаменем «Возрождение России» идет уничтожение России.

Вспоминается, сколько вилось певцов Руси вокруг журнала «Молодая гвардия», пока не грянула статья А. Яковлева «Против антиисторизма» в «Литературной газете» (14 ноября 1972 г.) с политическими обвинениями «русофилов». Как от выстрела воробьи, разлетелись певцы по кустам, а один небезызвестный стихотворец тотчас же тиснул в «Огоньке» стихотворение о том, как он шел вперед, оглядываясь назад. Вот тогда-то и выяснилось, кто чего стоит, прежние «русофилы» быстро обрядились в сверхсоветских. Тогда-то и произошло очищение патриотической идеи от приспособленцев. Не повторятся ли подобные истории в будущем, когда кончится этот фарс с демократией, плюрализмом и потребуется испытаниями, а может быть, и жизнью расплачиваться за убеждения.

* * *

Но и в нынешних, «свободных» условиях испытания ждут крутые. Много было попыток «перестроить» русского человека, в прошлом — по немецким, французским меркам, теперь хотят из него сделать американца. Иные побывавшие в Америке, дуреют от доллара, от потребительского потопа, но ведь резоннее дуреть, скажем, от тамошнего «религиозного проповедника», бегающего по сцене с мегафоном (как у нас когда-то эстрадные стихотворцы в Лужниках). Дуреют от компьютеров, «видео» и прочего, особенно в предвкушении спекуляции этими заморскими дивами у себя, в «этой стране». Но опять-таки, более резонно дуреть от компьютеризации жизни, от американского стереотипа «образа жизни», где нет места «нечаянному», а все запрограммировано и учтено. Если мы еще противились и противимся эксперименту над нами, то там уже и это сопротивление невозможно, в этом экспериментальном грандиозном котле «переварки» людей разных национальностей в «американца», то есть в человеческую безликость. Так вот, освобождаясь мучительно от советского (в котором все-таки еще признавалась хотя бы «национальная форма» при «социалистическом содержании»), мы лезем (нас заставляют лезть) в личину еще более омертвляющую — американскую. Это, пожалуй, самая страшная для нас опасность за всю тысячелетнюю нашу историю, ибо соблазн велик — после многих десятилетий нищеты «жить, как американцы» (не зная, как они в действительности живут, наш обыватель верит во всем прессе, возносящей на райский уровень эту заморскую жизнь). Как сказал телерепортер с видом сытого ленивого кота о недавно бывшем советском министре иностранных дел: «Благодаря Эдуарду Амвросиевичу Запад принял нас в цивилизованное лоно» (это о том самом министре, который торговал с Западом национальными интересами нашей страны!). Но каковы слова: «цивилизованное лоно»! Нет, все-таки бессмертны наши смердяковы, холуйствующие, раболепствующие перед «умной нацией», которая должна, мягко говоря, указывать путь «нации глупой», покорить ее.

Как-то, года два тому назад я наткнулся в какой-то из газет на статью о наших футболистах, которые заключили контракт с американским клубом «Дьявол» и были ошеломлены обрушившимися на них долларами и комфортом. Но эти продали дьяволу свои ноги. Хуже, когда продают душу. Бывает и так, что достаточно побывать в качестве гостей в Америке, повидать витрины, внешний блеск, как и среди «патриотов» вылупливаются вдруг «американцы». Есть ли противодействие этому? То есть не соблазну, благам, зачастую мнимым (сами эмигранты третьей волны, живущие по пятнадцать — двадцать лет в США, пишут, насколько далека американская действительность от той, какую представляет на своих страницах здешняя «демократическая» пресса), — есть ли противодействие этой духовной, а вернее — бездуховной американизации? Есть, и главное: твердыня православия. На этой твердыни созидалось Российское государство, великая русская культура, личность в России, сохранявшая себя и на чужбине. Не мы велики в православии, а православие велико в нас, и только в нем наше будущее. Наивно думать, что «демократы», безраздельные, полные хозяева страны, будут спокойно смотреть на успехи православия, которое стоит главным препятствием на их западнически-иудейско-католической экспансии в нашей стране (уже ныне православие теснится экстремизмом «религиозного сионизма», униатов, открытием от Москвы до Иркутска католических епархий). Ведь изрек же сообщник наших «демократов» А. Синявский, что главная опасность сегодня для мира — это «русский православный фашизм». Из понимания православия как духовной основы русского сознания мы и должны самоопределяться национально. Несомненно, что программа «демократов» — с превращением России в придаток Запада, ее экономики, ее «парламентаризма» — так же авантюрнистична, как «мировая революция» большевиков; те и другие — силы антинациональные, враждебные России, способные только разжечь смуту, но не способные открыть стране историческии путь развития. Может это сделать только национальная идея, и все силы нужно сейчас сосредоточить на том, чтобы готовить условия для взращивания этой идеи, чтобы всеми средствами здоровые силы, начиная от русских предпринимателей и землевладельцев (земледельцев) и кончая национально мыслящими учеными, писателями и т. д., — объединялись. Не мода, не стилизованность, не некая духовность, а конкретное, церковное православие — вот что нам ныне следует усвоить, и не умничать, как умничали дореволюционные «интеллигенты». «Много званых, мало избранных».

«Гуманизм», «духовность» — вот два слова, определяющие нечто характерное в «демократах» и «патриотах». «Гуманизм» настолько уже истрепан болтовней «левых» (зачастую скорее ненавистников, чем «гуманистов», «друзей людей»), что говорить о нем нет смысла. А вот с «духовностью» следовало бы разобраться. Один из авторов пишет: «Оно (возрождение. — М. Л.) может пройти только на духовном уровне! Подчеркиваю: на ду-

[1] Впрочем, «демократическая» пресса так обработала массовое сознание, что мало кого уже тревожит такая опасность. Сколько раз мне приходилось слышать от обывателя (русского): «И хорошо, если Америка завоюет эту страну!» Надо же довести до такой смердяковщины массу, легко усвоившую отношение коротичей и яковлевых к «этой стране» (они так и выражаются: не наша страна, а эта страна).

ховном, а не на церковном, ибо церкви есть разные, а дух один. Это ощущение первенства духовного начала, верности природе, братства людей, ощущение национального начала как объективного начала». И это суждение имеет право на существование, как и другие, связанные с гуманистической традицией со времени эпохи Возрождения. Но христианин может и возразить: ведь через церковь, литургию (преосуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Господни) и действует Дух — не вообще дух, а Дух Святый (третья ипостась Бога, наряду с Богом-Отцом и Богом-Сыном). Все другие духи (в том числе и дух, противопоставленный Церкви) для христианина — наваждение и ложь. Как-то неловко говорить обо всем этом образованному человеку, но это наша общая беда мы так были замордованы материализмом (мой университетский товарищ, глубоко верующий, тем не менее считал, наслушавшись лекций, что Бог «диалектически» возник из материи), так были задавлены «первичным» (на экзаменах, всяких семинарах: «первичное — это материя, вторичное — сознание»), что, прорвавшись к «духовности», готовы ставить ее превыше Бога.

* * *

В одной из своих передач тележурналист Александр Невзоров назвал изменой все то разрушительное, что делается в стране, вплоть до разгрома высококвалифицированных научно-технических коллективов на оборонных предприятиях, вплоть до расовой дискриминации русских в Прибалтике. Но предательство может быть и в духовной области, когда, например, тысячелетние национальные религиозные святыни приносятся в жертву оккультизму, подменяются им. В «застойные годы» образовавшийся духовный вакуум стал заполняться всякого рода суррогатом, восточными учениями: йогой, «даосизмом», «экстрасенсами» и т. д. Гонимое властями христианство, православная церковь, как всегда, были прибежищем избранных, немногих из интеллигенции, отмеченных благодатью, масса же клевала на модную «современную духовность». Я помню, как ко мне в Литинститут пришел молодой ученый, кандидат философских наук Сергей Н. Ему нужно было поговорить со мной о «деревенской литературе». Прощаясь, он сказал, что спешит на занятия йогов. Меня это удивило, тем более что молодой философ искренне относил себя к «русскому направлению», организовывал в то время конференцию на тему «Земля как философская категория» (эта конференция и состоялась в Полтаве, а тексты выступлений вышли отдельной книгой). Я дилетантски возразил было молодому ученому, что йоги есть йоги, но это достояние индийцев, не наше, ибо для них это не голые физические упражнения, а часть бытия в общей их системе нравственного самосовершенствования, то есть своеобразная религия — только для них, на их исторической, духовной почве и возможная. Мы же, как обезьяны, подражая дыханию через ноздри и прочее и продолжая жить по-советски, думаем, что это и есть йога. Не пора ли нам задуматься о своем, родном. Вот исполнилось 1000-летие Крещения Руси, и нам, русским, надо бы подумать об этом, приобщиться к своей религии, войти в ее лоно. Мой собеседник вежливо слушал меня, но... помчался все-таки на занятия йогов.

В такого рода просвещении сыграли свою роль сочинения Валентина Сидорова о йогах, об антихристианской философии Рериха. Как-то при встрече с ним я сказал ему: «Ты все учишь дышать через ноздрю, а ведь подходит тысячелетие христианства в России». На это он мне ответил: «Это сектантский взгляд».

Недавно Вал. Сидоров объявил себя президентом комитета «Год Блаватской». Весь 1991 год отведен празднованию юбилея — столетия со дня смерти названной особы. Знает ли Сидоров, кто такая Блаватская? Если знает, то уточню для читателя. Родившаяся в России, она вскоре, в юном возрасте, покинула ее, долгие годы путешествовала по Востоку, где изучала оккультизм; на Тибете, по ее словам, стала ученицей и посланницей высших мудрецов Тибета, адептов буддизма. Создав теософическое общество, Блаватская деятельно распространяла свое новое религиозное учение (основанное на оккультизме и иудейской каббале), исполненное ненависти к христианской церкви, к Христу. Следует добавить, что буддизм (который является одним из краеугольных камней теософии Блаватской) ставит выше Бога Будду, то есть человека, самодостаточного в достигнутой собственными усилиями нирване; буддизм — это религия обезличивания, уничтожения образа Божия в человеке. Один из авторов пишет о Блаватской, что она была обвинена в шарлатанстве; лондонское общество психических исследований после расследования написало отчет не в ее пользу: многие чудеса были разоблачены как искусный фокус, подделка. По словам того же автора, Блаватской свойствен невероятный цинизм и презрение к людям, которые она и не пыталась скрыть.

Вот этой сатанистке и будет целый год петь осанну президент Сидоров, к радости какого-нибудь Нуйкина, который из духовной помойки (из всех оккультных учений, колдовства, фокусничества, сатанических сект и т. д.) вываривает новый «научный атеизм», в отличие от пещерного атеизма своего старшего собрата, Крывелева (но оба — «принципиальные противники» религии). Поздравляем «русского патриота» с побратимством с ненавистниками христианства.

Понятнее было бы: человек решил сыграть на «рынке» — раз есть спрос на колдовство, шарлатанство, сатанизм, — вот вам Блаватская. Но нет, президент «Года Блаватской» хочет сохранить «имидж» русского патриота: как же, христианство—это узко, это сектантство, другое дело — «широта русской культуры», «всечеловеческая отзывчивость», «русско-индийские духовные, культурные связи», симпозиумы на этот предмет, вояжи в страны, где варила свое варево Блаватская. Дело личное, если бы поклонник Блаватской чтил ее и не спекулировал на этом. А тут литератор, президент комитета, целый год россказней и печатной шумихи, дурманящих слабые головы и неокрепшие души. Вот где уместно вспомнить басню Крылова «Сочинитель и разбойник»: призванные на Страшный суд, разбойник был помилован по малости преступлений, а сочинитель угодил в кипящий котел как преступник неизмеримо больший, ведь его сочинения губили души тысяч, миллионов людей.

В составе комитета «Год Блаватской», надо полагать, союзники президента. Но вот спрашиваю одного из них — Валерия Ганичева: «Как вы могли согласиться войти в этот комитет по празднованию юбилея сатанистки?» Оказывается, он ничего не знает, введен без согласования с ним. «Ну тогда надо печатно отмежеваться бы от этой чести». «Надо это, видимо, сделать», — согласился Валерий Николаевич.

Или мало нам уроков прошлого — вся эта дореволюционная игра в религиозные идеи, весь этот религиозный релятивизм,— и к чему это привело? Легкомысленное пренебрежение православием, измена ему никогда и никому не проходили даром, оборачивались воздаянием самих врагов православия. Как ни либеральничал Бердяев, как ни старался угодить детям Израиля, в все же угодил в антисемиты. Таковым его и аттестует С. Лёзов в статье «Национальная идея и христианство» («Октябрь», 1990, № 10). Приведя слова Бердяева: «Иудаизм до Христа и иудаизм после Христа — явления духовно различные», — «православный богослов», как называет себя С. Лезов, заключает: «Все эти классические постулаты **теологического антисемитизма** Бердяев тоже принимает и идет дальше...» И хотя Бердяев воздает должное евреям (апостолы), хотя обвиняет христиан, которые распинали Христа (антихристианскими делами, грехами), распинали и своим антисемитизмом, — Лезов негодует: «Так Бердяев повторяет древнюю клевету на евреев, которую можно сравнить лишь с кровавым наветом» (речь идет о распятии Христа).

Далее Лезов говорит о «христианском антисемитизме»: «Что же касается Евангелия Иоанна, то в нем есть текст, ставший ключом для христианского варианта идеи жидо-масонского заговора: «Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять желание отца вашего» (8; 44). У Иоанна «иудей» вообще и «фарисей» в особенности — основа неверия и духовной слепоты». Но разве сам Иоанн — не иудей, разве он «духовно слеп»? Вот Лезов действительно «духовно слеп», и если бы он был в самом деле «православный богослов», то не восхищался бы Вл. Соловьевым, как апологетом Талмуда, ибо в отличие от Библии, в Талмуде действительно живет дьявол, люто ненавидящий Христа.

Как мелки, жалки ныне наши блудливые «патриоты» в сравнении с фанатизмом «иноверцев». Тот же Лезов не мельчится, не занимается блудословием, а замахивается под корень того, что для нас, русских, святыня. С Освенцима он начинает не только отсчет новой истории, но и новой морали, использует термин «холокауста» («всесожжение») как единственный проявитель ценностей. После Освенцима он ставит «под вопрос» постулат, «согласно которому христианство составляет ценностный стержень национальной культуры, а национальная культура обладает ценностью в той мере, в которой она — христианская культура». Рассуждая о «месте православия и антисемитизма **внутри**» «русского национализма XX века», автор видит в православии виновника Освенцима, нынешнего «исхода евреев из России». Бесполезно говорить, что Освенцим был местом «всесожжения» не только евреев, но и людей других национальностей, и мы, русские, могли бы начинать отсчет новой истории со «Всеуничтожения» нашего народа в XX веке. Трудно что-то доказать после того, когда вокруг Освенцима поднялся недавно всемирный гвалт лишь из-за того, что в этом «Музее» (кстати, находящемся на территории Польши) осмелились молиться за погибших польские монахини. Если моления за жертвы — это кощунство в глазах сионистов, то здесь и дурак может понять, что такое гои (даже молящиеся за евреев) для расистов. Обычно надменные, гордые в своем католическом достоинстве поляки, от кардинала-примаса до напористого Валенсы, вынуждены были смириться и убрать бедных монахинь.

Недолго же поиграли «демократы» с религией, с православием. Еще вчера, кажется, «Октябрь» свечи ставил православию (правда, какие-то уличные, электрические свечи, не церковные, опубликовав «документальную повесть» Марка Поповского об архиепископе Луке, знаменитом хирурге Войно-Ясенецком). И вот, не отбивши еще покаянных поклонов (а надо бы!) уже бросает камень в церковь. Да еще какой! Впору предстать православной церкви за антисемитизм перед мировым судилищем.

Как всегда, вчерашние «интернационалисты», ныне «демократы», действуют не в одиночку, за одним камнем следует ждать другой. В так называемой «Независимой газете» напечатана статья за подписью Владимир Война под заголовком «Отец Звездоний из РПЦ». Знакомый почерк виден уже в «хохмачестве» словосочетания: «отец Звездоний» — мерзкий комический персонаж из романа любезного автору статьи Войновича, а РПЦ — аббревиатура (Русская Православная Церковь) — самая, видно, подходящая для иных форма усвоения русской речи со времен ВЦИКа; о недопустимости употребления РПЦ (вместо Русская Православная Церковь) говорил недавно в печати Патриарх Алексий II, поясняя, что эта аббревиатура уводит от духовной, исторической полноты, которая содержится в выражении «Русская Православная Церковь».

В журнале «Звезда» (№ 1. 1991 г.)

опубликована статья Бориса Парамонова «Портрет еврея. Эренбург». В статье есть глава «Рассуждение об иудейском племени». Я не знаю, кто таков Борис Парамонов: русский или еврей, сам он говорит о себе: «никакой особенной любви к евреям у меня нет». Более того, он позволяет себе высказывание, за которые обычно по головке не гладят (недавняя история с покойным Осташвили): «пониманию еврейства способствует иногда антисемитизм — как всякий опыт, и это может обогатить». Но по духу он, конечно же, считает себя близким к «типу еврея», как и того русского «жесткого» человека, который должен появиться с «религиозным возрождением в России», если таковое «вообще возможно». Отказавшись от «бытового и психологического идеализма», став «жестким», такой тип русского человека «будет ближе к самому типу еврея». Любопытно такое замечание (возможно, наблюдение) автора: некоторым интеллигентам «кажется, что евреи такие же люди, как и мы», разве что умнее и просвещеннее. Интеллигент на этой ступени начинает идентифицироваться с евреями и «дружить» с ними. Евреи охотно возятся с такими людьми, но не уважают их». Не уважают и презирают. Один мой знакомый говорил мне об известном стихотворце, с которым вместе работал в конце пятидесятых годов в журнале «Молодая гвардия»: «Он так перед ними лебезил, а они уходили от него и в коридоре брезгливо говорили: «У, русская вонючая онуча». И поделом. Это тот «реализм», который действительно требует отказа не только от «идеализма», но прежде всего от холуйского заискивания перед «умниками».

Нет, пожалуй, большей опасности для нас, чем собственное «нелюбопытство» к себе самим. Как нам быть в том мире, «лежащем во зле»? Об этом мучительно думал Иван Ильин, написавший после революции книгу «Сопротивление злу силой». Есть точка зрения: будь тверд в вере, в Православии, и тогда Бог защитит православие. Вышеназванный автор (Парамонов) возможное «религиозное возрождение России» связывает не столько с православием, сколько с «жестким» типом еврея, которому должен следовать русский человек, возводит еврейство в гениальную «сверхнацию». «Нельзя говорить, что всякий еврей гениален, но зато в каждом гении есть что-то еврейское». «Но абсолютность» еврейства, ген гениальности, ему свойственный, делает его, с другой стороны, «кошмаром наций» — цитируется автором знаток еврейства. Еврейство, действительно, тайна человечества, мистическая тайна. Сохранившее себя в течение десятков веков в диаспоре, исключительность, загадочность его исторической судьбы, не сравнимая ни с одним народом его роль революционного бродила в человечестве, нынешняя мощь с реальной угрозой владычества над миром — все это означает особую избранность еврейства (раньше, до Христа — действительно богоизбранность). Величайшая загадка — в богоизбранности этого народа, неотделимом от богоборчества (Иаков, ставший после борьбы с Богом Израилем, что означает «богоборец»). Здесь уместно привести мысль Л. Шестова о еврействе, как явлении Божественного произвола, как о таком «избранничестве», в понимании которого не пригодны, не приложимы никакие человеческие моральные оценки: Бог — это не правда и не добро, Бог есть Бог. Но в христианстве Бог есть любовь (апостол Иоанн). Святой Александр Невский говорил: «Бог не в силе, а в правде». И здесь пропасть в религиозной психологии.

То, что еврейство не приняло христианства и идет своим «ветхим» путем — в прошлом, скажем, в XIX веке, воспринималось как религиозный исторический анахронизм, как выпадение из современного исторического потока (Иван Аксаков). Теперь в этом выпадении видят исключительность еврейства. Б. Парамонов пишет: «Еврейство не приняло христианства потому, почему не принял его мир в целом». Но дело даже не в том, что мир будто бы не принял христианства. Как литургия не зависит от того, принимают ее или не принимают люди, она будет совершаться до скончания века, даже и в безлюдной церкви, так и христианство вовсе не умаляется оттого, приняли его или не приняли. Но если бы мир действительно «не принял» его, то не было бы святых (а они есть).

И далее автор заключает: «Существуют различия культурно-исторических типов — Христианство связано с одним, максимум с двумя из них. Еврейство же не связано ни с одним, ему нет нужды выбирать ничего, кроме самого себя». То есть относительность христианских ценностей и самодостаточность еврейства — не культурная, упаси Бог. Что касается культуры, то автор на этот счет разъясняет: «Сфера еврейства — это гений, а не культура. Можно заметить игровое, ироническое отношение евреев к их собственной культурной деятельности». Это и доказывается на примере Ильи Эренбурга, поучительность пути которого он видит не в литературной деятельности, а в том, что он, несмотря ни на что, остался евреем.

Такова же роль многочисленного племени иронистов и в нашей литературе, иронистов не только по «жанру», по складу мышления, но и по отношению своему к своей «литературной деятельности». Но если бы дело ограничивалось этим. Им мало взаимного всепонимающего подмигивания («мы-то знаем, что такое для нас литература»), они хотят играть роль «полномочных представителей» русской литературы. Кто представляет русскую литературу в своих бесконечных поездках за границу? Иронисты. Кто читает там «лекции» о нашей литературе? Они же. Кто монополизировал кафедры, должности преподавателей русской литературы в зарубежных институтах славистики? Опять-таки иронисты, из «третьей волны». И вот по их «трепу», «хохмачеству» и судят там об уровне русского сознания, о русской литературе, не только прошлой, но и настоящей, представляют ее по выборочным именам дружков лектора-ирониста.

И среди нынешних «русских писателей» «за границей» (какое там «за границей» — в узком кругу эмигрантов-евреев) мусолятся одни и те же имена «иронистов». Среди них, например, Пьецуха. Об этом Пьецухе вы можете составить представление по его интервью в «Книжном обозрении» (конец июня 1991 г.). Типичный продукт «перестройки», новоиспеченный буржуа: по его словам, с деньгами проблем нет, систематически выезжает за рубеж, опекаемый женой и матерью, живет в «башне из слоновой кости». Вроде бы все условия для добродушного миросозерцания. Какое там, судорога схватывает физиономию этого «философа», когда он начинает говорить о русской деревне (где, по его словам, извечна только дикая безнравственность, грязный мат пьяных матерей), о «деревенской литературе» (о ведущих писателях этого направления — «нудных» «отобразителях», «фотографах»). Зато «необычайно крупный художник» — Битов. Из интервью видно, что Пьецух окончил пединститут. Я представляю, как он морочил бы голову учащимся своим «пониманием» литературы: до чего же нужно или не иметь никакого вкуса, или же оглохнуть от ненависти, чтобы так развязно судить о той самой «деревенской литературе», которая своими идейно-художественными достоинствами продолжает русскую классику. Не в том ли, впрочем, и секрет этой развязности, самомнения, что Пьецух всерьез принимает похвалы в свой адрес «иностранцев», вроде Синявского, признающего в литературе только «фантастическое направление» (он сам сочиняет в том же роде), составившего игрушечный рядок из таких фантазеров, как близкие ему по «приемам». Но Синявский судия поистине фантастический, он, например, мягко говоря, не жалует никого из русских классиков, начиная с Пушкина (об этом пишет Солженицын в своей статье 1974 года, опубликованной ныне в журнале «Новый мир» 1991, № 5). Однако и в «фантастическом» ряду такие как Пьецухи явно переоценивают свое место. Ставят, например, имя Пьецуха и других таких же в одном ряду с именем Венедикта Ерофеева. Но что общего между ними? Повесть «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева — это «пьяная» Россия в какой-то трагической иррациональности бытия. Здесь не злорадство («в русских деревнях только грязный мат пьяных матерей»). Здесь авторское сознание — не то, что у литературного буржуа (попил, поспал, пописал). Герой (автор) «Москва-Петушков» судьбой, жизнью своей расплатился за зло, всеобщее зло наше, именно этой реальностью жутковата фантастика повести. Если хотите, это исповедь в духе есенинского «Черного человека», а не умственная гимнастика, вроде того рассказа Пьецуха, где мертвецы в могилах на кладбище переговариваются между собою (очень остроумно, как в «башне из слоновой кости»). Если говорить по сути, «Москва-Петушки» ближе к деревенской прозе (своей психологической подлинностью), чем к рассказам таких «фантазеров», как Пьецух, которые своей сытой рационалистичностью паразитируют на трагической судьбе избранников литературы. Последние (редко являющиеся в свет) уходят, и неизвестно когда и кто заменит их; первые же, иронисты, плодятся и множатся с картинностью, помните, как дети Мойсея Мойсеича в чеховской «Степи»: «Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку... из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая... Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала целая стоглавая гидра».

К сожалению, этим выходцам «из-под сального одеяла» показывают сомнительные примеры литераторы старшего поколения. Опубликована притча ветерана литературы о том, как русские споили бедного еврея. Надо отдать должное изобретательности, с которой автор изготовил набор той дряни и несуразицы (вплоть до человеческой головы), из которых представленные невиданными троглодитами русские гонят самогон. Откуда такой приступ русофобии — уж не следствие ли вступления иных писателей в клуб «Ротари», довольно таинственный клуб, где, говорят, в свое время масонствовал отец нынешнего президента Чехословакии Гавела и где, судя по данной сказочке, нынешние члены весьма далеки от того служения мировому прогрессу и нравственному процветанию, о чем так вкрадчиво декларируют.

Вообще деклараций много, и не надо бы спешить восхищаться ими, тем более присоединяться к ним с русской стороны. Вот была в конце прошлого года так называемая «римская встреча соотечественников» — в одном ковчеге оказались наши «деревенщики» и «демократы» — живущие у нас и за рубежом, из «третьей волны». Другие бы пригляделись: вот едет Аверин, кто такой? Ага, главный редактор желтого листка «Книжное обозрение», бывший помощник первого секретаря горкома партии, одного из главарей «застоя», Гришина. И с этим махинатором надо ехать на «римскую встречу»! И с этой, и с той стороны «демократы» — в основном дружки Аверина. А почему нет Огурцова, Вагина, отбывших у нас длительные лагерные сроки за свои политические убеждения и ныне живущих за рубежом? Почему нет других русских людей, известных своей патриотической деятельностью на чужбине — Красовского, Солдатова, Назарова, других видных представителей русского зарубежья? Можно ли представлять без них «русских соотечественников» за рубежом одними только войновичами? Ну, приехали в Рим, и сделали то, что от них требовалось: подписали, к удовольствию «демократов», совместную «декларацию» (или как еще там — «заявление») с ликованием по поводу «распадающейся советской империи». Возможно, воодушевленные результатами

«Римской встречи», «демократы» пустились в новые затеи. Верховный Совет Российской федерации провел в конце августа с. г. Конгресс соотечественников, цель его — создание постоянно действующего Центра Российской культуры, который будет осуществлять взаимосвязь с Российским Зарубежьем. Достаточно назвать сопредседателей оргкомитета Конгресса — Ю. Афанасьева, Г. Попова, А. Собчака, чтобы стало совершенно ясно, что к «Российскому Зарубежью» будет пристегнута только «третья волна», эти самозванцы русской культуры, что новая затея «демократов» обратится сборищем разрушителей нашего государства. Любопытно, что в состав оргкомитета Конгресса не попал ни один серьезный русский писатель, в том числе из «деревенщиков» (вот вам ответ на ваше римское услужничество). Зато председателем жюри конкурса на создание памятника жертвам гражданской войны намечено назначить Эрнста Неизвестного — вот уж поработает брандспойтом в своей американской мастерской (ничего нелепее, кощунственнее этого «назначения» нельзя выдумать).

Неужели мы так слепы, что не видим, как «в поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам».

...Три года тому назад, осенью, на Рязанщине в Константинове проходил есенинский праздник поэзии. На дощатой эстраде, за длинным столом сидели литераторы, гости. Стихотворцы, сменяя друг друга, читали свои стихи, однообразные, по искусственному напеву и безликие. Внизу виднелась Ока, за нею — луговые дали. Поднялся Юрий Кузнецов и стал читать своих «Маркитантов». И что-то произошло во мне и, показалось, в самой природе. Высокое небо было иссине чистым, почти без облаков, но вот что-то омрачилось вдруг в нем, потянуло далекими тяжелыми тучами.

Вот сошлись против неба они
И разбили два стана.
Тут и там загорелись огни,
Поднялись два тумана.

Поэт бросал слова, тяжелые как камни, и вот выползали эти два толмача-маркитанта из враждебных лагерей, посланные для разведки.

Маркитанты обеих сторон —
Люди близкого круга.
Почитай, с легендарных времен
Понимали друг друга.

Через поле в ничейных кустах
К носу нос повстречались,
Столковались на совесть и страх,
Обнялись и расстались.

Воротился довольный впотьмах
Тот и этот лукавник
И поведал о темных местах
И чем дышит противник.

. . . .

А наутро, как только с куста
Засвистала пичуга,
Зарубили и в мать и в креста
Оба войска друг друга.

А живые воздали телам,
Что погибли геройски.
Поделили добро пополам
И расстались по-свойски.

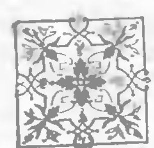
Я подумал тогда, несколько ошеломленный: нет, поэзия все-таки живет, и счастлив человек, слуха которого она коснулась. Да поможет такая поэзия прозреть слепым...

Сегодня в нашем, еще недавно великом государстве чувствуешь себя словно ампутированным. Что ждет нас? И может быть, надо не только утолять раны, которые болят, но и поднять взор свой...

Богоявленский (Елоховский) патриарший собор в Москве. У раки преподобного Серафима Саровского, которая временно находится здесь пред тем, как отправиться в Саровскую пустынь, непрерывный денно и нощно поток верующих. Слева, у стены, около лавки молится женщина. К ней подходит парень в белой кепке, она быстро срывает ее, он со злостью отбивается, потом хватает узлы и выбегает из храма. Возвращается, вцепляется в мать, кричит: «Дура! Пойдем. Быстро!» Мать становится на колени, истово молится, не глядя на него. Тот срывает с лавки новые узлы, опять крик: «Дура! Выдра! Ну, быстро!» Женщины, ожидающие своей очереди приложиться к святым мощам, с сочувствием смотрят на мать, которая, стоя на коленях, окаменевшая, упорно осеняет себя крестом. Вбегает сын, хочет сорвать ее с места, но она словно приросла к этому месту, не поддается. Другая женщина говорит: «Как ей трудно молиться!» В конце концов сыну удается вывести из церкви мать.

Так мы все, как этот непутевый сын, разделываемся с матерями, а, может быть, и с матерью-Россией.

А они, стоя на коленях, со страданием молятся за нас.



ПОЭЗИЯ

ФЕДОР СУХОВ

ДЫХАНИЕ ДУБРАВЫ

Ивану Васильеву

Как мало нас... Уходим в тишь да гладь
Под сень берез, под тень плакучих ивин.
Мы не учились, не умели лгать,
Мы непролазную мостили гать
Костьми своими, ранами своими.

Воспоминаний сладкая полынь
Врачует тягостную боль разлуки...
Мой давний друг — прошу я, — не отринь
Зари вечерней тихую теплынь,
Не опускай приподнятые руки.

Держись за посошок свой, приобщись
К черемухе, к ее придвинься маю,
Дабы услышать, как воркует жизнь,
Как шелковист березы клейкий лист.
Березы-то все знают, понимают.

Все понимает, ведает трава,
Какие дивные произрастают травы!
Да не вскружится, не затмится голова,
Кондовые возвысятся слова,
Услышится дыхание дубравы.

СУХОВ Федор Григорьевич родился в 1922 году в Нижегородской области. Фронтовик. Автор многих поэтических книг, в том числе «Поспевают ягоды», «Половодье» и других. Член Союза писателей СССР. Живет в Красном Осёлке.

Благоуханье яблони лесной
Сплошной розовизной разлепестится.
Под темной елью, под рудой сосной,
Захлебываясь раннею весной,
Неугомонная звенит синица.

Я сам во все колокола звоню,
Рокочущей захлебываюсь медью,
Закатную приветствую зарю,
К ее я приближаюсь соловью,
К обещанному двигаюсь бессмертью.

К своей я волочусь передовой,
К той незабытой, непролазной гати,
Чтоб стать неувядаемой травой.
Чтоб слышать над поникшей головой
Сладчайший глас небесной благодати.

* * *

Никакого тут нет удивления,
Так диктует закон страны —
В милицейское отделение
Волокут ветерана войны.

Самых жарких боев участника
Посредь белого дня волокут...
По приказу начальника
В каменный вводят закут.

В арестантскую камеру
За железный кидают запор
На холодный, на каменный,
На истоптанный пол.

И тогда-то всей пройденной,
Давней-давней войной зарыдал:
«Ты прости меня, Родина,
Принимаю и этот удар!

Сознаю свои прегрешения,
Отвечаю за все головой.

Вышел я из сражения
Не убитый — живой.

Правда, тяжко пораненный,
Но ведь раны — не в счет...
Только мертвому пламенный
Самый высший почет!

Да еще неизвестного
Прославляют бойца».

. . . .

И не видят увечного,
Испитого лица.

Видят горького пьяницу,
Что диевалит в пивной,
Что никак не расстанется
Со своею войной.

✦✦✦

Златоуст

Памяти Н. Клюева.

Слабоумным признали. Кого бы?
Гениальнейшего поэта...
Опечаленно смотрят коровы
На озябшее лето.

На увядшие смотрят травы,
На озера поблекших подгориц.
Тошнотворней отравы
Жизни сладкая горечь.

И охота пуще неволи,
До добра не доводит охота.

Вроде малость разведрилось, вроде
Разгулялась погода.

И не иней — хрустит капуста
Под истоптанными лаптями.
Бородатого Златоуста
На люди тянет.

На толкучий уходит рынок,
Гомонит неуемный улей...
Слышит благовест глиняных кринок.
Пенье дивной глазури.

Инвалида безрукого пенье,
Знать, война оттяпала руки...
Как на паперти, благословенья
Нищие просят старухи.

У кого бы? — У горемыки,
У олонецкого песнетворца.
А поблизости — вождь Великий
Дланью поднятой распростерся.

А поблизости — участковый
Неусыпное пялит око.
Долгожданного счастья подкова
Ускакала далеко-далеко.

Крестный путь уготован
Бородатому Златоусту.
Черный движется ворон
По капустному хрусту.

По озябшему лету
Движется черная птаха.
Гениальнейшему поэту
Красная снится рубаха.

Леденящая стынь Нарыма
Видится середь ночи,
Уголовника склизкое рыло,
Горлохвата отточенный ножик.

Ну, а может, крест на погосте
Видит в Вытегре аль в Каргополе...
Ноют старые кости
От незнаемой боли.

От всесветного наважденья
Лето красное зазимело.
Оступившийся — без сожаленья
Наказуется высшей мерой.

Никнут буйные травы
На поемах поблекших подгориц.
Тошнотворней отравы
Жизни сладкая горечь.

✦✦✦

* * *

Сходит высшее благоволение
На леса мои, на зеленя...
Долгожданное вдохновение
Поднимает на ноги меня.

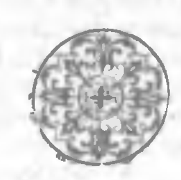
Рано-рано иду на улицу,
Окунаю себя в росу.
Колокольчик звенит, может, у лесу,
Ну а может, звенит в лесу.

Иван-чай возвышается. Издали
Зазывает малиной своей.
Неуемнее все, все неистовей
Сумасшествует соловей.

Я и сам сумасшествую. Молодо
Конь мой движет себя.
Все мы, все — от серпа, от молота,
От неистового соловья.

От березовой блеклой кущицы,
От святой ее купины...
Льются слезы кукушечьи
По равнинам моей страны.

Сходит высшее благоволение
На леса мои, на зеленя...
Долгожданное вдохновение
Поднимает на ноги меня.



ПРОЗА

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ

ПОХВАЛА СЕРГИЮ

РОМАН

Глава 3

Ладным, согласным перебором стучат топоры. Стефан с плотником Наумом и младшим братишкою Варфоломеем рубят новую клеть, торопятся успеть до покоса.

Парит. Облака стоят высокими омертвелыми громадами, не загораживая яростного солнца. Земля клубится, исходит соками. Лист на деревах сверкает и переливается в дрожащем мареве. Окоем весь затянут прозрачною дымкой. Все трое взмокли, давно расстегнули ворота волглых рубах. Волосы мокрыми космами ниспадают на разгоряченные, опаленные солнцем лбы. Бревна истекают смолою. Топоры горячи от солнца — не тронь. Чмокает и чавкает свежее дерево. Боярин и мужик молча, враз, подхватывают топорами бревно, круто, рывком, оборачивают (давно выучились понимать друг друга без слов) и тут же с двух концов наперегонки зарубают чашки. Варфоломей торопится разложить ровным рядом мох по нижнему бревну. Урядив свое, тут же хватается за топор, изо всех сил гонит крутую щепу, вычищая паз. Готовое дерево тут же усаживают на место. Стефан мрачен, досадливо щурит глаза, прикусывает губу, зло и твердо врубает секиру, что означает у него какую-то настырную муку мысли, и Варфоломей, отбрасывает пот со лба тыльной стороною ладошки, отдувая с лица долгую прядь льняных волос, коротко и преданно взглядывает на брата, недоумевая — чем же так раздосадован Стефан? Из утра уже обратали восемь дерев, и клеть, гляди-ко, растет прямо на глазах!

Наконец Стефан разгибается для передыху — сухощавый и высокий, в отца, просторный в плечах,— легко вгоняет секиру в бревно, обтирает чело рукавом и слегка кивает Науму, который тотчас, соскочив с подмостий, проворно забирается в тень за грудою окоренных бревен. Сам Стефан медлит, оглядывая вприщур поставленный на стояки сруб, и роняет сквозь зубы не то брату, не то самому себе:

— Единственная дорога — монастырь! Не прибежище в старости, не покой, а подвиг! Да, да, подвиг!

Варфоломей вперяет взор в лицо брата — строгое, загорелое докрасна, резкое и прямое, словно обрубленное топором ото лба к подбородку, в его углубленные, огневые, обведенные тенью глаза.

Окончание. Начало в №№ 9—10 за 1991 год.

— Фаворский свет? — переспрашивает с надеждою,— как на Афоне?! — (Про фаворский свет он может говорить и выслушивать бесконечно.)

— Стефан! — спрашивает он робко. — Ты ведь мне так и не дотолковал того, как надобно деять, чего там у их... мнихов афонских?

— Чего тут уведашь... В лесе живем! — рассеянно отвечает Стефан и присовокупляет досадливо: — О чем тут, в Радонеже, можно узнать!

— Научи меня греческому! — застенчиво просит отрок.

Стефан остро взглядывает на брата, отводит взор и покачивает головой:

— Недосуг!.. Трудно...— Он опять было берется за секиру, подкидывает ее в руке, что-то поправляет легкими скупыми ударами носка.

Солнце встает все выше и уже приметно истекает из середки своей тяжелою тьмой. Вот край высокого облака легко коснулся солнечного круга, пригасив и сузив жгучие лучи. В густом настое запахов смолы, пыли, навоза почуялось легчайшее, чуть заметное шевеление воздуха. Хоть бы смочило дождем!

— Благо есть! — громко проговаривает Стефан, втыкая в ствол блеснувшее лезвие секиры.— Благо есть,— повторяет он,— что все так окончило! Роскошь, палаты, вершники впереди и назади, седла под бирюзой, серебряные рукомои... На кони едва ли не в отхожее место!

Варфоломей слушает раскрыв рот, забыв в руке недвижный топор. Не сразу уразумел, что Стефан бает про ихнюю прежнюю жисть.

— Роскошь не надобе человеку! — режет Стефан, ни к кому не обращаясь, горячечным взором следя пустоту перед собой. Варфоломей даже дыхание сдерживает, мурашами по коже поняв, что брат намерил сказать сейчас что-то самонужнейшее, о чем думал давно и задолго.

— Господы! В поте лица! — Стефана распирает изнутри, и слова выпрыгивают оборванные, словно обугленные, без начала и связи.— А мы все силы — опасти себя от тяжести! Облегчить плеча, от поту опастись! На том камени зиждем, что и сам тленен и временен! Алчем тех сокровищ, что червь точит и тать крадет! И на сем, тленном, задумали строить вечное! Московляне правы, что отобрали у нас серебро!

— Срам, что, пока не свалит на тебя беда, сами не можем! Слабы духом! Надо самим! Нужно величие жертвы! Да, в монахи! — продолжал он яростно, с жутким блеском в глазах,— взять самому на себя вериги и тяготу большую и тем освободить дух! От роскоши, от гордости, от похвал, славы — ото всего! Тогда! Узришь свет фаворский!

И сыроядцы нынь терзают Русь из-за нас! Нам, нам, русичам, надобно сплотить себя духовно! Чел ты слова Серапионовы? Мы, днесь, «в посмех и поношение стали народам, сущим окрест!» Единение! А затем — дух святой возжечь во всех нас! Вот путь! Для сего — и прежде — очистить себя от скверны стяжательской! Дьявол взыскует плоть, Господь — дух! И это должны мы! Бояре! Мужики — они еще не вкусили благ, а мы, отравленные ими, должны сами себя изменить! Хватит сил духовно,—сумеем поднять всю Русь! Все прочее— тлен. Слова не нужны. Нужны дела! Подвиг! На Руси пропала вера в подвиги!

Когда поднялась Тверь — громили Шевкала, ты еще мал был,— знаешь, я шатался по торгу. Собралось вече. И все знали, что надо помочь! И никто понимаешь, никто! Первым чтобы. Как старшина, мол, бояре как? Как нáбольшие меня? И — предали! На поток и разор ордынский предали тверичей! Я тогда уразумел, понял: дух! Духом слабы! Не силою! А в училище нашем, в Ростове, споры о тон-

костях богословских, что там сказал Несторий... Что бы то ни, а — сказал! А мы — повторяем только!

И Дмитрий Грозные Очи! Бесполезная смерть в Орде. Как я его понимал тогда! Преклонялся! Героем считал! Подвижником... А быть может, и он... вовсе... от бессилия...

Подвиг! Идти вопреки! Знаешь, ежели бы вдруг разрушились деревни и словно от мора некоего народ побежал в города, стеснился в стенах, забросив нивы и пажити, я бы сказал тогда: паши землю! Но не опускайся долу, не теряй высоты духовной! Знай, что и там, на пашне, творишь ты не живота ради, а ради духа животворящего твоего!

Но народ жив! Он как раз в деревнях, на земле, вот здесь, окрест нас. Нужен подвиг духовный, надобен монашеский труд! Совокупление в себе Духа Божьего! Фаворский свет! Это огонь, от коего возгорит новое величие Руси!

Стефан замолк как отрезал. Варфоломей глядел на брата не шевелясь. Путь был означен. Им обоим. И — он знал это — другого пути не могло быть.

— Стефан! — спросил он после долгого молчания,— что нам... что мне,— поправился он, зарозовев,— надо делать теперь? Укреплять свою плоть для подвига?

— Человек все может и так...— устало возразил Стефан.— В яме, в училище, в голой степи, в плену ордынском годами живут люди! Выдержать можно много... любому... когда нет иного пути! Сильна плоть! Важно самого себя подвигнуть на отречение и труд, важно... да ты все знаешь и сам! — Стефан вздохнул, вновь берясь за рукоять секиры.— Наума покличь!

Варфоломей единый незримый миг медлит, обернув к брату пронзительный взор, и прежде, чем соскочить с подмостий, выговаривает серьезно:

— Я с тобою, Стефан! Что бы ни сталося впредь, я с тобой!

Глава 4

Истекает Филипьев пост. Близится Рождество. Земля плотно укутана в толстую белую шубу. Метет. Серебряные струи со звоном и шорохом обтекают углы клетей. Весь Радонеж в белой мгле. Кони под навесом жердевой стаи сбились в кучу, прячась от ветра, греют друг друга. Темной, убеленной ветром громадою высится терем Кирилла, обширный, в две связи, поставленный на высокий подклет. Третьелетошние бревна уже посерели и потемнели от вьюжных ветров и косых дождей. Снег, набитый ветром в углубленья пазов, подчеркнул и выкруглил белою прорисью каждое бревно. Челядня, поварня, амбары и клеть прячутся и тонут в дыму мятели. Едва-едва проглядывают соседние избы и огорожи. Редкий огонь мелькнет в намороженном слюдяном оконце, редко откроется дверь. Кому охота в такое непогодье высовывать нос из дому?

Вся семья Кирилла в сборе, кроме Варфоломея. Он из утра уехал за сеном. В первой, проходной, горнице терема, где разместились четыре семьи старшей дружины Кирилловой, горит одинокий светец. Бабы прядут, судача о своем. Дети залезли на полати, сопя, возятся друг с другом в темноте. Яков с Даньшею лениво передвигают шахматы по доске. Разговор о том о сем, но все больше как-то задевает Терентия Ртища — наместнику надобны люди, и многие ростовчане уже заложились за боярина, даже один из бывших Кирилловых холопов подался на сытные московские хлеба.

— Нашему бы господину от московитов какую волостишку на прокорм... — пряча глаза, роняет Даньша. Рука его замирает в нерешительности, наконец двигает по доске грубую кленовую фигуру. Яков, сощурясь, переставляет лодью, бормочет, словно бы про себя:

— Прошло время!

Его самого, отай, перезывали в дружину Терентия, о чем Даньше пока ведать не надлежит. «А ни лысого беса нам не дадут!» — думает он сокрушенно, пока еще по привычке не отделяя себя от господина своего.

— Ни лысого беса не дадут, устарел наш боярин! — произносит он почти вслух, забирая лодьей супротивничьего коня.

Во второй горнице, за рубленою стеною, за закрытою дверью — Кириллова семья. Потолок в саже и здесь: топят по-черному. Но ниже досок — отсыпок стены и лавки выскоблены дожелта, и в двух стоянцах теплются высокие свечи.

Мария, как по всякой день вечером, шьет, привычно и споро оруд уя иглой. Кирилл, примостясь рядом, у той же свечи, щурясь и отводя книгу далеко от себя, перечитывает жития старцев египетских. (К старости стали сдавать глаза: вдаль хорошо видят по-прежнему, а вблизи все расплывается и двоится.)

Стефан у второго стоянца, тоже погружен в чтение — изучает греческий синаксарий. Петр плетет силки на боровую птицу. Старая нянька сучит льняную куделю, мотает готовую нить на веретено. Голова у нее слегка трясется. Тихо. Слышно, как, огорая, потрескивают свечи в стоянцах. Мария, круто склонив чело, замирает с иглою в руке, слушает жалобный голос ветра за стеною.

— Должно бы уж Олфоромею быть! С кем уехали-то?

— С Онькой! — отрывисто отвечает Стефан.— Дороги замело, почитай, совсем...

— Вьюжная зима,— подает голос Ульяния,— коням истомно, поди!

— Доедут! — заключает Стефан и вновь утыкает взор в узорные строки греческого письма. Мария, с некоторою тревогою поглядев на старшего сына, вздыхает, переведя речь на иное:

— Онисим даве баял, князь Иван Данилыч будто опять в Орду укатил...

Кирилл отрывает покрасневшие глаза от книги, с трудом возвращаясь к тутошнему земному бытию. Трудно думает, шепчет что-то про себя, морща лоб.

— Надобе Алексан Михалычу... — Не докончив, прислушивается: — Не волки ле?! Вьюга, не ровен час... Наши-то!

Стефан подымает голову, угрюмо кидает:

— Сиди, отец! Я выйду, послушаю. Заодно коней гляну! — Он стремительно встает, глубоко нахлобучивает шапку, на ходу набрасывает на плеча овчинный зипун. Скоро хлопает наружная дверь. Кирилл по-прежнему прислушивается и не понимает: не то это ветер в дымнике, не то и вправду далекий волчий вой? Ему как-то почти все равно, где сейчас находится какой князь, даже и чем окончится пря Москвы с Тверью, а всего важнее — воротится ли благополучно Варфоломей из лесу?

Мария тоже прислушивается, но не столько к вою ветра, сколько к своим скорбным мыслям, — видно по горькой прямой складке губ, по взору, недвижно устремленному в пустоту.

— Хлева надо рубить по весне, и повалушу, — произносит она наконец, — с каких животов? Холопов всех распустил, дитю и приходится одному биться в лесе в экое погоде!

— Не путем баешь, жена! — укоризненно отвечает Кирилл, помедлив. — Христос не велел роботити братью свою... По-Божьи надобно...

— Дети! — восклицает Мария с тихим отчаяньем. — Кабы не дети! Петя вон мужиком растет, Олфоромей когда что самоуком ухватит у Стефана, а так-то... Ростила, ночей не спала... В крестьяне пойдут?

Петр подымает взгляд, готовный, светлый. Молчит, но ясно и так: и пойду, мол, что такого? Не ссорьтесь только из-за меня!

— Почто перебрались сюда, третий год бьемси... — бормочет Мария, склоняясь над шитьем. — Ни почету, ни службы княжой. Люди уходят, который доброй работник, ты всякому вольную даешь! Осталась, почитай, одна хлебоясть!

— Яков есть! — веско замечает Кирилл.

— И Яков уйдет! — с безнадежным отчаяньем восклицает Мария.

— Яков не уйдет! — убежденно и строго, сводя хмурью все еще красивые седые брови, возражает Кирилл. Мария коротко взглядывает в укоризненные очи супруга и еще ниже склоняет голову с белыми прядями седины, что предательски выглядывают из-под повойника.

— Прости, ладо! — винится она вполголоса. — Чую, не то молвила... Токмо... В Ростове хоть Стефана выучили... А здесь — одни медведи! Умрем в одночасье...

— Господь не оставит детей, жена! Все в руце его! — вздыхая, отмолвливает Кирилл. Подумав, он добавляет: — Премного величахуся, красно хожаху, в злате и сребре! Гордых смиряет Господь...

— Ты ли величался! — Голос Марии звучит глубоким лебединым горловым переливом, ломается и тонет в молчании. (Любимый, ладо, жалимой, неталанливой мой! — досказывает за нее тишина.)

Снова хлопает настылая дверь. Стефан появляется на пороге, кирпично-красный с мороза.

— Трофим опять коням сена не задал! — громко и возмущенно говорит он с порога. — Пристрожил бы ты его, батя! — Он скидывает настылый зипун, вешает шапку на деревянную спицу. Пробираясь к столу, роняет, словно бы невзначай, для матери с отцом: — До ночи не воротят, поеду встречь.

Вьюга воет. В оснеженных крохотных оконцах, прорубленных всего полтора бревна и затянутых пузырем, смеркает короткий день.

Но вот наконец на дворе скрипят долгожданные сани. Слышно, как фыркают кони. Петр со Стефаном оба срываются с мест и наперегонки, ухватывая зипуны, вылетают из терема. Тут уже в синих сумерках грудятся возы. Кони тяжко дышат, шумно отфыркивают сосульки с морд. Мокрая шерсть в кольцах, закуржавела от инея. Варфоломей с Онькой, оба по уши в снегу, шевелятся у возов.

— Припозднились! Пробивали дорогу! — весело объясняет сизый Варфоломей прыгающими губами. Его всего трясет, но покраснелые, исхлестанные снегом глаза сияют гордостью победы. Ведь ему пришлось несколько часов подряд по грудь в снегу пробивать дорогу коням, и на последнем выезде лопнул гуж, и он, срывая ногти, развязывал — и развязал-таки! — застывший на морозе кожаный узел, и передергивал гуж в хомуте, и затягивал вновь немеющими на холоде окровавленными пальцами. И все-таки довез, дотянул, не бросив ни которого в пути (как ему советовал Онька и как, приходя в отчаянье, подумывал было он и сам), все четыре груженые воза, и теперь уже все позади, и братья сгружают сено, и выползают холопы на помочь, и Чубарый, что шел передовым, по грудь угрязая в сугробах, и храпел, и бился в хомуте, и прыгал заячьим скоком, грозя оборвать всю упряжь, тоже не подвел, возмог — выстал, вытащил-таки! А сейчас стоит, кося глазом и поводя боками, и тепло и небольно прихватывает Варфоломея большими зубами за рукава и стылые полы зипуна, тычется мордою в руки и грудь Варфоломею, соскребая об него сосульки с усов и губ.

— Балуй, балуй! — радостно бормочет Варфоломей, распрягая коня, а тот сам, сгибая шею, помогает стащить хомут с головы и, освобожденный от сбруи, переступив через оглобли, сам, волоча узденку, уходит в загон к сбившимся в кучу коням. Варфоломей догоняет Чубарого, сует ему в рот оставшийся в мошне огрызок хлеба, и пока

конь, благодарно кивая головою, грызет, снимает заледенелую узду. Здесь, за бревенчатою стеною терема, уже не так резко сечет ветер, от коня пышет жаром, и Варфоломей на минуту прижимает ладони к потной и мокрой шее Чубарого, чуя, как живит конское тепло одеревенелые пальцы...

Скоро сено убрано, дровни затащены под навес и все четыре лошади распряжены и поставлены в стаю. Оживленно переговаривая, работники расходятся по клетям. Синяя ночь надвигается на зимний Радонеж. И так славно сейчас сидеть дома, в тепле, у огня! Так славно, сотворив молитву перед трапезою, греть руки о глиняную латку с горячими постными щами, так сладок душистый ржаной хлеб, который Варфоломей по раз навсегда заведенной привычке не глотает торопливо, давясь кусками, как бы ни был голоден, а долго и тщательно разжевывает, пока весь рот не наполнит слюной и пока хлеб не превратится в нежную кисловатую кашицу, которая уже как бы сама проникает в горло — так жевать научили его за много лет добровольно принятые на себя посты.

— Стефан, ты мне обещал сегодня сказывать про Василия Великого? — спрашивает он вполголоса брата, отрываясь от еды.

Стефан кивает.

Снова хлопают двери. Вся облепленная снегом, румяная, сияющая, нежная в своем пуховом платке и шубейке, забегает Нюша, протопопова внучка — «Анна Юрьевна», как в полшутя зовет девочку по имени-отчеству деинка Онисим, — ойкает, ласково и звонко произносит: «Хлеб-соль!» — и таратористо передает то, с чем ее послали родители, сама озорными глазами оглядывая поочереди всех троих братьев, что сидят за столом, и каждый по-своему — Стефан снисходительно, Петя радостно, а Варфоломей застенчиво — невольно отвечает на ее улыбку. Замечает кирпично-красное, проморожённое лицо Варфоломея, строит ему в особину милую рожицу, но тут же, не выдержав, прыскает в ладошку и, увильнув подолом, с заливистым хохотом убегает вновь в синий холод, только щелк намороженной двери словно все еще хранит, замирая, незаботный девичий смех.

Глава 5

Минуло Рождество. По деревне ходили со звездой, славили младенца Христа. И тотчас затем заходили по Радонежу ряженые в личинах и харях, с хвостами и рогами, плясали, изображая чертей, таскали бесстудного «покойника» из дому в дом, «проверяли» визжащих девок. Варфоломей от ряженых спасался на чердаке. Даже Нюша, «Анна Юрьевна», не могла его выманить оттуда. Он один только и не ходил, кажется, в личине по зимним улицам, перепрыгивая через сугробы, под огромным, затканным голубыми алмазами звезд небом.

На Крещение устраивали йордан — пешали прорубь в речке в виде большого креста; бабы свекольным соком окрасили ледяные края, и сверху, с горы, дивно было глядеть на темно-алый, с бурлящею в глубине темной водою ледяной крест и цветную толпу радонежан по краям, веселыми криками приветствующих храбрецов, что, перекрестясь, кидались нагишом или в одних рубахах в ледяную воду и тут же выпрыгивали, красные, словно ошпаренные, торопливо влезая в шубы и валенки.

На Масленой, так же, как и в Ростове, катались по улицам на разукрашенных лентами и бубенцами конях. Гадали и крестились, бегали в церковь и к колдуну. Жизнь текла причудливой смесью верований и суеверий, своим, неуправляемым потоком, притекавшим из прошлого и уходящим в иные, будущие века... И по книгам, по учительным словам Иоанна Златоустого, узнавалось, что то же самое было и встарь, и всегда, быть может... Так что же — должен отринуть он этот мир, с

гаданьями и колдовством? Проклясть, яко древние манихеи? Или принять все как есть, согласиться и на ведовство, и на нечистую силу, заговаривать кровь у знахарок, и просить домового не гонять и не мучить по ночам лошадей?

На Масленой произошло одно событие, не такое уж и важное само по себе, но заставившее подростка Варфоломея впервые самостоятельно задуматься о праве и правде, и о том, как непросто и порою неожиданно разрешается то и другое в окружающем его земном бытии.

Радонежанин Несторка, конский барышник, на своем караковом жеребце обогнал в состязаниях праздничную упряжку самого Терентия Ртища, наместника.

Конь у Несторки был и правда дивный. Варфоломей живо помнил конские бега, разубранные упряжки, цветную толпу орущих, свистящих, машущих платками и шапками радонежан, гривастых, широкогрудых коней в узорных уборах, сбруи в наборной меди и серебре, расписные легкие сани, ездоков в заломленных шапках в красных развевающихся кушаках, вихри снега из-под копыт, и то, как седоки, обгонявшие соперников, скаля зубы, приподымались в санях, словно сами готовясь полететь вослед сумасшедшему конскому бегу... И как в тот миг, когда сани победителя начинали обходить чужие и морда скачущего коня в пене и блеске удил выдвигалась все больше и больше наперед обгоняемой упряжки, а переборы конских ног и просверк копыт сливались в одно сплошное, едва различимое мелькание, — лавиною нарастал и ширил дружный крик со сторон: «Надда-а-ай!». И на крике, на сплошной волне, под бешеный звон колокольцев вырывалась вперед победоносная упряжка, и уже седок, выпрямляясь в рост, сам орал и вопил, и гнал, слившись с конем и повозкой в единый катящийся клубок, в снежном вихре к победной мете.

Несторка пустил своего каракового на третий заезд. Легко обогнав шестерых соперников, он скоро приблизил к упряжке Ртища и начал обходить ее на виду у всех, у въезда в Радонеж. Наместничий возчий попробовал было не поддаться (прочие гонщики уже остались далеко позади), даже начал вилять, не давая пути. И тут-то Несторка, издав свой знаменитый разбойничий посвист, выжал из коня все и еще раз все, караковый жеребец наддал, словно у него выросли крылья, и, мало не раздробив сани о сани, черной молнией пронесся под носом игреневого наместничьего иноходца, уже в виду церкви вылетев вперед, на простор укатанной ровной дороги, и тут еще наддал под пронзительно-режущий Несторкин свист а барышник в сумасшедшем беге коня еще и сумел оборотить лицо, прокричав сопернику обидное, так что тот аж сбрусвянел, бешено и безнадежно полосуя бока своего опозоренного скакуна...

А потом, пока выважнвали взмыленных коней, Несторка, оглядывая лихим бесшабашным глазом ликующую толпу, хвастал, заламывая шапку, смачно сплевывал на снег, ставши фертом, руки в боки, и сам Терентий Ртищ подъехал к нему, улыбаясь и хмурясь одновременно, прошая продать каракового, а Несторка отрицательно тряс головой, с беспечною удалью, через плечо, отказывая самому хозяину Радонежа, под веселый смех и поощрительные возгласы со сторон:

— Не отдавай! Нипочем не продавай! Ай да Несторка! Ай да хват!

И наместник, набычась, сердито вздев плеть, отъехал посторонь, пристыженный смердом.

Вечер и еще день барышник взапуски хвастал конем, а еще назавтра молоньей пролетел слух, что Ртищ отобрал жеребца у Несторки, и не серебром, не меною, а за про́сто так: явились наместничьи люди, связали барышника, чтоб не ерепенился, и свели жеребца к Терентью во двор.

Несторку, который запил с горя, жалели все. Варфоломей по ста-

рой памяти прибежал к отцу с просьбою как-то помочь, вмешаться, усовестить Терентия Ртища...

С детских лет, мало не задумываясь о том, видел Варфоломей, как приходят к его батюшке мужики из села и даже горожане, купцы и ремесленники, а он, важный, изодев праздничные порты, садится в точеное креслице и посуживает их споры и жалобы друг на друга. Отца считали праведным и на суд его никогда, кажется, не обижались. (Самого отца в те поры судить мог только князь.) Бывало, что и мелкие вотчинники обращались к Кириллу как к думному боярину ростовского князя за советом и исправою. Кирилл ставил жалобщиков одесную и ошую себя и давал им говорить поочереди, останавливая, когда спор переходил в брань или взаимные угрозы. Отец подолгу и терпеливо выслушивал тех и других, посылал слухачей проверить на месте, как и что, ежели дело касалось споров поземельных, и решал-таки дело всякий раз к обоюдному согласию тяжущихся.

И хотя знал, ведал Варфоломей, что ныне нет у родителя-батюшки той власти, и даже сам он должен по суду отвечивать перед наместником, а все казалось: как же так? Отец ведь! Никак не укладывалось новое их состояние у него в голове... И только дошло, когда Кирилл, подняв усталый взор от книги, скупо и строго отверг Варфоломеев призыв:

— Ноне не я сужу! Дела те наместничьи, ему и ведать надлежит. А наместник единому князю повинен. Так вот, сын! — Он вздохнул, утупил очи, повторил тише: — Так вот... — И уже отворотясь, примолвил: — И не думай о том, не тревожь сердца своего...

Варфоломей вышел от отца повеся голову. Не думать, однако, он не мог. У него мелькнула сумасшедшая мысль — поговорив прежде с Несторкою, идти самому на Москву, просить милости у великого князя. Хоть и плохо понимал он, как возможно ему, отроку, минуя тьмочисленную стражу, предстать пред очи великого князя владимирского.

Барышника он застал у дяди Онисима, в людской, и тотчас понял, что никакой разговор с ним сейчас невозможен. Несторка был до предела, до положения риз пьян. Поминутно валясь на стол, размазывая рукавами по столешнице хмельную жижу, он белыми, невидящими глазами обводил жило и в голос, перемежая ругань икотою, костерил почем попадя Терентия Ртища. Онисимовы смерды гыгыкали, слушая барышника, подливали ему пива, которое тот не столько пил уже, сколько выливал себе на колени и грудь, ухмыльчиво подзуживая его на новые и новые излияния.

Варфоломею на его первые горячие слова, сказанные, что называется, с разбегу (не узнавши, верно, молодого боярчонка), Несторка ответил длинною замысловатою руганью, в коей среди матерных слов был упомянут и суд княжий, и Терентий Ртищ, и сам великий князь московский.

— Дурак он, Терентий твой (было добавлено и зело неподобное определение к слову дурак), х....ый наместник! Коня отобрал! Ха, ха, ха! Пущай подавится моим конем, мозгляк! Да я бы на евонном мести! Да всех... В рот...! Бабы там, девок ентих, — табунами бы шли! Которую захочу! Тотчас ко мне на постелю! Стада конинные! Порты! Рухлядь! Серебро! Вы, вси! Ползали б передо мною на брюхах!

— Ползали, ползали! — охотно, подмигивая Варфоломею, отозвался один из кметей. — Да ты испей! Авось и сам до дому-то доползешь!

— А што! Доползу! Пра-слово... Да я! Да ему... — И снова полилась заковыристая матерная брань.

Варфоломей уже не мог слушать долее гнусной похвальбы пьяного барышника. Выйдя на волю, он почуял, что желание брести на Москву и искать там Несторкиной правды из него улетучилось.

Возможно, Терентий Ртищ был и прав, что поступил именно так! Во

всяком разе, представив себе на миг обиженного Несторку на месте Терентия Ртища, Варфоломей почувствовал, как его определенно замутило.

Суд московский, скорый и не всегда милостивый, который творил в Радонеже наместник, быть может, отвечал больше воззрениям местных жителей на саму природу власти и был даже понятнее им, чем торжественные разборы дела, устраивавшиеся его отцом в Ростовской земле! Да похоже было, что и сам Несторка в глубине души признавал правоту наместника, ответившего насилием на глумливую выхвалу смерда. И что тогда должен делать, и что думать он, Варфоломей, похотевший вступиться за обиженного?!

Глава 6

Постоянно таскаясь в челядню, где он обучался всяческому рукомеслу у всезнающего Тюхи, Варфоломей наслушался всякого. Уже и приметы, и наговоры, и значения вещих снов, и вера в птичий грай, сделались ему ведомы. Узнавал он, — нехотя, само лезло в уши, — из речей, что вели при нем, нимало не стесняясь подростка, жонки, кто с кем дружит, и кто на кого сердце несет, какая Фекла или Мотька к кому из мужиков бегает на сторону, и от кого родила дитю вдовая Епишиха, и для которого дела варит кривая Окулька приворотное зелье. Он все запоминал молча, не вмешиваясь ни в бабьи пересуды, ни в толковню мужиков, и, возвращаясь к себе в терем, открывая твердые доски книжного переплета, думал о том, как же теперь совместить, — не для себя, для них! — все это, слышанное только что, и высокие слова церковных поучений? Жизнь нельзя было ломать и корежить, это он уже постиг, скорее даже не умом, сердцем. И тогда — не самое ли достойное и мудрое, в самом деле, — монашеская жизнь? Рядом и не вместе. С миром, но не в миру. Для постоянного, но не стеснительного руковоженья и наставительной проповеди Христовых заветов!

Верно, от этих непрестанных мыслей он и решился однажды на дело, едва не стоившее ему головы.

Про радонежского колдуна, по прозвищу Ляпун Ерш, давно и много говорили в городке. Водились за ним дела темные, нечистые, даже страшные дела: присухи, порчи молодых, иасыльные болезни, порча коней и погубление младеней по просьбам гульливых жонок... Но последнее, что всколыхнуло весь Радонеж, была гибель Тиши Слизня, доброго, богомольного мужика, что никогда и мухи не обидел, всем готовый услужить и помочь.

С Ляпуном они не ладили давно. Тиша лечил травами, пользовал скот, почасту ничего не беря за свои труды, и всем тем, а паче, своею настойчивой добротою, постоянно становился поперек разнообразных каверз Ерша.

Тут они вроде бы помирились, и даже положили вместе рубить дерева. А в самом начале Филипьева поста Тишу Слизня задавило деревом. Слух о том, что дело не так-то просто, и что без Ляпуна тут не обошлось, сразу потек по городку. В лицо, однако ж, колдуну никто не говорил ничего, — боялись сглаза. И на рассмотреньи у наместника так и осталось: в погибели сам виноват, не поберегся путем.

Тюха, объясняя Варфоломею событие, ворчал:

— Дак, ково тут, сам! Посуди: эдак-то стоял Тиша, а эдак—Ляпун. Тута дурак не постережется! Стало, прежде подрубил и свалил на ево, так! Сходи сам, глянь. И дерева те не убраны, кажись, о сю пору.

Варфоломей не поленился отыскать дальнюю делянку, где произошло несчастье. Осмотрел роковое дерево, в самом деле не убранное до сих пор. Тут, на месте, все казало яснее ясного. Только со злого умыслу можно было так уронить дерево, не окликнув напарника. Люди Терентия Ртища явно поленились проверить все путем.

Домой Варфоломей возвращался задумчивый. Вечером, в челядне, прямо спросил Тюху, что ж он, получается, все знал, а не повестил о том наместнику?

— Ишь ты, борзый какой! — возразил Тюха, покачав головою.— Ляпун-то, знаешь, колдун, ево и не взять никак! Любой страже глаза отведет, а опосле житья не даст. мне ить из Радонежа бежать придет!

Когда в этот вечер Варфоломей выходил из челядни, сами ноги повели его в конец деревни, а там, по проторенной узкой тропке, к дому Ляпуна, нелюдимо утонувшему в глубоких декабрьских снегах. В сумерках уже смутно отделялась граница леса и неба. Ноги ощупью находили едва заметный человеческий след.

Кобель рванулся на железной цепи, яростно, с хрипом, взвыл, царапая лапами снег, когда Варфоломей, осклизаясь на оледенелых плахах крыльца и тыкаясь в темных сенях нашаривал рукоять двери.

— Кого черт несет, мать перетак!

Дверь швырком отлетела посторонь. Ляпун Ерш вывернулся в проеме, дыша пивным перегаром, косматый, нелюдимо и остро вглядываясь в темноту. Варфоломей еще не знал, что скажет или содеет, но тут, услыша брошенное в лицо: — «Пшел!..» — с густым, неподобным окончанием, — попросту, не думая, отпихнул плечом хозяина и полез в жило, скудно освещенное колеблемым огоньком сальника.

Пахло кровью, паленою шерстью и кожевенным смрадом. Ляпун Ерш вцепился, было, в плечо, Варфоломею и так, вместе с ним, вволокся в избу. То ли узнав боярчонка, то ли почуяв силу в госте, хохотнул:

— Аа! Ростовской, ростовской! Чаво, не куницу ли куплять хошь?

Клоня башку с павшею на глаза нечесаною космою волос, мерзко и блудливо улыбаясь, он сожидал ответа, сам загораживая гостю проход, в глазах копилась пьяная злоба.

— Ничего, — спокойно отмолвил Варфоломей. — Поговорить пришел!

— Так, так, значит! Поговорить! А мне ентих разговорщиков не надоть! — он качнулся, рукою нашаривая, что потяжелее.

— Сядь, Ляпун! — возможно строже произнес Варфоломей.—Со мною ли, с Господом, а придет тебе говорить!

Ерш засопел, вскинул зраком, глумливо протянул:

— С Го-о-осподом?! Да ты не от ево ли, часом, идешь?

Лицо Варфоломея начало наливаться темным румянцем. Глаза отемнели. Настал тот миг тишины, который приходит перед боем или взрывом бури.

Перед ним, в глиняном светильнике, прыгая, мерцал огонек, неровно выхватывая из темноты то грубый стол, заваленный обрезками кожи и шкур, деревянными и железными скребками, небрежно сдвинутой к краю прокопченной корчагой с варевом и полукраюхой черного хлеба, то — пузатую, глинобитную печь, то полицу с глиняной и медной утварью, то развешанные над головою в аспидной, продымленной черноте сети, то груды копыльев и полуободранные барсучьи туши на полу.

Решась, словно кидаясь в прорубь (все, что хотел сказать допрежь того, вылетело из головы) Варфоломей молвил, как бросил:

— Тишу Слизня ты убил?! — и — как словно от сказанного — загустел воздух в избе. Ляпун качнулся, проминовав чан с черною жижей и молча, страшно, ринул на Варфоломея, схватив его измаранными в крови руками за грудки. Варфоломея шатнуло взад и вбок, но он устоял, и изо всех сил сжал, вывертывая запястья, руки Ерша. Минуты две оба боролись молча, но вот Ерш ослаб, руки его разжались, и он, в свою очередь отпихнутый Варфоломеем, отлетел до полу-избы.

— Уйди-и-и! — взвыл Ляпун, и, сгребя первое, что попало под руку — обугленную деревянную кочергу, — ринул снова на Варфоломея. Они сцепились вновь. Но теперь Варфоломей ожидал нападения. Схватя на замахе, и круто свернув вбок и книзу, он вырвал кочергу из рук Ерша, и, — ринув его так, что тот, отлетев за кадь, не удержался на ногах и сел на пол, — грянул двумя руками кочергу о край кади, переломив пополам сухое дерево, и кинул обломки под порог.

— Та-а-ак! — процедил Ляпун, звероподобно следя за Варфоломеем. — В моем доме меня же... Та-а-ак... — протянул он еще раз, круто вскочил на ноги, и вдруг, вместо того, чтобы вновь броситься на Варфоломея, принял руки в боки и захохотал.

— Да ты чево? Чево? — сквозь булькающий, взахлеб смех выговорил он, — чево надумал-то? Будто я? Ето я, значит, Тишку убил? Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! — он захохотал вновь и так звонко, что у Варфоломея на мгновение, — только на мгновение, — шевельнулась неуверенность в душе: а вдруг все, что баяли про колдуна обычный сельский оговор. Но тут он приметил, что глаза у Ерша отнюдь не смеются, а зорко и колюче высматривают. И он сделал, — поступив, впрочем, вполне безотчетно, — самое правильное: не ответив ничего и не усмехнувши в ответ, стоял и ждал, прямо глядя в лицо Ляпуну, а тот все хохотал, натужнее и натужнее, и уже видать было, что совсем и не до смеха ему, и, почуяв, наконец, что более продолжать не след, и что незваный гость все одно ему не поверил, он вдруг круто оборвал смех, примолвив с прежнею яростью:

— Ну, вот што, глуздырь! Потешил меня, а теперя ступай отсель, пока я пса с цепи не спустил! Ну?! — рявкнул он, шагая к Варфоломею. Варфоломей поднял правую руку, примериваясь схватить колдуна в свою очередь за воротник.

— Ты убил, — повторил он сурово и тихо, — и должон покаяти в том!

— Тебе, што ль, сопливец? — возразил, щурясь, Ляпун, и вновь взревел: — Вон! В дому моем!! Вон отселе!!! — И — кинулся вдругорядь. Но тут Варфоломей, изловчась, рванул его к себе за предплечье и, развернув на прыжке затылком к себе, ринул в дальний угол, в груду копыльев.

— А, так... ты так... Ну, постой, погоди... — бормотал Ерш, возясь на полу, не поворачивая лица к Варфоломею, а руками лихорадочно ища какое ни на есть оружие.

— Оставь, Ляпун! — возможно спокойнее сказал Варфоломей. — Меня не убьешь, да и я не с дракою к тебе пришел.

— Не с дракою? — лихорадочно возразил Ляпун, стоя на коленях, и не оборачиваясь. — Не с дракою! А хозяина в ево дому бьешь! Да и небыль сплел на меня. Ково я убил?! — прокричал он, вскакивая, и поворачивая к Варфоломею искаженное, едва ли не со слезами лицо. — Ково? Ну?! Ково? — бормотал он, наступая на Варфоломея. (В руке колдуна приметил Варфоломей длинное сапожное шило).

— Тишу Слизня ты убил! — возразил Варфоломей и, сделав шаг вперед, метко схватил Ерша за запястье: — Брось! — Вывернутое шило со стуком упало и закатилось под кадь.

Обезоруженный, тяжко дыша, колдун угрюмо, исподлобья, давящим недобрым взглядом уставился на Варфоломея. Взгляд его именно давил, казалось, имел весомую тяжесть, и Варфоломей, вспомня, что баяли про дурной глаз Ерша, начал про себя читать Исусову молитву. Минуту и больше пьяный колдун пытался взглядом устрашить Варфоломея, пока, наконец, не понял, что молодой барчонок ему не по зубам.

— Молод, молод, — процедил он сквозь зубы, — а уже...

— Не пугай, Ляпун, — отмолвил Варфоломей, выдержав взгляд колдуна, — не пугай! Покайся, лучше!

— Каяти мне не в чем! И ты мне — не указ! Мертвое тело—дело наместничье. К Терентию Ртищу иди, коли доводить хочешь. Токо преже докажи, что я ево убил, а не кто другой! Да ево и не убили вовсе, а бревном задавило, слышь?

— Слышу. Ты убил. Был я на месте, и дерева те глядел сам. И не скоморошничай передо мною! Ты убил, — отмолвил Варфоломей.

Вновь наступила тишина. Видать, Ерш молча обмысливал сказанное. Наконец, он поднял на Варфоломея обрезанный взгляд, молвив с кривой полуулыбочкой:

— А хошь и убил, не докажешь! — и опять наступила тишина.

— Ты сам должен пойти и покаяти в том! — твердо сказал Варфоломей. — И не к Терентию Ртищу сперва, а к батюшке Никодиму, духовному отцу твоему.

Ляпун шатнулся, подумал, усмехнув задумчиво. Склонил голову набок.

— С тем и пришел ко мне?

— С тем и пришел, — как можно спокойнее отмолвил Варфоломей.

— Молод ты ищо! — возразил Ляпун, покачивая головою. Он уже заметно отрезвел. — Молод, и глуп. Кто ж, по твоему, сам на себя доводит? Ты хошь видал таких? Али, может, тово, в житиях чел? Дак и все одно, не твое то дело! Был бы мних, старец, куды ни шло! А таких как ты много ходит, да всем, поздно ли, рано, окорот бывает, внял? И не тебе, боярчонку, о правде баять да о душе! Ково за правду ту наградили, и чем? Какая мне с того придет корысть? Петлю накинут, да удавят! Всяк в мире сем за свою выгоду держит! Ты мне: покайся! А я тебе: — не хочу! Вота и весь сказ! Ну и... иди... Иди, говорю, ну!

Варфоломей на мгновение растерялся. В самом деле, он не мних, не священник, и не его право — требовать покаяния от преступника. Но отступать было уже нельзя, да он и не собирался отступать, не затем брел сюда один зимнею ночью.

— Пойми, Ляпун, — сказал он возможно строже и спокойнее, — я знаю, что ты убил Тишу Слизня, и мог бы прийти не к тебе, а к наместнику. Я пришел к тебе, ревнуя о душе твоей, которая, иначе, пойдет в ад. Неважно, накажут тебя или нет. Сколько тебе осталось лет жить на этом свете? А там — жизнь вечная. И ты сейчас губишь ту, вечную жизнь, обрекая душу свою на вечные муки! Ты должен покаяти пред Господом и получить епитимью от духовного отца! Должен спасти свою душу!

— Дак тебе-то что! — выкрикнул Ляпун. — Моя душа гибнет, не твоя! Дак и катись к... — Он вновь произнес неподобные срамные слова.

— Я должен заставить тебя покаяти, Ляпун! — ответил Варфоломей.

Возможно мягче и спокойнее он заговорил о том, что знал и ведал с детства. О Господней благости, о терпении и добре, и о том ужасе, который ожидает за гробом нераскаянного грешника.

— Там ничего нет! Понимаешь? Ничего! Даже в котле кипеть, и то покажет тебе благом великим!

Он говорил долго, и колдун слушал его сопя, но не прерывая, сумрачно вглядываясь во вдохновенное лицо рослого отрока.

— Не понимаю я тебя, — молвил он, помолчав, когда Варфоломей выговорился и смолк. — Словно и не мних ты, а баешь — чернецу впору... Омманываешь меня! — возвысил голос Ляпун. — Прехитро наговорил, а поди-ко! — он вдруг сложил дулю, и сунул ее под нос Варфоломею: — Не хочу и не буду. не хочу! — забормотал Ляпун быстрою частоговоркой. — Сколь душ изгубил, все мои, вота!

— Али доведешь?! — выкрикнул он, кривясь, заглядывая снизу

вверх в отемневшие глаза юноши. — Доведешь?! — переспросил Ерш судорожно, — видал, што ль?! — выкрикнул он в голос.

— Почто ж ты человека боишься, видавшего преступление твое, а Господа, который видит все с выси горней, а ангела своего, что за плечами стоит, не боишься, и не покаешь ему? — сурово вопросил Варфоломей. — Крест-от есть на тебе? Перекрестись! — приказал он, возвысив голос.

Ляпун забегал глазами, поднял, было, руку, коснувшись лба, пробормотал: — Чур меня, чур! Да ты юрод, паря, ей бо, юрод и есть! — бормотал он, отступая к стене.

— Перекрестись, ну! — не отступал Варфоломей, — знаю про тебя все и — зри! Не страшусь! И глаз твой дурной не волен надо мною! Господь моя крепость! — с силой продолжал Варфоломей. — Час твой пришел, уже, молись!

Ерш, не отвечая, вдруг упал на оба колена и сложил руки перед собой:

— Чур меня, чур! Господь... Владычица... Дивий старец, камень заклят, духи горние, духи подземельные...

— Перестань! — приказал Варфоломей, морщась, и сам стал читать молитву над склоненной головою Ляпуна. Тот вдруг согнул шею, весь затрясся, словно отходя от холода, забормотал неразборчивее, быстрее, слышалось только: «Свят, свят свят»...

— Где у тебя икона?! — вопросил Варфоломей. — Помолим вместе Господа, а после дойдешь со мною в дом церковный!

— Пойду, пойду... — бормотал Ляпун, все ближе подползая на коленях, пока Варфоломей, отворотясь от него, отыскивал глазами в красном углу чуть видный отемнелый лик какого-то угодника. Став на колени и, через плечо, оглядев колдуна, Варфоломей повелел ему:

— Повторяй! — И начал читать покаянный канон. Сзади доносилось неразборчивое бормотание.

— Яснее повторяй! — приказал, не оборачиваясь, отрок.

Страшный удар по затылку ошеломил Варфоломея. Перед глазами разверзлась беззвучная, все расширяющаяся серая пелена, и в эту сыпучую пелену, в муть небытия, рухнул он лицом вперед на враз ослабших ногах.

Что-то, — то ли молодая кровь, то ли промашка Ляпуна, — спасли Варфоломея. Сильный удар лицом о мостовины пола тотчас привел его в чувство. Вскочив, еще мало что понимая, и безотчетно оборотясь, он узрел, словно в тумане, безумные глаза Ляпуна и вздетый над его головою топор. Рассуждать было некогда, следовало или кинуться в двери и бежать, бежать стремглав, спасая себя от смерти, или... В какую-то незримую долю мгновения он узрел и дверь, и расстояние до нее, измерил мысленно путь от крыльца до калитки и в следующую долю мгновения кинулся к Ляпуну и вцепился руками в топорище вознесенной для очередного удара секиры. Рванув, он вырвал было топор из рук Ерша, но тут же его шатнуло, волна слабости пробежала от закружившей головы к ногам, и в ту же секунду топор вновь оказался в руках у Ляпуна. Собрав всю свою волю и силы, не позволяя убийце отступить для нового замаха, Варфоломей вновь вцепился в скользкое от крови топорище, и началась страшная, молчаливо-яростная борьба, борьба воистину не на жизнь, а на смерть. И только тяжкое сопение да неуклюжее топтание сплетенных тел нарушали давящую тишину.

Едва переступая немеющими ногами, Варфоломей доволокся до середины избы и приник к тяжелой кади с вонючей жижей, в которой квасилась кожа. Ляпун сейчас был сильнее его, и Варфоломею, чтобы удержаться на ногах, надо было опереться о что-нибудь. Однако и тут его выручила прежняя выдержка. Одолев слабость в ногах, и не позволяя себе ни одного лишнего движения, Варфоломей, крепко обнявши топорище, за которое отчаянно дергал Ляпун, начал постепенно отдавливать секиру вниз.

— Пусти! — хрипел Ляпун, — пусти... Брошу... Слово...

— Не бросишь... Сам пусти!

— Вот хрест... Пусти, ну!

Ляпун изо всех сил рванул топор на себя, не видя, что Варфоломей зацепил лезвие за край кади.

— Пусти! Уйду... Пусти!

— Ты... убийца... Тебе... не будет спасения, понимаешь? Отдай топор! — говорил, меж тем, Варфоломей, надавливая на рукоять.

— Убьешь!

— Не трону... Дурень... Оставь топор... Богом клянусь, не трону я тебя!

Он одолевал-таки. Ляпун, не отпуская рукояти, клонился все ниже и ниже, и вдруг, выпустя топорище из рук, стремглав ринулся в угол, и распластался там по стене.

— Пощади!

Варфоломей стоял, еще не понимая своей победы. В голове звенело. От крови промокло все — и свита, и рубаха. Теплая жижа сочилась у него по спине и груди. Он поднял топор. Сжал изо всех сил скользкое топорище, и, не отводя взора от побелевших, полных смертного ужаса глаз Ляпуна, сделал к нему шаг, и другой, и третий. В углу, наискосок от них, стояла большая изрубленная колода для мяса. И Варфоломей, продолжая глядеть прямо в лицо Ляпуну, изо всех сил (тьма на миг опять заволокла очи) вонзил топор в колоду, погрузив светлое лезвие почти до рукояти в щербоватое дерево.

В ушах все стоял и ширился звон. Ноги онемели, и чуялось—стоит наклониться, и предательская тьма охватит его и увлечет вниз, в небытие.

— Помни, Ляпун, — сказал он отчетливо и громко, — из утра надоть тебе быти у священника, и покаяти во гресех своих!

Ерш все так же пластался по стене, недоуменно смаргивая, с безмерным удивлением и страхом взглядывал то на Варфоломея, то на угрязшую в колоде секиру. «Почто не убил?» — казалось, говорил его взгляд.

— Помни, Ляпун! — повторил Варфоломей, кое-как нахлобучивая шапку на разрубленную голову. Рывком открыв дверь (его опять повело головокружением), Варфоломей вывалился в темень ночи, на холод и мороз, сошел, не сгибаясь, по ступеням и, не обращая уже внимания на беснующегося пса, деревянно зашагал прочь от предательской избы.

Ноги повели его к дому, но на середине пути он остоялся, чуя озноб и колотье во всем теле, и повернул вспять. Казать себя матери в этом виде нельзя было. Петляя по тропинкам, осклизаясь, почти падая, Варфоломей добрался до избушки знакомой костоправки Секлетеи и уже тут, почти теряя сознание, торопливо плел что-то, пока старуха, ворча, стаскивала с него кровавый зипун с рубахою, осматривала и обмывала рану на голове, жуя морщинистым ртом и покачивая головой.

— Эдак-то и не падают, парень! Туточка без топора, аль бо секиры не обошлось... Ну, молчи, молчи!

Лежа ничком, уже в полусознании, чуял он, как бережно возится Секлетея над его раной... Домой он прибыл уже перевязанный, с туго замотанною головою, в чужой рубахе, в кое-как обмытом от крови зипуне. Стараясь не показываться на глаза матери, пробрался в темноте в угол, на свое место, и, горячо прошептав: «Господи! Благодарю тя за спасение! Яко благ еси, и человеколюбец, и весь вся тайная души человеческой...» — провалился в сон, в жар, в полубредовое небытие...

Скрыть от всех свою рану ему, конечно, не удалось, хотя о том, что совершилось, он так никому и не проговорился.

— Упал затылком о топор! — Вот и все, что из него выудила мать. Вызывали лекаря с наместничьего двора, рану вновь промывали и зашивали (Варфоломей тихо скрипел зубами, было много больнее, чем давеча в избе Ляпуна и у Секлетеи).

А потом он лежал горячий и безвольный, и кружилось, и плыло хороводом перед очами, и плакала мать, и Нюша прибегала и сидела рядом, вздрагивая от тихих слез и трогая прохладными пальчиками его воспаленное чело, и ему было хорошо-хорошо от ее касаний и от такого открыто-неложного страха за него.

На все вопросы о том, что с ним произошло, Варфоломей или упрямо повторял первую пришедшую в голову ложь, либо отмалчивался. Кажется, только один Стефан и догадал, в чем дело. На третий или четвертый день кто-то из холопов принес весть, что невестимо исчез колдун, Ляпун Ерш. Заколотил дом и пропал неведомо куда. Варфоломей со Стефаном как раз разговаривали. Первый — лежа, второй — сидя на краю братней постели. Варфоломей умолк и насторожил уши. Подняв глаза, он увидел внимательный взгляд Стефана и смущенно отвел взор.

— Это ты его... довел? — хмуро, процедив сквозь зубы, вопросил Стефан, внимательно оглядев перевязанную голову младшего брата. Варфоломей смолчал. Стефан задумался, слегка ссутулив плечи.

— Видишь, с ними, с такими, по-христиански нельзя. Тут нужна власть, закон. Иного не понимают. Темные они!

— А как же — первые — христиане — обращали — язычников? — медленно ворочая языком, выговорил Варфоломей.

— Там иное! Как же можно сравнить: неведенье истины или нежелание ее знать! Ежели кто сам обещался дьяволу, того уже светом истины не просветишь... А ты, никак, Ляпуна обращать в христианство надумал?

— Я упал... — нехотя отмолвил Варфоломей.

— Ну, дак не падай больше! — грубо возразил Стефан, обрывая разговор. — Матерь исстрадалась совсем!

Впрочем, пролежал Варфоломей недолго. Здоровая природа взяла свое. А Ляпун и верно пропал из Радонежа и до времени боле о нем не слыхали.

Глава 7

Мать как-то обмолвилась, сидючи за шитьем:

— Скорей бы Стефана оженить, да и вас с Петром тоже! Мы с отцом старые уже, уйдем в монастырь. Дом без хозяйки — сирота!

— Я, мамушка, о женитье не думаю! — отмолвил Варфоломей. — Хочу послужить Господу!

Мария поглядела внимательно, перекусила нитку.

— Гляди, сын! В монастыри уходят больше в старости, к покою, опосле трудов мирских... — Подумала еще, помолчала, добавила тише: — Ну, как знаешь, не неволю.

О женитьбе Варфоломей и вправду не думал. Он рос, вытягивался, становился шире в плечах, огрубело лицо, явилась юношеская, проходящая к мужеству, неуклюжесть. Но все уходило в силу рук и в пытливость ума.

И Нюше, внучке протопоповой, он отвечал вполне чистосердечно, когда она, подсаживаясь к нему, глядела, как Варфоломей большими руками ладил по просьбе девушки тонкую берестяную коробочку для иголок и ниток, и заглядывала любопытно, и невзначай касалась его плечом, и влажными пальчиками трогала загрубелые длани юноши («Какие у тебя руки большие!»), удивляясь, как это он такими большими пальцами выплетает и узорит столь тонкую крохотулю? И, поглаживая его словно бы рассеянно по запястью, выспрашивала вполголоса:

— Правда ли, что ты пойдешь в ченцы?

Варфоломей, сосредоточенно действуя кочедыгом, кивает головой:

— Да!

Нюша хмурит бровки, словно облачко набежало на ясный небосклон, замирает на миг и вновь начинает ластиться:

— Расскажи чего-нибудь! — просит она. И он, не отрывая глаз от дела, сам любуясь своим мастерством, начинает вполголоса сказывать: про старцев египетских, Герасима и льва, девушку, прожившую неузнанной в мужском монашеском платье, про Алексея Божьего человека... А она сидит, взглядывая искоса на него, примолкшая, и клонит голову, изредка вздыхая, а то вновь начнет молчаливо водить теплым пальчиком по запястью Варфоломея, то щиплет, дурачась, светлый пух бороды, а то захохочет, недослушав, вскочит, убежит, поворотя от двери, позовет лукаво:

— Бежим в горелки играть!

С Нюшей ему было хорошо и покойно. Теплело внутри и хотелось так и сидеть рядом, бесконечно что-то делая, и чтобы она дурачилась и выспрашивала, и тепло дышало в ухо, водя соломинкою по шее, и — ничего больше! Решению его идти в монахи Нюша никак не могла помешать. Так он думал. Да так, до поры, и было на деле. Плотское не волновало пока, не мучило Варфоломея. Быть может, еще и потому, что он с детства установил для себя строгую, полумонашескую жизнь: очень мало спал, умеренно ел и непрестанно трудился. Все, чем будущий Сергий впоследствии изумлял братью свою, все его многоразличные умения, были приобретены им теперь, в эти радонежские годы.

В марте валили дерева, возили лес на хоромы. Возили помочью, самим бы и не сдюжить было. Тормосовы подослали людей и сами помогли. С родней-природою всякий труд в полагоря!

Когда обтаяло, на дворе уже высилась груда окоренных, истекающих смолою бревен, только катай и руби, и уже руки чесались в охоту взяться за отглаженное ладонями до блеска темное топорище и повести ладным перестуком спорую толковню секир.

Снова зеленым пухом овеяло вершины берез, вновь стройные девичьи хоры потекли над рекою. На Троицу завивали березку, парни угощали девиц пряниками, а те их отдаривали яйцами; и снова ладили упряжь, пахали и сеяли, вновь чистили пожни, выжигали лес под новые росчисти. Хозяйство устраивалось, крепло, и все же для боярской семьи Кирилловой это был путь вниз.

Через лето, осенью, когда собрали урожай, свезли и обмолотили снопы и засыпали хлеб в житницы, ушел Яков. Честно ушел, простясь и оставя после себя налаженный порядок в дому. Ушел к Терентию Ртищу, наместнику.

— Воин я! — объяснял Яков старому Кириллу. — Место дают старшого, буду в дружине, там, авось... И парень у меня растет, куды его?

— Христос с тобою, Яша! — отмолвил Кирилл. — Не корю! Мне, видно, уже в монастырь пора, а тебе — гляди сам!

— Тимоху, батюшка, выгнал я, лодырь он, да и на руку нечист. Ты его назад не бери, горя примешь! — напутствовал своего господина Яков. — Даньша, коли не уйдет, будет тебе вместо меня. Да и Стефан ноне уже с понятием. Прости, боярин! — Яков рухнулся в ноги. Кирилл поднял его, поцеловались трижды. По-хорошему, по совести расстались. И все-таки это было бедой. Рушился дом. Вместо прибытков, доходов и кормов оставалось все меньше слуг, наваливало все больше работы на плечи сыновей, и — где там научение книжное! По-

сев, покос, жнитво, молотьба, извоз, дрова, сено... А выйдут льготные годы? Прибавят сюда дани-выходы, кормы, повозное, та же ордынская дань, мирские тяготы... Каково-то будет Стефану — нравный, гордый! И вовсе сыны ся обратят в крестьян! А случись пора ратная, не иначе идти им простыми кметями, в том же городовом полку радонежском броней — и тех нет у его сыновей!

Кирилл давно начал сдавать, а тут одряхлел как-то сразу. Быть может, не столь от трудов тяжких, сколько от безнадежности этих трудов. И хозяйство порушилось бы, кабы не дружная помочь Тормосовых, кабы не Онисим, что, схоронив в одночасье жену и младшего своего, не шутя прилеплялся все боле и боле к семье Кирилловой.

Помочью молотили снопы. С умолота пировали в дому Кириллове. И вроде бы не много лет прошло с тех, прежних, ростовских застолий, а как изменилось, как опростело все! И уже не в шелку, а в простой посконине сидят за столом вчерашние знатные мужи ростовские, и серебро со стола, почитай, поисчезло почти целиком, простая, глиняная да деревянная посуда стоит перед ними. Да и блюда попроще, без иноземных, привозных яств и питий. И уже не двоезубою серебряною вилкою, а просто рукою ухватывает жаркое с деревянной тарели Тормосов, кромсает засапожником гусиную ногу и смачно хрустит ею — так, как обык на домашних пирах с холопами и прислугой. И речи ведутся простые — про урожай, жнитво, умолот, а о том, что творит в Орде Иван Данилыч или Александр Тверской, разве пару раз и упомянут только. Онисим, бывало, ввалится, громогласно начнет вещать, что творит там, наверху, в Москве, куда поехал великий князь владимирский да кого вызывают на суд к хану, — рассказывает, а словно все то уже и не трогает взаболь. Иные заботы у всех на уме: не вымерзло б яровое, не залило бы покосов водой, да почем сало, говядина, кожи? Нынче легота вышла, приходит и дани давать, и на тот же ордынский выход опять собирать серебро!

Но и другое сказать: проще, сердечнее стало застолье! После работы с цепом, после страды совместной, теснее и ближе становит круг не позабывшей друг друга ростовской родни. Ветшает, уходит в небылое боярская слава и роскошь минувших времен. Являют иные, дражайшие, сердечные связи. И пока живы они, пока уработавшиеся на помочах веселые родичи, пропарясь в бане, вместе сидят за праздничным столом и поют, любуясь друг другом, и смеются и шутят, и черпают ковшами темное пиво из круглой ведерной братины, и готовы друг за друга, почитай, и самих себя отдать, — до тех пор ничто еще не окончилось и не изветшало на земле, ни для них, ни для всего народа русского! Так точно ли рушит, точно ли вниз упадет Кириллов боярский дом?

Што ни в полюшке пыль, пыль,
Курева-а-а стоит!
Што ни в полюшке пыль, пыль,
Непогодушк-а-а-а!
Доброй молодец, доброй молодец,
Доброй молодец в перелет летит,
В переле-е-ет лети-и-и-т...
Под ем доброй конь расстилается-и-и...

Поет мать. Поет Онисим, подперев, по обычаю своему, голову обеими руками. Поет, понурясь, отец. Высоко ведут братья Тормосовы, и песня, про гибель молодца в далекой степи, торжественной грустной красотою наполняет праздничный терем, уводя в иные миры, в далекие страны, и в выси горние...

Глава 8

Да! Незримо отдалились, отодвинулись от них в далекое далеко княжеские труды и печали боярские. Иные труды и печали иные тревожат днесь вчерашних ростовских бояр, а теперешних радонежан.

Простой изначальный труд на родимой земле заботит их ныне более всего.

О том, что тверской и московский князья вновь поехали в Орду на суд ханский, повестил проезжий княжой гонец, но ни тревог, ни надежд прежних известие это ни у кого не вызвало. А про казнь Александра Тверского с сыном Федором в Орде в Радонеже и узнали-то только в канун Рождества.

Но не всегда, не во всем и не у всякого отдаление гасит навовсе работу разума. Освобожденная от пут суедневной властительной суеты мысль воспаряет порою ввысь, к горним основам бытия, и тогда, издалека, все видится и крупнее и четче, и за кипением преходящих страстей возможет разглядеть мыслящий ум главное, великое и нетленное, к коему даже и величайшие из событий земных относятся всего лишь как узорная бахрома к ризам святительским или как пена к пучине бушующих вод.

Вновь и опять валят лес на новые хлева и хоромы. Дневные труды закончены, холопы ушли, и только Стефан с Варфломеем задерживаются в лесу.

Снег сошел, но земля еще дышит холодом, и чуть солнце садится за лес, начинает пробирать дрожь. Стефан сидит на поваленном дереве сгорбясь и отложив секиру, накинув на плеча суконный охабень. Варфоломей — прямь него, кутаясь, как и брат, в сброшенный давеча во время работы зипун. Он вырос, возмужал, оброс светлою бородкой, и толкует со Стефаном уже почти как равный, хотя Стефан по-прежнему побивает его усвоенной в Ростове ученостью.

Гибель тверских князей в Орде — вот что вызвало на этот раз спор и толковню братьев. Еще днем во время работы, прерываясь для отдыха, обсуждали они: надобна ли была эта яростная, почти полувековая борьба Твери и Москвы для блага Руси Великой? Не лучше ли было без спора подчиниться сильнейшему? Или такая готовая покорность силе развращает власть, и спор городов нужен был ко благу страны? И кто сильнейший? И в чем сила? И может ли сила сочетаться с правдою, и как и когда?

Вряд ли, служи они оба на дворе княжеском, приходило бы в голову братьям обсуждать между собою все эти глубинные основы бытия!

Сейчас, оставшись с глазу на глаз со старшим братом, Варфоломей спрашивает со страстной настойчивостью у Стефана:

— Откуда зло в мире? Пусть там, наверху, это нужная борьба за вышнюю власть. Ну а зачем, скажи, Терентий Ртищ отобрал за спасибо коня у Несторки? Зачем, ради какой злобы, Матрену Сухую заколдовали на свадьбе, и с тех пор баба сохнет день ото дня и чад приносит все мертвых? Когда Ляпун Ерш убил Тишу Слизня, знали об этом все и молчали, потому что боялись дурного глаза Ляпуна, а отнюдь не своей совести! А когда у Ондреянихи летось сгорел двор, то никто ей не восхотел помочь в беде, кроме нашего бати да Онисима, и только потому, что Ондреяниху облыжно считают колдовкой!

В конце концов, не так и важно теперь, кто был прав и кто виноват в княжеском споре, а вот откудова зло в мире? Откуда само зло! Вечная рознь братьев-князей, убийства, неправый суд, жестокость, бедность, леность, зависть, болезни и, паче всего, равнодушие людское! Что должен думать и творить верующий? Как все это согласить с благостью Божией? Ведь Господь злого не творит! Не должен творить!

— Чти Библию! — передергивая плечами и хмурясь, устало отвечает Стефан. — Всякий иудей скажет тебе, что Господь и награждает и карает за несоблюдение заповедей своих. Коли ты беден, нищ, наг и болен, и не успешен в делах, значит — наказан Господом! Коли богат, славен, успешлив, значит — взыскан и любим Богом!

Варфоломей очень ясно представляет себе этого иудея, в его

черно-белом полосатом талесе, усевшимся на омшелый пень, будто на камень в пустыне Синайской.)

— Это неправда! — горячится Варфоломей, — этого не говорил Христос! (Иудей, измысленный им из пятен лишаев и бород белого мха на суковатом дереве, в этот миг пренебрежительно отворачивает лицо и, выпятив нижнюю челюсть, произносит надменно:

— Что ваш Христос!)

— Так я-то и молвил им! — взрывается Стефан. — Еще тамо! В Ростове! В училище! Бог Израиля и Бог Евангелия — разные боги!

Один жесток и темен — «темное облако и смерч огненный», другой светел и милостив, и сам есть свет предвечный!

Один дал закон, другой — благодать.

Один карает жезлом железным, верным велит обрезание и убийство побежденных; другой запрещает то и другое, и зовет к милосердию!

Первый предписывает месть, второй — прощение кающегося. .

Один пасет избранный народ, народ Израиля, обещая ему в награду всю землю; другой принимает всех равно в лоно свое, обещая верным не земные блага, а небо — жизнь вечную! И милостив он настолько, что сына единородного послал на крестную муку во спасение людское! «Не судить мирови, но да спасется им мир». Вот так!

И фарисеям, книжникам, рек Иисус: «Отец ваш дьявол, и вы похоти отца вашего хощете творити... Несть истины в нем... Яко лжец есть и отец лжи!»

О том же и митрополит Илларион глаголет в «Слове о законе и благодати»...

И более того скажу! Аврааму и Моисею наверняка являлись разные боги! И ежели хочешь, Иегова — это огненный демон или даже сам дьявол, соблазнивший целый народ! Народ, некогда избранный Богом, но позже соблазненный золотым тельцом и приявший волю Ялдаваофа, отца бездны!

Думал ты о ветхозаветных заповедях? К чему речено, что прежде рождения человека предначертано всякое деяние его и даже каждый волос его сосчитан Господом? Что защищает закон? Мертвую косноту зримого бытия, и только! Спорь, кричи, воинствуй! Но ежели до рождения предуказаны все дела твои, то нет ни греха, ни воздаяния, ни праведника, ни праведности, есть лишь избранные, — но тому ли учил Христос?

Как создан мир? Помнишь, я тебе, еще младеню сущу, баял о том? Да и создан ли он?!

— Да, да! Создан! И Бог, создав мир, опочил от дел своих! — кричит, голосом Стефана, призрачный иудей в полосатом талесе. — И промыслом Божьим предначертано сущее прежде всех век!

— Нет! — кричит Стефан в ответ иудею, — Бог творил мир «прежде век», и потому творит его вечно! Несвершенно творение! И мы сами творцы, и Бог живой и творящий, и можно, и должно ждать чуда, и премен, и вмешательства Божия, и милости горней! Отсюдова и приход Христа! Разве вочеловеченье сына Божия не есть акт творчества, изменяющий мир? А второе пришествие? Когда Христос в силе и славе придет карать злых, и мертвые восстанут из гробов? Как же можно помыслить свершенным этот земной, тварный мир?!

Чему учил нас Христос? Не вдобавок к прежним десяти заповедям, а вместо них дал он свои две, всего две! Заповеди Нового Завета! «Возлюби Господа паче всего на свете и ближнего своего — яко самого себя!»

(Призрачный иудей совсем расплылся, стал почти невидим, в узорах косматых мхов, облепивших поверженный древесный ствол.)

— Не сам ли Спаситель, — кричал Стефан, — ниспровергал мертвую косноту обрядов иудейских, веля совершать моления втайне, в

келье своей? Не он ли с бичом в руках изгонял торгующих из храма? Не требовал ли он, как в притче о талантах, ото всякого деяния прежде всего? Не воскрешал ли он в день субботний? Не простил ли грешницу? Не проклял ли древо неплодоносное, не дающее смокв? Не заповедал ли он каждым поступком своим, что несть правила непреложного, но есть свыше данное божественное откровение, и закон Господней любви? И не он ли, не сам ли Христос указал на свободу воли, данную человеку отцом небесным?

Да! Мы свободны в поступках своих, и с каждого спросится по делам его!

А они мне в ответ: «Ересь Маркионова»... Мол, грешно даже мыслить так о Ветхом завете... Грешно мыслить! А совсем не мыслить разве не грешнее во сто крат? Да, «покаяние» — это передумыванье! Думать и передумывать учил нас Господь!

Стефан умолк, и Варфоломей в сгущающейся тьме холодного молчаливого леса (солнечные лучи уже ушли, уже начинала тускнеть и бледнеть палевая полоса заката, и мрак незримо подступал, окутывая стволы) вновь увидел полосатый талес и надменно выпяченную челюсть бухарского иудея, что с презрением взирал на христиан, не могущих согласить себя друг с другом и с Богом своим...

— Ересь Маркионова... — задумчиво повторяет Варфоломей.

— Да! — отзывается Стефан, — Маркионова ересь... Был такой, единый из гностиков, Маркион, отвергавший Ветхий завет... Гностики, видишь ли, не считали мир прямым творением Божиим, а манихеи персидские, те и вовсе начали утверждать, что видимый нами мир — это зло. Порождение дьявола. Беснующийся мрак! Мрак, пожравший свет, заключенный в телесном плену и ныне жаждущий освобождения. И надобно разрушать плоть, губить и рушить этот тварный мир, чтобы выйти туда, к свету... Вот, ежели хочешь, и ответ на твой вопрос! Зло в мире потому, что сам мир — зло. И убивая, насилуя, обманывая друг друга, люди сотворяют благо. Так учат богумилы болгарские, близки к ним и павликиане, отвергающие святые таинства...

(Богумил должен быть одет в долгой болгарской сряде, похожей на русскую, а взгляд его, наверно, пустой и страшный — нельзя же ненавидеть мир!)

— Мир не может быть злым, раз он создан Господом! — отвечает Варфоломей болгарину, покачивая головой. — Погляди! Мир прекрасен и светел! Зачем же иначе Христос рождался здесь, в этом мире, и в человеческом обличии?

— Гностики утверждали, что тело Христа было эфирным, призрачным, и никаких мук он испытывать не мог, — возражает богумил.

— Неправда! Скажи, Стефан, ведь это даже не могло быть правдою, да? Если бы он не чувствовал, то это была бы та самая «лжа», порождение дьявола! «Нас ради человек... Страдавша и погребенна»... — сказано в символе веры! Не будь муки крестной, не было бы и самого Христа!

— И незачем ему было бы являться в мир! — подсказывает Стефан угрюмо.

Оба надолго замолкают, слушая засыпающий лес и следя, как ночная мгла беззвучно и легко выползает из чащоб, окутывая своею незримою фатою вершины дерев.

— Хочешь! — вновь нарушает молчание Стефан, пожимая плечами. — Прими учение латинян, что дьявол — это падший ангел Господень, за гордыню низринутый с небес. И что он тоже служит перед престолом Господа. Слыхал, что объяснял лонись проезжий фрязин? У них когда отлучают от церкви — дак клятвою передают человека в лапы дьявола! У них все стройно, у латинян. С рук на руки, так сказать...

Варфоломею легко представить себе ученого фрязина. Через Ра-

донеж постоянно проезжают купеческие караваны, и тогда все подростки выскакивают за ворота, поглазеть на чужеземную справу, на бритые или окладистые, крашеные хною бороды, сборчатые кафтаны, халаты, тюрбаны, береты, шляпы с перьями, на чудные одежды немецких, датских, персидских, бухарских, татарских гостей...

Ученый фрязин в плаще и плоской, точно блин, широкой шапке, в коротких исподних портах садится, откинув плечи и опершись о рогатый сук, точно в прямое высокое кресло с узорной спинкою, и тоже бормочет что-то свое в сгущающейся темноте.

— Союз Господа с дьяволом я принять не могу! — громко возражает Варфоломей.

— А по учению блаженного Августина, — подсказывает Стефан, кивая с кривою усмешкой на неподвижного фрязина, — каждому человеку заранее начертано Богом: погибнуть или спастись. Заранее! Еще до рождения на свет! Он тоже был манихеем в молодости, Августин блаженный! Есть темные души, уготованные гибели, и есть те, кого Господь прежде век назначил ко спасению. И переменить своей судьбины не можно никому! (Фрязин важно склонил голову в своем смешном широком колпаке) — Вот почему они и сошлись. — Стефан, не оборачиваясь, кивнул в сторону призрачных иудея с фрязином. — На предопределении!

Пелагий возражал Августину, так Пелагия прокляли! Никто не хотел в тогдашнем Риме исправлять самого себя по заповедям Христовым! Всех устраивала судьба, заданная до рождения, да еще к ней купленные у Папы индульгенции!

Думаешь, почему мы с католиками теперь не в одно?!. Из-за символа веры только? Из-за «filioque» пресловутого? Как бы не так! Это древний спор, с самых ветхозаветных времен! Спор о предопределении! Спор о заповедях Христовых! О свободе воли и о том, Бог или сам человек должен отвечивать за злые поступки свои! Наша православная церковь каждому дает надежду спасения, но и каждого предупреждает: не споткнись!

Варфоломей молча склоняет голову. Об этом они с братом толковали досыти, и не раз. И пусть ученый фрязин, окутанный темнотою ночи, изрекает свои непреложные истины, пусть ропщет иудей и отрешенно молчит мертвоглазый болгарин, для коего весь мир — греховное порождение сатаны. Бог добр, премудр, вездесущ и всесилен!

— И все-таки ты не ответил мне, Стефан, откуда же зло в мире?

— Есть и еще одно учение, — отвечает голос Стефана из темноты, — что зла в мире и нету совсем. Попросту мы не понимаем всего, предначертанного Господом, и за зло принимаем необходимое в жизни, то, что ведет к далекому благу! «Горек корень болезни лечит». Вот как, словно в споре Москвы и Твери о княжении великом. Может, убийства Александра с Федором и тут ко благу грядущего объединения Руси?

— «Отыди от меня сатана!» — возражает Варфоломей предательскому темному голосу, — ты ли это говоришь, Стефан? Зло есть зло, и всякое зло, раньше или позже, потребует искупления! И в молитве Исусовой речено: «Избави нас от лукавого!» Выходит, однако, дьявол постоянно разрушает всемогущество Божие? Как это может быть, Стефан? Я должен знать, с чем мне иметь дело в мире и против чего бороться!

Правда ли, что, не явись Христос на землю, люди уже давно погибли бы от козней дьявольских, злобы и ненависти друг ко другу?

И почему не погибнет сам дьявол, творец и источник зла, ежели он есть? Как помирить необходимость зла с всемогуществом Божьим?!

— А как помирить свободу воли с вмешательством Божиим в дела земные?! — отвечает Стефан вопросом на вопрос. — Думаешь, так уж глуп был Августин со своим предопределением? Не-е-ет, не глуп! Надо

допустить одно из двух, или свободу воли, или... всемогущество Божие!

— Стефан, ты смеешь противопоставить Творца творению своему?

— Пойми! Создав пространство вне себя, Бог сам себя и ограничил, ибо находится вне, снаружи. Следовательно, Он не вездесущ.

— Стефан, я чую в мире присутствие Божие везде, и всегда и всюду!

— Чуешь «присутствие в мире», — вот ты сам и ответил себе, Варфоломей!

Но дальше. Создав необратимое время, Господь не может уже содеять бывшего небывшим. Следовательно, Он не всемогущ.

— Ты искушаешь меня, Стефан!

— Создав души, наделенные свободной волей, Он не может, не должен мочь предугадывать их поступки! Следовательно, Он и не всеведущ!

— Стефан, что же ты тогда оставляешь от величия Божия?!

— Любовь! — звучит голос Стефана из темноты, как последний призыв, последняя надежда к спасению.

— Любовь! — яростно повторяет Стефан. — Это так, именно потому, что Он добр! Ибо ежели бы Он был вездесущ, то Он был бы и в зле, и в грехе, а этого нет!

— Этого нет... — эхом откликается Варфоломей, начиная соглашаться с братом.

— Это так, потому что Он милостив! — возвышает голос Стефан,— ибо если бы Он был всемогущ и не исправил бы зла мира, то это было бы не сострадание, а лицемерие!

— Это так, — кричит Стефан, — потому что если бы Он был всеведущ, то Он знал бы и злые наши помыслы, и люди не могли бы поступить иначе, дабы не нарушить воли Его! Понимаешь?! Но тогда за все преступления должен был бы отвечать Господь, а не люди, которые всего лишь исполнители воли Творца!

Бог добр, следовательно, не повинен в зле мира сего, а источник зла — сатана! — Стефан, чуть видный в темноте, отирает лицо рукавом. Он весь в холодной испарине.

— Значит, — медленно спрашивает Варфоломей, — ты признаешь силу сатаны, Стефан?!

— Да!

(«Да!» — эхом повторяет болгарин-богумил. «Да!» — гортанно вторит ему иудей. — «Нет!» — произносит ученый фрязин: — «Сатана подчинен Господу!»)

— Да! — продолжает Стефан. — Но ежели сатана сотворен Богом, то вновь и опять вина за его деяния — на Господе.

— Этого не должно быть! — твердо возражает Варфоломей призрачным собеседникам.

— Да, этого и не может быть! — подтверждает Стефан. — И, значит, сатана не тварь, а порождение небытия, и сам — небытие, нежить! Я это понял давно, тогда еще... «Эйнсоф» — тайное имя бога каббалы, он же и есть дьявол, или сатана. Но «эйнсоф» означает пустоту, бездну, ничто!

— Сатана действует! — возражает Варфоломей. — Может ли несущее сущее быть бытийным, действенным? Я не спорю с тобою, Стефан, я просто спрашиваю: как это можно понять?

— Да, сатана действует. И, значит, небытие может быть действенным, бытийным... Погоди! Но не само по себе! Небытие незримо влияет на нашу свободную волю, как... ну, как пропасть, как боязнь высоты, что ли! Использует необратимость времени (страх смерти!), сочится через разрывы в тварном пространстве; короче, находит пути именно там, где Господь добровольно ограничил себя.

Те люди, животные или демоны, кто свободною волей своею принял закон сатаны, становятся нежитью и теряют высшее благо — смер-

ти и воскресения на Страшном суде. Ибо тот, кто не живет, не может ни умереть, ни воскреснуть. Смерть сама по себе не зло, ибо за нею идет новая жизнь. Зло и ужас — вечное жаждание, вечная неудовлетворенность, без надежды на конец. Это и есть царство сатаны!

— Но мог же Господь предвидеть... заполнить... или и вовсе уничтожить пустоту?

— Да, а как ты без пустоты представишь движение?

Он и уничтожит. На Страшном суде. И тогда наступит полный покой. Конец времени.

— Значит, пока жива земля, всегда будет зло, и всегда, непрестанно и неустанно надобно побарывать лукавого?

— Всегда!

— Любовью и верой?

— Правдою. Сила зла только во лжи! — восклицает Стефан со страстною силой.— Ложью можно преодолеть ход времени — не того, Господом данного прежде всяких век, а времени в нас, в нашем разумении! Ложью можно доказать, что и прошлое было не таким, каким оно сохранилось в памяти и хартиях летописцев! Оболгать святых и опозорить мертвых героев; внушить, что те, кто отдавал душу за други своя, искал в жизни лишь низкой корысти... Даже доказать, что бывшего как бы и не было совсем!

Ложью легко обратить свободную волю в несвободную, подчиненную маре, мечтам, утехам плоти и прочим прелестям змиевым... Да попросту внушить смертному, что все совершается помимо воли его, по непреложным законам предопределения!

Ложь созиждит великое малым, а малое содеет великим; ложь сотворяет бывшее небывшим, а небывшее награждает призрачным бытием на пагубу всему живущему!

Знай, что наивысший святой сатаны — Иуда, предавший учителя! Тот, кто следует примеру Иуды, свободен даже и от греха, ибо всё, что он творит, надо звать благом. Эти люди пребывают по ту сторону добра и зла. Им позволено всё, кроме правдивости и милосердия! И они долго живут... Здесь, на земле. У них ведь нет вечной жизни!

— Меня сейчас посетила ужасная мысль, Стефан! Не мнишь ли ты, что наш князь Иван Данилыч тоже...

— Ты хочешь, чтобы я здесь, сидючи в этом лесу, приговорил к смерти или жизни вечной великого князя московского? — невесело усмехнулся Стефан.— Нет, Олфоромей, не мыслю! — подумав, ответил он.— Мнится мне, князь Иван строго верует в Господа и, творя зло, ведает, что творит. Надеюсь на то. Верую!

— Веришь ли ты тогда, что покаянием можно снять с души любое бремя и избегнуть возмездия за злые дела на Страшном суде?

— Об этом знает только Господь! Не в воле смертных подменять собою высший суд и выносить решения прежде Господа... В сём, брате, еще одно наше расхождение с латынскою ересью!

И запомни, Олфоромей, дьявол всегда упрощает! Он сводит духовное к тварному (мол, тварное важнее, первее духовного, да и вовсе оно одно существует на свете), сложное к простому, живое к мертвому, мертвое к косному, косное раздробляет в незримые частицы, и те исчезают в «эйнсофе», в бездне, в пустоте небытия!

Только силою пречестного креста спасена земля от уничтожения злом и ныне готовится к встрече Параклета, утешителя, который идет к нам сквозь пространство, время и злобность душ людских, идет и вечно приходит, и вечно с нами, и все же мы чаем его повседневно и зовем в молитвах своих! Это тайна, не открытая нашему скудному разуму.

Стефан кончил, как отрубил. Наступила звенящая тишина.

— Стефан, ежели ты прав,— медленно отвечает Варфоломей,— и я правильно понял тебя, то борьба со злом заключена в вечном уси-

лии естества, в вечном духовном творчестве, ежели хочешь, да и в вечном борении с собою? И еще все-таки в любви, в сострадании ко всему живущему! Иначе, без любви, я не могу помыслить себе духовного подвига. И еще, наверно, в неложной памяти о прошлом... Так я понимаю твои слова о правде и лжи?

Но ты так и не сказал мне твердо, брат мой! Зло первее всего от нашей свободной воли или от сатаны? Должно ли прежде укреплять себя в Господе? Или, прежде всего, молитвами отгонять нечистого?

— Ты хочешь спросить, прав ли, что собираешься в монастырь?

— Я не об этом хочу спросить тебя, Стефан! — с упреком перебивает Варфоломей.— Путь мой давно означен! Мне вот здесь, теперь, сидя в этом лесу и на этом древе, перед ликом всего того срама, что ныне творится на русской земле, надо понять, виновны ли прежде всего люди, сами русичи, в зле мира? И не только теперь, а и через века и века, на кого ляжет вина в бедствиях родимой земли? Ведь ежели зло, это действенное «ничто», как ты говоришь, то только от смертного зависит не дать ему воли!

Стефан медлит. И лес молчит, и тоже ждет, что скажет старший на заданный младшим вечный и роковой вопрос.

— Да, виновны! — глухо отвечает, наконец, Стефан.— Ежели ты так требуешь ответа... Но, Господи! — роняет он с болью, закрывая лицо руками.— Пощади соплеменников моих! Так хочется найти причину зла вовне самого себя!

В этот-то миг громко хрустнула ветка под чужою ногою. Оба брата враз и безотчетно вздрогнули. Незнакомец, фрязин по виду,— верно, из купеческого каравана, давеча заночевавшего в городке, легко перешагнул поваленное дерево, выступив сквозь призрачную фигуру иудея, и уселся на коряге, напротив них, прямо на колена растаявшего богумила, усмешливо и быстро оглядев того и другого спорящих русичей.

Непрошеный гость был высок, худ, с длинным большелобым лицом и слегка козлиною, похотною складкою рта. Темную, поблескивающую одежду незнакомца нельзя было рассмотреть в сумерках.

— Достойные молодые люди! — воскликнул он высоким скрипучим голосом.— Вы так шумите, что я, неволею, выслушал все ваши ученые рассуждения и решил присоединиться к беседе. Вы! И вы также! — он слегка, не вставая, поклонился братьям, каждому в особину,— говорили тут о-о-очень много любопытного! Но, увы! Должен и огорчить, и успокоить вас обоих! Дьявола вовсе нет!

(Только после подумалось Варфоломею, почему ни он, ни Стефан не вопросили незнакомца: кто он и откуда и почему так хорошо понимает русскую молвь, и как очутился в лесу, в отдалении от Радонежа? Теперь же оба невольно и безвольно заслушались диковинного гостя своего.)

— Я попытаюсь примирить ваши недоумения! — начал незнакомец.— Вам, конечно, неведомо учение божественного Эригены? Да, да! Британского мниха,— кстати, соплеменника любезного вашим сердцам Пелагия, — изложенное им в сочинении: «De divisione Nature» — «О разделении природы». Неизвестно? Так вот, Эригена утверждает, как и вы, молодой человек, что Бог создал мир из самого себя. Но Бог слишком огромен! Это сама вселенная! Божественный мрак! Он, если хотите, кхе-кхе — потеет творением своим! И, конечно, вовсе не подозревает о созданном им мире! Возможно даже, будучи бесконечен, не имея ни начала, ни конца, он не ведает и о своем собственном существовании!

Люди же, сотворенные Богом, и сами творят из разума своего виденья, мысли и — образы! (Гость повел руками округло, и Варфоломей подивился тому, какие у незнакомца долгие персты, и какие длинные ногти: верно, не работал ни разу!) — Вы сами, молодые люди, только что весьма приятно сочиняли, или создавали! — поправился он,— мыс-

ленный мир. Из тварного и временного производили духовное и вечное! Ибо идеи, «образы вещей», как говорил великий Платон, вечны! Да, да! Идеи, они суть ваши создания! А весь окружающий нас мир, увы, ничего не творит, а лишь ждет приложения сил человека! Каковое приложение сил и порождает иногда, гм-гм! некоторые неудобства, или даже жестокости, или то самое «зло», причина которого так заинтересовала вашего братца, кажется, если не ошибаюсь? И вы, достойные молодые люди, я вижу, не тратили тут времени даром, а создавали... Гм! Ну, не создавали, а рубили, рушили, то есть творчески изменяли окружающий вас мир,— «сотворенное и нетворящее», как говорит Эригена!

Вопросите себя: зло ли вы приносили миру или пользу? Быть может, лес станет еще гуще расти на этом месте сто лет спустя? А, быть может, тут образуется с годами зловонное болото? Во всяком случае, лес вам необходим, а значит, была причина, из которой проистекает следствие, а из него новая причина и так далее. Все обусловлено в мире, молодые люди! Всё имеет необходимую причину свою! Зачем же вмешивать кого-то, Бога или Дьявола, или возлагать ответственность на самого человека за то, чему причиною неизбежные и вечные законы бытия? Не надо казнить себя и отыскивать какое-то действенное зло в мировых событиях, молодые люди! Не надо! Лучшее лекарство от ваших бед — полное спокойствие совести! Произнесите только: «сие от меня не зависит»,— и вы почуете сразу, как вам приятно и просто станет жить!

И последнее! — незнакомец наклонился к ним, и понизил голос до шепота: — Последнее, что называет удивительный Эригена в ряду четырех стихий, образующих мир, это души покойников, «несотворенное и нетворящее», по вашим словам «нежить», а точнее мертвецы, уходящие назад, в божественный мрак, и особенно любезные Господу! Ибо нет ни рая, ни ада, ничего нет, и нет никакого Дьявола в мире, ибо Бог, как вы сами недавно изволили заметить, злого не творит! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! — Раскатился он довольным хохотом, окончив свою речь, и видя смятенное недоумение обоих братьев. И тотчас, словно большая птица с криком и тяжелым хлопаньем крыльев, ломая ветви, пронеслась по темному лесу и исчезла во тьме. Только замогильный мяукающий крик филина жалобно прозвучал в отдалении.

— Стефан! — воскликнул Варфоломей, первым пришедши в себя. — Что это? Кто это был, Стефан? — требовательно вопросил он.

Но мрачен и дик был взгляд Стефана, и ничего не ответил он на братний призыв. Варфоломея словно облило всего загробным холодом. Вздрогнув, он прошептал:

— Господи, воля твоя!

Рука, которую он поднял, чтобы перекреститься, словно налилась свинцом, и ему с трудом удалось сотворить крестное знамение.

Мрак уже вовсе сгустился. И деревья стояли тяжелые и сумрачные, сурово и недобро остолпляя вечных губителей своих.

— Стефан! — позвал Варфоломей в темноту.— Почему ты не сказал ему сразу: «Отойди от меня, сатана»?!

Глава 9

Так и не удалось Кириллу на новом месте поправить свои дела господарские. Семья все больше опрощалась. Да и Тормосовы, да и Юрий, сын протопопов, и сам Онисим, некогда думный боярин ростовский, все они стали тут, в Радонеже, простыми вотчинниками, рядовыми держателями земли. Все прочее зависело от рабочих рук, деловой сметки, въедливости в труде. Этими добродетелями, слава Господу, сыновья Кирилловы обижены не были. Трудились все, ежегодно подымали новые росчисти, и по труду в доме есть и достаток, и хлебный запас.

Чередою проходят Рождество, Святки, Масленая, Пасха, Троица с качелями и хороводами, пахота, сев, покос, жатва хлебов. А годы идут, и та самая протопопова внучка, Нюша, что с озорными смешинками в глазах почасту забегает в Кириллов терем и теребит Варфоломея, то упрашивая его что-нибудь сделать ей, то выманивая на улицу, начинает чиниться, не бегает вприпрыжку уже, а плавно выступает, трепетно опуская ресницы, и хорошеет — день ото дня.

Стефан начинает вдруг невесть с чего хмурить чело при Нюшиных приходах, безотчетно строжеть, а затем — тяжко и молча гневать на себя за что-то, непонятное Варфоломею. Старшие словно и не замечают ничего. Не замечает, не понимает ничего и Варфоломей. Он так сроднился, так сжился с их общим, как думалось ему, ладным согласием: дружбою с Нюшей и общим со Стефаном решением о пустынножительстве, что ничто мирское, казалось ему, уже не должно бы было коснуться ни его, ни Нюши, ни тем паче брата Стефана. Прозрение пришло к нему нежданно, в один летний вечер, и потрясло Варфоломея до самой глубины естества, до тяжкого, неисходного отчаяния.

Он возвращался с корзиной из лесу. Низилось солнце. Уже багряные, схожие со старинным золотом столбы вечерних лучей, пробившись понизу сквозь мохнатый заплот могучих елей, легли на черничник и травы. Пламенно-темные стояли на закате стволы дерев. Варфоломей невольно замедлил шаги, следя тот миг, когда алые светы, багрец и черлень угаснут и сиреневый холод, легчая, обоймет небеса и наполнит туманом кусты. На опушке, прямь заката, стояли двое, и Варфоломей не сразу узнал Стефана с Нюшею, а признав, остоялся растерянно и застыл.

Стефан стоял высокий, тонкий в закатном огне, непривычно-неуверенный, круто склонив чело и судорожно комкая пальцами кожаные завязки плетеного пояса, а Нюша — в вечной позе всех любимых, чуть наклонившая голову, покорная и загадочно-недоступная, с цветком в рассеянных и чутких пальцах, слегка отклонив задумчивое лицо от закатных лучей, вся уже словно овеянная бархатною лиловою голубизною наступающей ночи.

Варфоломей глядел, выпустив корзину из рук, и не шевелился. В нем не пробудилось ревности (это чувство было еще и чуждо ему), но зато поднялась глубокая обида на брата, что предал то высокое, о коем говорил он сам и о чем Варфоломей мыслит теперь самой глубиною души. Обида и горечь, горечь одиночества захлестнули его, словно волною. Он отступил, еще отступил, стараясь не хрустнуть веткою, не выдать ничем своего невольного присутствия тем двоим, на закате. Отступил еще и еще, и, поворотясь, пустился бежать стремглав прочь, в лесную глухомань, с ослепшими от слез глазами, не разбирая уже ни дороги, ни преград на пути...

Варфоломей бежал по лесу, и ветки хлестали его по лицу. Бежал отчаянно, надеясь хотя устать, но сильное сердце не давало одышливости, и чуть только он останавливался, застывал, внимая красному гаснущему пламени заката меж еловых стволов, как тотчас перед его мысленным взором вставали те двое: брат с опущенной долу головою, и Нюша в задумчивом ожидании, с забытым цветком в руке... И в нем тотчас подымалось волною отчаяние на измену брата и Нюши, и он опять пускался бежать через корни, коряги, кочки и водомоины, спотыкаясь, падая, обрывая рубаху и лицо о колючие ветви, сбивая пышные, с болотным запахом, папоротники, и с надрывным отчаянием чуял, что беда бежит вместе с ним, не отступая ни на шаг.

Смеркалось. Уже угасли последние потоки расплавленного дневного светила, уже мохнатые руки туманов поднялись из болот, и глухо вдалеке ухнул филин, а он все бежал и шел, шатаясь от горя и усталости, и снова бежал, неведомо куда и зачем.

Наконец сами ноги привели его на высоту, на сухую горушку, и

тут, упав в жесткий брусничник и белый мох, он затрясся, исходя звучными в ночной тишине одинокими рыданиями. Неведомо почему, безотчетно, русич даже и так вот, чтобы упасть и завыть от горя, выберет место высокое, «красное» место из тех, которые исстари зовут «ярами», в честь древнего славянского бога-солнца Ярилы, выберет высоту и выйдет на высоту. Не память ли то о гористой прародине далеких пращуров, с которой, разойдясь широким разливом по равнинам Руси, все равно выбирали русичи для поклонения солнцу (и выбирали, и насыпали сами!) высокие крутые горушки, где и водили хороводы в Ярилину честь? И позже хороводы водили всегда на «горках», и любовь к высоте осталась, хотя и в том, что церкви Божии ставили на местах высоких, красных, на холмах и крутоярах великих русских рек. Да и селились на высоте, предпочитая ходить вниз к реке за водою, лишь бы оку была открыта неоглядная ширь земли и небес.

На таком вот пригорке, с коего, верно, открывалась днем замкнутая чередою лесов уединенная долина, а теперь лишь сквозистая тьма облегала окрест, и лежал Варфоломей, затихая в рыданиях, лежал и думал, успокаиваясь понемногу и начиная смутно понимать, что потеряно далеко не все, что измена брата еще ничего не изменила в его, Варфоломеевой, судьбе, и от мыслей о Стефане и Нюше он, невестимо, обратился к тому, чей великий пример всегда и во всем предстоит мысленным очам христианина.

Исус ведь был, хотя и сын Божий, в земном бытии своем такой же, как и все, человек. И как человек сомневался в назначении своем, страдал, мучился (наверно, как и я сейчас!). И молил даже: «да минет меня чаша сия!» — в последнюю ночь, оброшенный (ученики и те заснули, несмотря на просьбу учителя!). И муку принял один... Словно знак, завещанный грядущему! Что же, значит, и всякий смертный может повторить путь Спасителя от начала и до крестного конца? Может и — значит — должен? И вот зачем и почему Христос и вочеловечился, родился, страдал, молил и погиб на кресте! И поэтому можно! — Он даже приподнял голову, ослепленный вспыхнувшей мыслью, безотчетно вперяясь в окрестный мрак.— Можно и должно! Должно быть равным Христу, это не гордыня, а требование Божие! Быть равным Господу! В трудах, в скорбях (не в чудесах, конечно, то уже была бы гордыня!), в повторении — вечном, как таинство святого причастия, в вечном повторении крестного пути!

Теперь он увидал и широту ночного окоема, и игольчатую бахрому лесов на закатной, охристо-желтой полосе, поразился тому, как близко увиденное сейчас к тому, что не по-раз снилось ему ночами. Вот, в такой же лесной пустыне, на таком же холме! И пусть Стефан... Только поможет ему... Пусть он будет для него, Варфоломея, словно Иоанн Предтеча. А Нюшу он будет любить. И беречь, раз ее любит Стефан! Она ведь не виновата ни в чем!

Снова прокричало в отдалении. Сизые руки туманов тянулись уже к вершинам елей, и бледно-желтое мертвенное сияние осеребрило вершины. Всходила луна.

Глава 10

До самой свадьбы Стефана Варфоломей виделся с Нюшею с глазу на глаз всего один раз. На людях она то гордо проминовывала его глазами, то хохотала, начинала дурачиться, словно девочка... То вдруг замирала, испуганно глядя в пустоту.

И уже не становилось тайною, что дело идет к свадьбе, и уже пересылались родичи,— только бы уже стало и помолвку объявить в церкви, и заваривать пиво...

Варфоломей шел по заулку над речкой с удочкой в руках и связкой ивовых прутьев, и тут нежданно повстречал Нюшу. Оба стали вкопанные. Словно и не видели доселева один другого, словно сегодняшним еще утром не пробегала Нюша мимо него по-за церковью, даже не поглядев на Варфоломея, не выделив его из негустой толпы парней... А тут, как нарочно, и вокруг никого не случилось, и — не пройти, не пробежать, гордо задрав нос, и дышится уже неровно и жарко, как после игры в горелки... Что содеять и что сказать? Как бы лучше было им и вовсе никогда не встречаться!

Она дернулась, хотела пройти — и остоялась, совсем рядом — вот, только бы за руки взять. Варфоломей, Стефан — оба они сейчас сплелись, перемешались, перепутались у нее в голове.

— Здравствуй! — тихо промолвил он, лишь бы что-то сказать, и чуя, как у него сохнет во рту и ноги наливает мутная слабость.

— Ты...— начала было Нюша, подняла на Варфоломея ждущие глаза, потупилась снова и вновь подняла (да не молчи ты, не молчи, когда кричать впору!). Он же — только смотрел на нее, словно бы издалека-издалёка, с дальнего берега.

— Ты...— спросила Нюша с отчаяньем в голосе.— Ты... правда... во мнихи пойдешь? И не женисси никогда?

— Да.— И торопливо, чтобы она не сказала чего лишнего, договорил: — Я все знаю, Нюша. И желаю тебе счастья.

— Да? А я... я...— она вдруг зарыдала, некрасиво уродуя губы,— а я... я... я... я боюсь! — наконец выговорила она и вдруг, сорвавшись с места, стрелой побежала с плачем по заулку.

Варфоломей чуть было не кинулся вслед. Но девушка, словно угадавши его движение, зло и резко отмахнула рукой, и он остался на месте, словно пришитый, лишь глазами следя за удаляющейся фигуркой в хлещущем по ногам долгом сарафане... Верно, так и надо! Так и должно было стать. И Стефан, наверное, прав. И Нюша тоже права. У него, у Варфоломея, своя стезя, и идти по ней он должен только один. Как древние старцы египетские! И не должна Нюша становиться схимницей. Какие у нее грехи? Росла, играла в горелки, хороводы водила по весне, вместе с подружками гадала о женихах...

Он закрывает глаза и вновь видит Нюшу. Не ту, что убежала сейчас, вся в слезах, а другую, далекую, прежнюю.

Жаркое лето, они сидят вдвоем на обрыве над рекою. Сухо шелестит на склоне трава. Нюша, привалясь к его плечу, заплетает венок.

— Мне хорошо с тобой! — незаботно произносит она... Хорошо... И слова повисают, словно трепещущие синие стрекозы над бегучей водой... Мне тоже хорошо... Сказал, или только подумал тогда? Прошло, миновало...

Еще одно воспоминание: он играет на жалейке. Нюша слушает. Они вдвоем пасут овец. Когда это было? Давно уже! Но он помнит и место то, за деревней, на той стороне, и большую бабочку с глазчатым узором на крыльях, что тихо вынырнула из леса и, ослепленная солнцем, вцепилась в Нюшин платок, да так и застыла, расправив крылья, дорогим небывалым украшением.

— Убей! — сказала Нюша, вздрогнув.

— Нельзя. Она живая,— возразил Варфоломей.— Погляди, как красиво! Лучше всяких камней самоцветных.— Он осторожно снял платок и показал Нюше недвижную, распростертую бабочку. И они долго, голова к голове, разглядывали лесное чудо... Когда это было? Туман.— «Мне было очень хорошо с тобой!» — шепчет Варфоломей в пустоту...

А в другой раз... Она попросила его рассказать ей про Марию Египетскую. Варфоломей очень любил этот рассказ и очень живо представлял себе все: и жару, и сухие камни пустыни, и тень человека, убегающую от путника все дальше и дальше в пески... И будто сам слышал звук ее ломкого тоненького голоса, звук речи отшельницы, отвыкшей от людей, почерневшей и иссохшей, словно живые мощи, с долгими

седыми волосами, выгоревшими на солнце, как кость. И эти ее первые слова, о том, что она женщина и стесняется своей наготы. А потом строгий рассказ о греховной молодости, с юности, с двенадцати лет бескорыстное служение только одной плотской любви, а в двадцать восемь — обращение, и столь же безоглядный, сразу, безо всего, уход в пустыню, и далее — сорок лет одиночества в жаре и холоде песков, сорок лет ни одного лица человечьего; и сперва — грешные мысли по ночам, а потом — всё легче и легче... Тело иссохло, одежда, какая была, истлела и свалилась с плеч. Сорок лет безоглядной любви к Господу и пречестной Матери его.

— Ты погнушаешься мною, я такая грешница! — сказала, а когда начала молиться, на целую пядь вознеслась от земли...

Нюша в который уже раз слушала это житие в передаче Варфоломея и молчала, и клонила голову, а потом вопросила вдруг:

— А у тебя какие грехи, зачем ты идешь в монахи?

— Зачем? Молить Господа о спасении!

— Кого?

— Всех. Всех людей. Русичей, ближних своих! — ответилось легко, так бы ни Стефану, ни даже себе самому не сказал в иную пору... И вот Нюша уходит. Ушла. И можно открыть глаза и долго глядеть в пустой заулок вдоль серых от дождей и непогод жердевых изгород, обросших лопухами, чертополохом и кашкой...

Свадьбу старшего сына Стефана с Анною, внучкой протопоповой, Кирилл с Марией решили отпраздновать шумно. Пекли и стряпали сразу на полгородка. Пусть не было питий и блюд иноземных, зато своих наготовили вволю. Кулебяки и расстегаи, целые полтеи дичины и баранины, копченые окорока поросячьи и медвежьи, птица и дичь, пироги, пряженцы, загибушки и шаньги, медовые коржи, многоразличные каши и кисели, бычачий студень и разварная уха из отборных окуней и налимов, — не считая грибов, капусты, редьки, ягод лесных и лесных орехов, сваренных в меду... И хоть мисы и тарели были деревянные и глиняные, а не из серебра и ордынской глазури,— не хуже прежнего боярского получился стол! Мария, выходя в клеть, удовлетворенно озирала приготовленное изобилие, и двадцать бочонков янтарного пива, сваренного к свадьбе из отборного ржаного солода, тоже не должны были опозорить своих хозяев!

Дружками у Стефана были оба брата и младшие Тормосовы. Варфоломей, перевязанный через плечо узорным полотенцем, чуял то же, что и у всех, лихорадочное возбуждение, хоть и отказался опружить по ковшу пива, как предложил Тормосов перед тем, как ехать за невестой.

Свадебный поезд в лентах и бубенцах нарочито промчался, громыхая, по всему Радонежу из конца в конец со свистом и улюлюканьем и уж потом, лихо заворотив, сгрудился у невестина дома, под смех, крики и возгласы конных поезжан выплачивая пивом и калачами воротнюю дань загородившим въезд парням и девкам.

Варфоломей втайне все боялся увидеть Нюшу. Но в многолюдстве, шуме и гаме, среди мелькающих лиц подружек, стряпей, вывожальщиц, родственниц и просто гостей и гостий, в колеблемом свете свечей, ее было трудно и рассмотреть. Ни за невестиным столом, ни в церкви ему так и не довелось увидеть Нюшиного лица близко-поблизку. И только уже когда молодых привезли в дом и сват ржаными пирогами, предварительно скусив кончики (не выколоть бы глаз молодой!), снял плат с Нюшиной склоненной головы, увидал Варфоломей ее разгоряченное, с пятнами яркого румянца, с широко распахнутыми глазами, счастливо-испуганное и растерянное лицо. Она сдва ли кого видела, едва ли слышала что-либо отчетливо. Крики, песни, шум и возгласы пирующих — всё летело мимо нее. Она вставала, деревянно подставляла лицо под поцелуи Стефана (и Варфоломей был рад тогда, что ему надобно подавать и разносить блюда, а не сидеть против молодых, глядя на эти, стыдные перед чужими, обрядовые ласки, за которыми как бы означивалось то, о чем ему и думать даже не хотелось).

От духоты, шума, пьяного угара у него, чуть не впервые в жизни, разболелась голова, и, улучив миг, когда молодых, наконец, со смехом и озорными шутками, повели в холодную горницу укладывать на ржаные снопы, Варфоломей выскользнул на улицу, пробрался сквозь толпу глядельщиков, окруживших терем, и, увильнув на зады, оставшись один, вдруг, неожиданно для самого себя и непонятно о чем, заплакал так, как не часто плакал и в детстве. Рыдал, уцепившись руками за выступ амбарного бревна, вздрагивая, трясясь, теряя силы и обвисая, трогая зачем-то поминутно ладонями колючие, подсыхающие репьи, шмыгая носом, слыша, как горячие слезы с частым шорохом опадают на подсохший осенний лист...

Слезы, впрочем, так же вдруг, как начались, и окончились. Варфоломей вытер полотенцем лицо, подумав, что нельзя оставлять следов слез, постоял, приходя в себя, покрутил головою. От только что испытанного и вызвавшего жаркие слезы острого приступа одиночества всё еще оставалось сухое жжение в груди. Вспомнилось невпопад, как Нюша, испуганно приоткрывая рот, протягивала ложку, кормя Стефана за свадебным столом, и, верно, очень боялась не замарать ему лицо обрядовой кашей. А сама, когда ложка перешла в руки Стефана, решительно зажмурила глаза и рот открыла широко, словно галчонок... Он улыбнулся в темноте, еще раз решительно вытер слезы и пошел в терем...

Застолье продолжалось и еще день, и еще. Назавтра молодая мела горницу, выбирая дареные деньги из сора. На третий день всею свадьбой ходили к теще, на блины...

Вечером третьего дня Нюша столкнулась с Варфоломеем в сенях, нос к носу. Глядя на него сияющими, ослепленными глазами, прижимая ладони к вискам, протараторила:

— Ничего не понимаю! Наверно, счастливая! Только ты меня тоже не бросай, слышишь?

Неожиданно обняла, крепко поцеловала влажным ртом, и тут же убежала прочь...

Она так изменилась за эти два дня, что Варфоломей, оставшись один, долго склеивал и никак не мог склеить образ той, прежней Нюши, и этой, нынешней...

Глава 11

Для Стефана с Нюшею по весне намерили срубить новый терем, пока же пополнившееся семейство Кириллово помещалось за одним столом, и только ночевать молодые уходили в клеть. Поэтому весь «медовый месяц» — вся трудная притирка молодых друг к другу — происходила на глазах у Варфоломея, рождая в нем то глухую боль, то недоумение. Неволею приходилось наблюдать капризы и ссоры молодых, перемежаемые вспышками едва прикрытой чувственности, действительные и мнимые обиды друг на друга, и то, как Нюша со Стефаном, сидя за общим столом, вдруг переставали замечать окружающих, и тогда взрослые отводили глаза, а за ними и Варфоломей с Петром старались скорее отвлечься чем-нибудь сторонним или затевали громкий разговор, лишь бы не видеть того, что происходило у всех на глазах между молодыми супругами.

Нюша еще плоховато стряпала, не умела приказать слугам, не справлялась со стиркою и шитьем. Стефан гневал, сводя прямые бро-

ви, и Варфоломей со страхом наблюдал, как жалко вздрагивают Нюшины губы, словно у обиженного дитяти.

Раз, во время одной из подобных размолвок, с глазу на глаз, Стефан ударил Нюшу, и та с криком выбежала из клети, держась за щеку. Варфоломей как раз возвращался из конюшни. Вся кровь прилила ему в голову... К счастью, на крыльцо в этот миг вышла мать.

— Олфоромей! — позвала она. Он оборотил лицо на материн зов, но не двинулся. Голос Марии был необычно строг: — Олфоромей! — повторила она.— Поди сюда!

Набычась, он двинулся к крыльцу.

— Помоги мне! — приказала Мария, и увела его в амбар, где Варфоломею пришлось ворочать и перекладывать по указанию матери какие-то кули и бочки. И лишь получасом позже, когда он порядком взмок от усиленной работы, Мария сказала ему:

— Ну, будет! — И повелела: — Присядь!

Он сел на кадушку с топленым маслом, угрюмо утупя взор.

— Запомни, Олфоромей,— сказала мать,— никогда не встревай в чужую жизнь! В семье, меж мужем и женою, и не то еще бывает порой. Это очень трудно — всю жизнь прожить с человеком! У нас с родителем твоим тоже всякое бывало по первости да по младости лет. Иного и на духу не скажу. И всё одно: он муж, глава! Жена не уважит, и сам себя уважать не станет супруг, и люди осудят, и всему дому настанут скудота и раззор! Муж, хошь с рати воротит, суровый да темный, хошь из лесу, с тяжкой работы какой, хошь с поля, с пахоты, голодный да злой, дак и огрубит непутем, а ты пойми, приветь, накорми, успокой, выслушай со опрятством!

— Дак — вправе — и бить? — тяжко, словно ворочая камни, вопросил Варфоломей.

— А об этом люди знать не должны. И еще скажу: добрая жена завсегда в доме госпожа. Дело супруга — дом обеспечить, дело жены — дом вести. Коли у тебя всего настряпано, да чисто, да тепло — и злой одобреет. Но уж коли кормишь, можно и сдержать от худых-то дел! Иного и не позволишь супругу, а только чтобы он себя по-прежнему уважал и чадам чтобы был отец, глава! Муж-от один на всю жизнь. И детям отец! Не отберешь их, маленьких-то, ни у отца, ни у матери!

Ты вот спроси, легко ли нам? Оногда и не доспишь, и куска не доешь, и болеть не позволишь себе! Супруг, чада — болеют, жена, мать — завсегда на ногах... С мужем прожить да воспитать детей достойно — тут те и монашеский подвиг, и ратный труд! Вон уж и на беседе, воззри: парни с жалейками да с домрами придут, а девицы — с пряжею да шитьем!

Варфоломей внимал, все так же опустив очи долу, и неясно было, чует ли, понимает ли мать? Тут только вопросил, словно просыпаясь ото сна.

— Меньше работают мужики, чем бабы?

— Как ты, дак и не меньше! — отозвалась мать.— Мужской труд иной. На рать жонок не пошлешь. Опять же поле пахать, лес валить, хоромы класть... В извозе тоже жонка не выдюжит... Вот так-то, сын! И потому в чужую беду никогда себя не мешай. Сами дойдут до ума. Стефан нравный, а Нюра еще молода. На Стефане, гляди, весь дом держится. Может когда и уважить ему молодая жена! Да и любят один другого. А у любимых кажная обида — вдесятеро. И ты того не зазри. Не нарушай семью! Повидишь, сами собою снидут в мир!

— Мамо! — сказал Варфоломей, подымая строгие глаза: — Весною, когда Стефану срубим дом, я ухожу в монастырь.

— Хорошо, сын.

Мария поднялась с заметною усталостью. Поднялся и он, укрощенный, но не убежденный.

Мать, однако, оказалась права. К вечеру Стефан с Нюшею помирились. Быть может, он попросил прощения у нее. За ужином Нюша глядела на него вся лучась нежностью, то и дело лебединым движением руки трогала невзначай плечо Стефана, подкладывала ему лучшие куски, и в голосе ее слышался опять тот глубокий горловой перелив, который бывает только у счастливых и спокойных за свою судьбу жонок.

Но был ли счастлив Стефан? С Варфоломеем они не разговаривали. Работали вместе и дружно по-прежнему, без слов понимая друг друга в труде, но сердечные тайны, и паче того замыслы грядущего, уже не возникали в их немногословных беседах и, казалось, вряд ли возродятся когда-либо вновь.

То, что он любил Нюшу, было слишком видно, и это несколько примиряло Варфоломея с изменою старшего брата. Но вот был ли он счастлив по правде, по-настоящему, до конца? Этого Варфоломей наверняка не смог бы утверждать. Запрятанная глубоко, на самое дно души, не могла же, однако, умереть в нем та жажда деяний, которая сжигала Стефана с отроческих лет? Что же он тëперь собирается делать, что вершить на жизненном пути? Или так и похоронит гордые замыслы своей юности в ежедневном, уйдет в семью, в детей, будет по крохам собирать, скапливать добро, чтобы где-то во внуках или правнуках войти в ряды рядовых московских вотчинников?

Когда Варфоломей видел, как Нюша, лаская мужа взглядами, выгибается, показывая округлившийся стан, и ее маленькие груди зовуще натягивают полотно рубахи, ему становилось тошно и обидно за ту, прежнюю Нюшу, исчезнувшую без остатка в этой теперешней, «бабьей» и земной. Тело ее казалось ему в такие мгновения потным и нечистым, и его охватывал настоящий ужас за Стефана: на что же он променял свои великие мечты?

Варфоломей кожею чуял за брата, что тот долго не сможет вести такую жизнь, и ждал беды, срыва, катастрофы. И когда понял, чего ждет, стал изо всех сил отдалять неизбежное. Заботливо помогал Нюше справляться с хозяйством, незаметно для брата старался занять его какими-либо делами, подсовывал ему книги и просил настойчивее, чем прежде, растолковать неясное — лишь бы не дать Стефану почувствовать гибельную душевную пустоту, которая (он понимал и это) рано ли, поздно, так и так настигнет Стефана и — что тогда?!

Святками, как-то нежданно для многих, оженился младший братишка Варфоломея, Петр, на Кате, дочери местного священника отца Никодима, давней Нюшиной подружке.

Вновь собирали свадьбу, варили и стряпали, гоняли по Радонежу на разукрашенных конях с колокольцами. Было много шуму, смеху, песен, давки и толкотни... И вот за столом в дому Кирилловом появилась вторая молодуха, веселая хлопотунья.

Катя оказалась толковой хозяйкой, ловко стирала, вышивала и штопала, вкусно стряпала, легко исполняя все то, что Нюше давалось со значительным трудом. Казалось даже, что не она состоит при Петре, а Петр при ней,— особенно когда Катя, словно старшая сестра, ерошила ему волосы, а Петр улыбался детскою довольною улыбкой.

Мать как-то обмолвилась: «два голубка!» И верно, на них приятно было смотреть. Во всяком случае, тут Варфоломей не чуял никакой внутренней тревоги.

Спали они в общей горнице, за занавескою, и, укладываясь, долго возились и хохотали, точно расшалившиеся дети.

Петру с дочерью отец Никодим обещал со временем отдать половину своего дома. Пока же все жили одной семьею, по-прежнему садясь трапезовать за один стол.

С Катиным приходом в доме стало людно и весело. Две невестки судачили взапуски друг с другом, решая какие-то свои, женские дела, вместе исполняли работу по дому, и то грозное, чего все время ждал

Варфоломей, как-то отдалилось, утихло, почти исчезло на время с окоема семейной судьбы.

В марте стало ясно, что Нюша ждет ребенка.

Глава 12

К дубовым ведрам с водою Варфоломей теперь не позволял Нюше даже притронуться. Он всегда оказывался тут как тут, когда ей надо было отнести белье, или корчаги с мукою, или иное что, требующее усилий. И так же враз, как появлялся для помощи, он и исчезал, не позволяя Нюше сказать себе спасибо. Варфоломей вел себя так, впрочем, не из одной только скромности. За столом он старался вовсе не глядеть на Нюшу. То бессмысленное, тупое выражение лица (словно бы все силы души истрачены и поглощены тем, что совершается там, внутри), которое появляется почти у каждой женщины в пору беременности и делает ее похожей на корову, козу или свинью (в зависимости от склада лица и тела), пугало Варфоломея все больше и больше. Эта сугубая поглощенность в животном естестве — тусклый взор, припухлые, жующие губы — должна была разрешиться для нее небывалым ужасом. Так, по крайней мере, казалось ему.

Сама Нюша вроде бы совсе не страшилась родов. Подолгу секретничала и хихикала с Катей, а на мужа глядела теперь с еще бóльшим подобострастным обожанием. Проходили недели, и уже очень заметный холмик живота, худоба щек и голубые тени у глаз начали говорить о том, что срок близок.

Шла весна. Подтаивали сугробы. Рушились пути. Кони призывно ржали, катались по мокрому снегу. Орали птицы. Влажные, пухлые облака плыли по синему, безмерному, омытому влагою и продутому весенними ветрами океану неба. В доме ладили сохи и бороны, чинили упряжь.

Справили Пасху. Уже земля вылезала из-под снежных покровов, и на сухих пригорках весело пробивалась молодая трава, когда московский гонец примчал в Радонеж известие о смерти князя Ивана.

Начались толки и пересуды. Калита — хорош он или дурен — был для всех залогом прочности бытия. Ни сколько-нибудь заметных войн, ни паче того татарских набегов при нем не бывало. Даже и жадные послы — бич поволжских городов — миновали вотчину князя Ивана при его жизни. И что-то будет теперь?

Давно так много и горячо не толковали о господарских делах в Радонеже. Онисим, вроде даже помолодевший, врывался в дом, тормошил Кирилла (старый ростовский боярин сильно сдал в эту зиму, совсем отошел от хозяйства, и все больше или лежал на печи, или читал божественное), кричал:

— Ноне суздальский князь, Костянтин Василич может велико княженье под себя забрать! Смотри-ко! Семен-от Иваныч молод, тово! И Костянтин Михалыч тверской туда ж поскачет, верно говорю! Понимай! Как бы на прежно не поворотило!

Кирилл слабо отмахивал рукою:

— Тебе, Онисим, износу нету! А я уж в домовину гляжу. Сыны, вон... Теперича нам за московита надо стоять. Жизни наново не переделашь, так-то...

Онисим недолго сидел, поддакивая медленной речи Кирилла, и вновь срывался, бежал узнавать, выехал ли князь Симеон в Орду и о чем толкуют на дворе наместничьем?

Варфоломей глядел ему вслед, дивясь и любуясь.

— Волнуется! — со вздохом говорил отец по уходе Онисима.— Старо-прежне житье забыть не может! Пахать надо, вота что! И молить Господа, не стало б, невзначай, нахождения ратного!

— Он-ить, отец, не моложе тебя? — спрашивал Варфоломей.

— Годами-то я старее! Мне-ка, поди уж, постриги творили, когда он еще в колыбели лежал... Да и жил незаботно, сердца не долил никоторой печалью. Век был таков: накричит, нашумит, а все не взаболь ему, все, словно шуткует!

— У деинки Онисима жена умерла, отец! — осторожно возражал Варфоломей.

— Да вот, поди ж ты...— отец вздыхал, и слегка дрожащею рукою вновь нашаривал и раскрывал толстый «Изборник» с узорными, писанными красною киноварью и золотом заглавными буквицами, а Варфоломей отправлялся в житницу, где хранилась семенная рожь. Для него за протекшие годы Радонеж стал настоящею родиной, и потому о своей судьбе и судьбе ихнего дома мыслилось ему неотрывно от судьбы князя московского. Что бы ни случилось теперь, получит Симеон Иваныч великое княжение или нет, отселе они никуда не уедут уже, и разделят судьбу всего московского княжества!

А небо, промытое синью, огромно, а воздух свеж, как юность, и даже тому, неизбежному, что когда-то приходит к каждому ослаба сил, старость и смерть, — трудно поверить в пьянящую пору весны, когда тебе девятнадцать лет!

Вновь зеленой фатою оделись березы. Вновь тяжелое рало вспарывает влажную, клеклую землю прошлогодней пожоги. Только руки нынче крепко, уже не по-мальчишечьи, держат рукояти сохи и рало послушно и ровно ведет борозду, не выпрыгивая, как прежде, из земли. И, любуясь собою, проверяя силу рук, Варфоломей слегка нажимает на темно-блестящие рукояти, чуя, по натуге коня, взрыхляемую глубину, и вновь отпускает, выравнивая, и послушное рало тотчас приподымается, все так же ровно, без огрехов и сбоев, разламывая влажное лоно земли.

Что бы ни решил хан в далекой Орде, о чем бы ни сговаривались князья, что сидят где-то там, за дубовыми стенами больших городов, в узорчатых теремах, или, как сейчас, едут в дали-далекие по рекам и посуху,— есть труд «в поте лица твоего», и радостно исполнять его именно так, чтобы горячие струи бежали по спине, и рубаха была — как выжми, и чтобы сила послушно играла в руках, и легко и просторно дышала грудь, и нечаянная радостная улыбка невзначай освещала лицо, открытое ветру и солнцу! И чтобы впереди был подвиг. Великий духовный труд! И каждая новая борозда невестимо приближает его к этому подвигу. Скоро! Очень скоро! Ступай, сгибай крутовыйную шею, конь! Тяни сильнее! И ты тоже мокр, мой товарищ! И твои мышцы, как и мои, мощно ходят под атласною кожей. Ты добрый конь! И хозяева твои хорошо додержали тебя до весны, не дали исхудать, опаршиветь, потерять силы к весенней страде! Тяни, конь! Наклоняй морду, упирай сильнее в землю копыта свои! Вот и новая борозда! Уже половина поля рыхло чернеет за нами и полна жорких скворцов и грачей, что, суетясь и вереща, уничтожают сейчас разную насекомую нечисть, жуков и личинок. Погодите, птицы! Завтра начнем вас гонять, надобно сеять хлеб!

Тяни, конь! Ты, не ведая того, созидаешь основу земного бытия! Ты и твой пахарь исполняете высокий завет, данный Господом: в поте лица (всегда в поте лица!) добывать хлеб свой, хлеб насущный, им же стоят княжения, царства и языки. Тяни, конь! В начале начал всегда является труд, созидание. Труд земной и подвиг духовный — двуединая основа истинного бытия. И этот юный пахарь скоро станет твоим молитвенником, земля русская!

Начались те дни великого напряжения сил, схожие с ратной страдою, когда мужики приходят с поля в грязи, поту и пыли и, едва ополоснувши лицо и руки, молча садятся жрать, и только отвалясь от глиняной латки со щами и рыгнув, бросают сиплым от устали голосом:

— Тот клин... у горелого займища... весь ноне довершил!

И жена, гордо подымая плечи, спешит с кашею, и дочь, чуть не в драку с сынишкою, торопясь наливает молока бате, и оба восхищенно взирают, как ест, двигая желваками, косматый отец. Клин у горелого займища довершен! А еще тетка Мотрия баяла, что до субботы тамо ему не управить! Чево! Я говорил! Нет, ч говорила! Нет, я!

— Не балуйте, тамо! — И рассеянная тяжелая рука нашаривает юркие льняные головенки, которые торопятся теменем, носом, лбом, прижаться к горячей отцовой ладони, и с ней и через нее прикоснуться, притронуться к вековечному великому подвигу россиянина, взрастившему хлеб и обилие на трудной своей земле.

Варфоломей ухитрялся вечером, когда все валились от усталости с ног, еще натаскать воды, чтобы Нюше с Катей было легче с утра со стряпнею, после чего, прочитав вечернее правило, проваливал в каменный, без сновидений, сон.

Нюше подошло родить, когда уже отсеялись, и подступало время покоса. Как на грех, в доме не было никого, и ежели бы не Варфоломей,— заглянувший со всегдашним: не надо ли чего? — невесть что бы и стряслось.

Завидя Нюшино лицо, покрасневшее, в крупном поту, точно усыпанное градинами, заслышав ее протяжные стоны, Варфоломей растерялся. Хотел было бежать за повитухою, но Нюшин крик:

— Олфера-а-а! Не оставляй меня, не оставля-а-а-ай! А-ой! Ой! А-а-ой! — заставил его остояться. В голове лихорадочно напоминалось: что надобно, надобно что?! Воды горячей, много! — сообразил он — и скорей! В загнетке еще нашлись горячие уголья. Под непрерывные, то затихающие, то усиливающиеся стоны он раздул огонь, затопил печь, вдвинул прямо в огонь большой глиняный горшок с водою. Потом, сцепив зубы и стараясь ни на что не смотреть, развязал и распустил на Нюше пояс и завязки сарафана и исподницы, совершенно не понимая, как он станет принимать роды у нее.

«Васильиху надо! — с отчаянием думал он.— И в доме никого, ни отца, ни матери, и ни единой бабы, все на огородах, да в поле!» Двадцать раз намеривал он побежать за помочью, но Нюша, вцепляясь в него потной рукой и дико оскаливая зубы, мотая раскосмаченною головою, не отпускала Варфоломея от себя...

В самый, как показалось ему, последний миг в горницу ворвалась Катерина, за нею следом попадья, Никодимиха, и Варфоломей, к великому своему облегчению, был выставлен за порог, где его и нашла мать, Мария, в великом страхе и трепете.

Варфоломей так и не понял, когда же домой явился Стефан, и когда, в какой миг, его самого снова позвали в горницы, где и показали крепенького, с красною, точно ошпаренной рожицею, уже умытого и запеленутого малыша.

Взглянув на постелю, он увидел прежде всего промытые страданием и счастьем огромные Нюшины глаза. Казалось, вся прежняя тонкая духовность, и еще что-то несказанное, неземное, воскресли в ней после перенесенных родовых мук.

Варфоломей стоял недвижный, оторопелый и смотрел, переводя взгляд с роженицы на ребенка. Почему он был уверен, что Нюша должна умереть? (Больше того, знал, что так оно и будет!) И почему он и сейчас не чувствует, что ошибся в предведеньях своих?

Однако Нюша была жива, и по робкой, счастливой улыбке, посланной ею Стефану (Варфоломей только теперь заметил старшего брата, стоявшего в головах постели), он понял, что всё уже позади, и то, чего он так боялся в последние месяцы, вновь отошло, отодвинулось, исчезло, или почти исчезло, точно прошедшая стороною, в немом блеске далеких молний, так и не разразившаяся гроза.

Удивительно быстро, и как-то между делом (покос был трудный, часто перепадали дожди, и приходило то стремительно сметывать, то опять рассыпать для просушки полусухие копны) Варфоломей научился обстирывать и обмывать Нюшиного малыша, даже и купал его сам, в корыте, держа на ладони (и справлялся с этим ловчее юной матери).

Стефан снисходительно допускал такое вмешательство брата в свою семейную жизнь. Со временем, войдя во вкус, иногда и сам сваливал на Варфоломея докучные «бабские» заботы:

— Олфер! Помоги там! — произносил он, утыкая нос в книгу, и Варфоломей тотчас откладывал недошитый хомут и брался обихаживать малыша.

Люльку для ребенка готовили оба брата: Стефан сколачивал остов, а Варфоломей вырезал узоры на ней.

Младенца, по обычаю, когда минуло сорок дней со дня родин, нарекли Климентом, в честь святого Климента равноапостольного.

Воскресшая Нюша так привыкла к услугам Варфоломея, что подчас переставала даже стесняться его. Просила подать малыша, одновременно выпрастывая набухшую грудь из расстегнутого сарафана. И ему приходилось сводить глаза к переносью, чтобы не видеть того, чего он не желал видеть, и задерживать дыхание, чтобы не обонять запаха ее молока и потной груди.

Культ прекрасной дамы у нас и на Западе довольно сильно розняться друг от друга.

Ежели там в честь дамы обыкновенно сочиняли стихи и сражались на турнирах, предоставляя грубую прозу жизни ведать ей самой или ее супругу, то русский рыцарь, не ведая о турнирах, брался помогать даме своего сердца как раз в той самой низменной прозе бытия.

Обмывать обосранного малыша, таскать и греть воду, помогать со стиркою и стряпней, и всё это — не требуя в награду ни поцелуя, ни брошенного на арену цветка, ни даже признания своих заслуг, так что зачастую и прекрасная дама, отворотясь от своего преданного рыцаря, выносящего корыто с грязной водой, с обожанием глядит в этот миг на дорогого супруга, Стефана, занятого изучением трудов Синессия... Согласимся, что участь русского рыцаря, по сравнению с его западным коллегой того же четырнадцатого столетия, много незавиднее и тяжелей!

Странно, как русская женщина почасту стесняется мужских забот, считая проявление таковых унижением для мужчины (и ежели требует, то именно унижая этим супруга!). Видимо, именно потому, что в заботах этих нет внешней позы, нет «красоты», нет никакой зримой «мужественности»... Идеальный рыцарь, по мнению наших дам, должен быть прежде всего веселым и дерзким до отчаянности; лихач, драчун и выпивоха, «рубаха-парень», от которого какая там помощь! Добро, коль не побьет, явившись на свидание во хмелю... Или уж так привыкла, в последние времена, русская женщина рассчитывать на себя одну? Или инстинктивно боится, что взявшийся за женский труд мужчина окажется неспособен уже к труду мужскому и мужеской доблести, к защите любимого существа?

И те мужи, что, не женясь, сами воспитывают малых детей, одевают, стирают и моют — после смерти ли супруги, или бегства загулявшей русской гетеры,— почему никто, даже и в великой русской литературе не воспел по-настоящему вас? Русские рыцари! Рыцари страны, где всё сурово, и подвиг, и труд, и нет внешней украсы в деяниях, где даже идущий в бой, закованный в кольчатую броню боярин не нес на себе родового герба с именем своим (да и не имел его вовсе!) и побеждал или погибал так же безымянно, как и рядовые кмети, во славу не себя самого, но великой Руси!

А «гербом», особою метою русского рыцаря являлся исстари (да и доднесь является!) не внешний какой-либо знак, а знак потаенный, который лишь иногда просветит во взоре, знак горний: душевный, или, вернее, духовный, не всякому видимый свет.

Глава 13

Осень. Срублены новые хоромы для Стефана с Нюшей. Петр с Катериной перешли жить к отцу Никодиму. Безо споров поделены слуги, пажити и добро.

Опустел старый Кириллов терем. Когда-то тесный, рубленный всего в две связи, он теперь нежданно оказался слишком большим.

Из Орды воротился князь Семен с пожалованьем. Великое княжение владимирское осталось за Москвой. Радонежане, старые и новые, вздохнули облегченно. Не знали еще, каков новый князь и как проявит себя, но так хотелось прочного, незамутненного княжескими ссорами и наездами ханских послов мира! По хотенью своему и князя Семена за глаза наделяли многими добродетелями: нищелюбив, справедлив, богомолен, трезвенен... Вскоре радонежская дружина, вкупе с переяславской, ушла в поход к Новгороду Великому. Туда же выступили владимирская, суздальская, ростовская и ярославская рати. Князь Семен, видимо, не шутя намерил продолжать дело отца. Общего ополчения, впрочем, не собирали, так что сыновья Кирилловы остались дома. Видно стало, что до серьезной войны дело все-таки не дойдет.

Варфоломею по осени пришлось ехать с хлебным обозом в Нижний Новгород, так что серьезный разговор с матерью отложился опять.

Воротился он с огрубевшим, иссеченным холодными ветрами лицом, повзрослевший, смутный от переполнявших его новых впечатлений и дорожных картин, в коих ему теперь предстояло разбираться на досуге.

Нищие на раскисших дорогах; грязь и дожди; купеческие байки о разбойниках, вырезывавших, по дороге к Мурому, будто бы целые караваны гостей торговых; дымные, вросшие в землю, крытые соломою избы; скирды хлеба; воронье на падали; бабы, что, сложив руку лодочкой, долго смотрят вослед обозу, словно провожая родных; короткие ночлеги, дорожная усталость и тоска; и вдруг, на круче Клязьмы, вознесенный громадою валов и царственною роскошью белокаменных соборов, потрясший его Владимир, про который он только лишь слышал до сих пор.

Он выстоял службу под величавыми сводами Успенского собора, побывал в Дмитровском храме, засунув нос и на митрополичий двор, откуда его, впрочем, довольно нелюбезно выгнали, потолкался в торгу, наслушавшись разных разговоров и толков, наглядевшись на торговое многолюдство, уличную тесноту и — всегда резкое в огромном городе — сочетание выставленного напоказ богатства и нищеты. Уже здесь он увидел многочисленных татарских гостей, развалисто, словно хозяева, ходивших по городу, приметил и косые взгляды горожан, бросаемые на непрошеных гостей, и татарская «дань неминучая», о которой каждую осень починали толковать в Радонеже, наполнилась для него новым глубоким смыслом. Страна с великим прошлым, некогда могучая и славная, была зажата и стеснена горстью сыроядцев чужой, бехметовой веры! Всё, о чем с прискорбием говорили еще в детстве, во граде Ростове, всё, о чем толковал ему брат и спорили взрослые в Радонеже, нет-нет да и возвращавшиеся к прошлому, недоумевая, почему с такой легкостью поганые завоевали страну? Всё обрастало теперь плотью, зримо являлось взгляду и требовало действенных решений ума. Бродя по владимирскому торгу, Варфоломей живо вспоминал рассказы Стефана о давнем ростовском вече, так и не похотевшем помочь восставшей Твери. Он остро вглядывался в лица, гадая, как бы поступил на том ростовском вече этот мужик, и тот ремесленник, или этот вон ражий купчина с толстенными ручищами и весело-румяным незаботным лицом? Пошел бы со всеми громить поганых или бежал бы впереди всех, спасая свою жизнь?

Как понимают сами себя, как чувствуют ближних своих все эти люди?

Вот боярыня, вылезши из возка перед лавкою гостя-сурожанина, надменно оглядывает толпу и кидает, не глядя, сунувшейся к ней нищенке мелкую медную монету ордынской чеканки, за которой та, падая в грязь, долго елозит, разыскивая деньгу под ногами прохожих и, наконец найдя, удовлетворенно прячет куда-то за пазуху... А вот минуту спустя около той же нищенки останавливается баба, бредущая с рынка, и улыбаясь, что-то выспрашивает ее, а та отвечает, пригорюнясь, покачивая головой, только и слышно: «Милая!» — «И-и, милая!» — «А я, милая!»...

— А у нас летось и все погорело! — Доносит до него голос нищенки, уже значительно более бодрый, чем в начале разговора, совсем без плаксивости, словно делится с кумою деревенскими сплетнями. И наконец баба достает из торбы ножик и каравай хлеба, отрезает краюху и подает нищенке, и обе кланяются одна другой, и снова только и слышно: «Милая!» — «Да што ты, милая!». Женщины наконец расходятся, и нищенка украдкою мелко крестит поданную краюху. «Вот этот леп — от Господа!» — думает, провожая ее глазами, Варфоломей.

Что может их всех собрать, сплотить воедино, заставить понять, что все они братья, единый народ, и никоторый никоторого не богаче и не беднее, как поняли это сердцем те две женщины, одна из которых поделилась с другой краюхою хлеба не выхвалы ради и не ради платной заслуги перед престолом Всевышнего, а только затем, что та нынче во временной трудноте, в беде, которая ее саму пристигнет когда-то или, поди, уж и пристигала не раз!

Здесь опять и наново утверждался Варфоломей в правильности избранного пути. Только молитва, дух Господень, только святая православная церковь возможет вновь собрать и съединить во взаимной любви многострадальный русский народ!

Когда он днесь пробирался в толпе, чужой и неведомый, у него являлось странное и, может быть, даже в чем-то греховное ощущение: не важно, знает ли его кто-нибудь из них (пущай даже никогда не узнает!), но судьба этих людей, неведомыми путями (вернее, ведомыми одному Господу) неотрывно связана с его судьбою, и от того, как поведет себя он, что будет делать в жизни, от его усилий духовных, зависит и вся сущая жизнь, судьба всех прочих сограждан и соплеменников его.

Чувство это известно многим, кто так или иначе подымался на подвиг добра, творчества или самоотречения. Передать его словами (очень приблизительно) можно так: «Вот я делаю сейчас то-то и то-то, и должен сделать, какие бы преграды ни встали на моем пути. Должен свершить! Я даже умереть, прежде свершения, не имею права! Должен потому, что ежели я это сумею, это сумеет и мой народ, если я это вынесу, вынесет и он, и уже я не имею права отступить или поступить иначе, потому что тогда и они погибнут, и их жизнь почнет разрушаться и падать, «на ниче ся обращать», в меру моей немощи».

Верно ли это? То есть субъективно, для лица, свершающего подвиг, это, конечно, верно. Но верно ли это объективно? Существует ли, реальна ли обратная связь, от единицы к множеству?

Трудно было бы сказать безусловное «да», однако знаем же мы, как личное мужество полководца одушевляет и ведет к победе огромную армию или, напротив, слабость и нерешительность его, передаваясь по какой-то тайной духовной связи, заражает неверием и трусостью тысячи храбрых ратников, находящихся порою за десятки поприщ от ставки своего вождя.

Можно возразить, впрочем, что войско уже изначально спаяно единством послушания полководцу. Ну а в иных случаях? Нет ли в духовной сфере закона, подобного физическому закону сообщающихся сосудов, когда уровни жидкости в крохотной трубочке и огромном резервуаре взаимно уравновешивают друг друга? И тогда, действи-

тельно, духовные усилия личности влияют на уровень духовности всей сообщающейся с нею, с этою личностью, среды?

Нельзя ли сказать и большего, а именно, что связь эта существует и оказывает действие свое даже и тогда, когда личность, свершающая подвиг, незрима и даже неизвестна современному ей большинству? Когда личность, подобно древним аскетам-пустынникам, свершает свой подвиг где-то там, в пещерах и дебрях, вдали от людей? Когда и сам подвиг подвижника никому не известен? Подобно тому как солдат, в одиночку взорвавший вражеский танк, и погибший и забытый потом, наносит урон противнику и способствует победе, даже не будучи отмечен правительственной наградою. Впрочем, воин в этом случае свершает деяние все-таки «материальное»,— уничтожая врага. Ну а ежели воздействие только духовное? Ощущаем же мы порою в самом деле немую враждебность в среде чуждых нам по духу людей, как бы безупречно они к нам ни относились? Не исходит ли, напротив того, от некоторых людей как бы излучение добра, вследствие чего всякому с ними рядом становится хорошо и радостно?

Разрешить этот вопрос надобно уже потому, что забвение есть самое страшное, страшнее пыток, искушение сатаны. «Ты погибнешь напрасно! Никто даже не узнает о тебе!» Какое количество героев сгибалось под грузом этой единственной мысли или фразы, брошенной палачом! «На миру и смерть красна». В справедливости этой пословицы мы убеждаемся тысячекратно. Ну а вне мира? Не должен, не обязан ли каждый, гибнущий в одиночку, помнить, что он не один, что «Господь его защита и оборона» и что подвиг его никогда не останет напрасен и, даже неведомый людям, окажет влияние свое!

Помыслим, так ли нейтрально «забытое» прошлое, как кажется нам порою? Не продолжает ли мстить нам сотворенное некогда, но не осмысленное критически, не пережитое покаянно зло? Не доходят ли и до нас волны добра давно забытых предков? Так ли немы безымянные могилы? Забывая преждебывшее, не уподобляемся ли мы страусу, зарывающему голову в песок? Короче говоря, нет ли реальной духовной радиации в этом мире, вызывающей зримые последствия и феномены и определяющей подспудно нашу уже вполне материальную деятельность?

Повторим то же самое в богословских терминах. Когда ты один, один ли ты воистину или наедине с Богом? И тот, кто осязает все время, что он не один, не может ли, не способен ли незримо влиять на тьмы тем соплеменников, «ближних своих», одним своим внутренним духовным усилием? Во всяком случае многие примеры истории говорят нам, что было возможно и такое...

В Нижнем Новгороде Варфоломей, опять же впервые, увидал торговую мощь великого волжского пути. Ихний хлебный обоз, где был собран двухлетний запас не одного только Кирилла, но многих радонежан (хлеб посылали столь далеко, в Нижний, нарочито: чтобы выручить толику серебра на ордынский выход) показался лишь малою каплей, крохотной ниточкой среди тьмочисленных обозов с хлебом, рыбою, медом, скорой, солью и прочим многоразличным обилием, притекающих ежедневно и еженощно на великий нижегородский торг.

Шум, рев, разноголосое мычанье и блеянье пригоняемых стад скотинных; конское ржание; нелепые, горбатые туши верблюдов и их покачивающиеся над толпою безобразные морды; разноязычный гомон тьмочисленной толпы, смешенье лиц и одежд; рабы и рабыни, выставленные на продажу... Величавый ход великой реки; скопление судов у пристаней — бокастых паузков, учанов и насадов, лодей и лодок, волжских «веток» и новогородских «ушкуев»; персидские, татарские бухарские, фряжские и иные заморские гости, армяне и греки, аланы и черкасы, хазары, имеретины и готы, тверичи и новогородцы, торгующие в своих походных лавках рыбьим зубом, воском и многоразличной

узорной кованью; груды товаров в рогожиных кулях, бочонках, бочках, корчагах и ящиках, то под легкими навесами, то просто так наваленные на берегу...

Хлеб удалось продать (выменять на шкуры, обменяв последние, в свою очередь, на серебро) только на четвертый день, к вечеру. Насколько удалась сделка, Варфоломей (торговались и считали старшие) не мог судить. От него требовалось теперь только одно: зашить в пояс причитающиеся ему рубли и серебряные диргемы и довезти их сохранно до дому(что он и исполнил, невредимым воротясь в Радонеж).

За четыре дня в Нижнем насмотреться пришлось всякого. Потрясло его, что русские продавали русских же рабов иноземцам. Как это могло быть, никто ему толком изъяснить не умел, даже и сами рабы-полонянники. Кого-то выкупали из татарского полона, кого-то тут же и продавали вновь. Кто-то, быв холопом у своего боярина, попал сюда после разорения господина... В том, что свои продают своих, было опять нечто такое, против чего должен он будет когда-нибудь направить все силы своей души. Не должно христианину роботити братью свою! Вообще не должно! К чести русской церкви, что она запрещала держать холопов на землях своих. Но те рабы, те домашние холопы, свои, ближние, почти члены семьи, как у них в дому,— тот же Тюха Кривой, его старший друг и учитель в многоразличных ремеслах,— что ж, после смерти родителя и он мог бы попасть сюда, на это всесветное торжище, и быть продану в дали дальние, в чужие земли, к языкам незнаемым: в песчаную Бухару, в степи ли, на Кавказ, за Железные ворота или еще дальше, за море Хвалынское, в сказочную Персию, в Египет, или пустыню аравитскую?!

И вместе с тем, какая сила во всем! Правы суздальские князья, что замыслили перебраться сюда, в эти недостроенные еще, раскидисто рубленые на горе бревенчатые твердыни, в гордый Кремник, вознесенный над торгом и великою, уходящей в далекие дали рекой. И пожалуй, не так уж и легкомыслен был деинка Онисим, кричавший, что суздальский князь сможет восхотеть схватиться с князем московским за великий владимирский стол! И этому,— тут же подумал он,— не надо дать свершиться. Да будет единою исстрадавшаяся в которах княжеских Русская земля. Впрочем, в суете нижегородского торга, подобная мысль и самому ему показалась предерзкою. Как, в самом деле, справиться с этим кипеньем, напором и всесокрушающим движением? Чей голос не утонет и сможет быть услышан в реве, гуле и грохоте этой толпы? Труду духовному потребна тишина великая. Из многошумной Александрии или Антиохии сирийской праведники уходили в безлюдье пустынь, дабы там наедине с природой и создателем событія воспитывать и устремлять дух свой к подвигу отречения. И уже воспитавши себя, умудренные опытом пустынножительства, приходили проповедовать на стогны многошумных городов.

За два дня до отъезда ему удалось узнать о пригородном монастыре Вознесения Господня, основанном не так давно постриженником Киево-Печерской обители Дионисием, который сперва ископал себе пещеру, подобную киевским, и спасался в ней, пребывая в полном безмолвии.

Не медля нимало, Варфоломей направил свои стопы в монастырь, даже не придумав толком, о чем он станет беседовать с Дионисием, ежели тот восхощет принять незнакомого отрока.

Монастырек был невелик, церковь и кельи — новорубленые, из еще светлого, едва обветренного леса. С замиранием сердца вошел Варфоломей в ворота монастыря. Все было так знакомо, так сходствовало его тайным помыслам! Привратник, вглядевшись повнимательнее в лик юноши и улыбнувшись, сам спросил, словно бы догадав о намерениях гостя:

— К авве Дионисию?

Варфоломей молча кивнул, весь залившись жарким румянцем.

— Пожди мал час! — ответствовал привратник.

Шла служба. Варфоломей стал позади негустой толпы прихожан и начал горячо молиться. То ли место, где стоял монастырь, то ли душевное расположение Варфоломея были таковы, что он на молитве забыл обо всем на свете и был как во сне, так что, когда привратник тронул его за плечо, он не сразу сумел обернуться, понять, что его зовут, и прийти в сознание.

Дионисий, вероятно, приметил незнакомого юношу еще на молитве, во время богослужения. Во всяком случае, быстро оглядев гостя с головы до ног и, видимо, поняв, что перед ним далеко не простой паломник, что ходят по святым местам, сами не ведая, чего же ради, он пригласил Варфоломея к себе в келью, поставленную на скате горы, чрезвычайно простую, рубленную в две связи, из второй половины которой ход шел прямо в пещеру, ископанную некогда подвижником для первого пристанища своего и служившую ему и поныне убежищем молитвенного уединения.

Дионисий был еще не стар, худ, горбонос, с проницательным и острым взглядом, в котором тотчас угадывались ум, воля и сугубая твердота нрава.

Варфоломей, приняв благословение у старца и справясь с первым смущением, как можно кратче изъяснил, кто он и откуда и каковых родителей. Дионисий удовлетворенно склонил голову, его первое впечатление об этом отроке подтверждалось — гость был еще менее прост, чем даже и сам умел помыслить о себе!

Скачками, словно падающая со скалы вода, разговор, затронув то и другое и третье, втек наконец в русло общих духовных интересов, и оба скоро поняли, что «нашли друг друга». Так люди близкого духовного склада и равной культуры по двум-трем невзначай брошенным замечаниям узнают один другого в толпе, и тотчас находят и общие темы для разговора, и даже общие умолчания о том, что известно и понятно каждому из них и неведомо окружающей толпе.

По какой-то странной робости, или по скромности, Варфоломей до самого конца так и не признался старцу, что сам собирается в монастырь.

О чем они говорили в ту свою первую встречу, Варфоломей тоже впоследствии не мог связно припомнить. Впрочем, он больше слушал, чем говорил сам. Его всегдашнее немногословие сослужило ему и в этот раз добрую службу. Запомнилось только, что речь как-то вдруг повернулась к тому, о чем он так пытливо и страстно думал на протяжении всей дороги. Скорби родимой земли, ее прошлое величие, величие ее пастырей духовных и долг праведника перед лицом днешней беды — вот то, что немногими яркими словами набросал пред ним Дионисий, и что, словно клинок и ножны, так сходилось с его личными размышлениями.

Провожая Варфоломея, не посмевшего слишком злоупотреблять временем знаменитого подвижника, Дионисий тонко улыбнулся и заметил, что не говорит гостю «прощай», чая узреть его еще не раз, и, возможно, в новом обличии. Варфоломей и здесь не признался в своих, почти угаданных Дионисием мечтах, только пламенно покраснел в ответ и, покраснев, похорошел почти девическою или, скорее, ангельскою красотою. Таким и запомнился Дионисию, не раз вспоминавшему потом, уже много времени спустя, о первой встрече с будущим радонежским подвижником.

Подъезжая к дому, Варфоломей думал только об одном: как скажет матери, что все сроки исполнились, и ему теперь надлежит, не отлагая боле ни на день, ни на час, исполнить то, к чему он приуготовлял себя всю предыдущую жизнь.

Глава 14

Дома все было вроде бы по-прежнему. Только отец, встречая сына, почти не поднялся с постели, да мать, всматриваясь в его слегка загрубелое, решительное лицо, приветствовала Варфоломея с незнакомой ему ранее почтительной робостью. Выслушивая дорожные рассказы, она накрывала на стол, опрятно и быстро расставляла блюда, достала тарель с рыбным студнем, сама натерла редьки сыну и налила топленого молока.

— Нюша и Стефан здоровы, всё слава Богу! Баня истоплена. Поешь, помойся и ложись почивать. Утро вечера мудренее! — Тем и закончился их первый разговор.

Назавтра она, еще до прихода братьев с женами, сразу же после трапезы, сама увела его для разговору в светелку и, плотно прикрыв двери, усадив сына на лавку, а сама, севши прямь него на сундук, потупилась, разглаживая платье на коленях сухими, узловатыми руками, затрудняясь, с чего начать. Под ее пальцами повиделось, что и ноги у матери усохли, истончились совсем, и вся она, как вдруг бросилось в очи Варфоломею, высохла, олегчала, почти потеряв женскую округлость плоти.

Наконец Мария, справясь с собою, подняла глаза:

— Отец плох! Видишь сам, уж и встает с трудом! Все тебя сожидал... Ты потолкуй с им... Недолго ему с детьми говорить-то осталось...

Всё было не то, и Мария вновь опустила глаза долу. Варфоломей молчал. Он ее понимал, конечно, не мог не понять, с самого первого погляду, с того еще мига, как зашли в особный покой и уселись прямь друг друга беседовать. — Ты видешь, мамо, сколь я ждал и терпел! А теперь уже ничто не держит меня. Братья избрали свои пути, а меня сожидает мой. И отец не должен зазрить. Не вы ли сами говорили, что я «обитель святой Троицы», и мой путь изначала — служить Господу! Отпусти, мамо! — говорило его молчание.

— Братья заходят? — спросил он. Мария кивнула головой.

— Оногда и Катерина забежит... Да што! Братья оженились, пекутся ныне, как женам угодить! — тяжело отмолвила она.— Со стариками молодым трудно. Своя жисть...— не кончила. Варфоломей промолчал.

(Отпусти меня, мамо! Я был заботливым сыном тебе и отцу. Быть может, самым заботливым из сыновей. А сейчас — отпусти! Уже исполнились сроки. Ты знаешь сама! И птица вылетает из гнезда, когда у нее отрастают крылья, а я человек, мамо, и путь мой означен от юности моея! Нехорошо умедлить на пути, предуказанном самим Господом!)

— Ты, Олфоромей, печешься, како угодить Богови, это благая участь! Но подумай и о нас с отцом. Оба мы ныне в старости, в скудости и в болезнях! Кого, кроме тебя, могу я просить? Сама бы... Без отца... прожила и за невестками! Голоса не возвышу уже, и мира не нарушу в семье. А отец не может! Всё блазнит ему господинство в доме... Не хочу, чтобы при гробе лет повздорил со своими детьми!

Молчит Варфоломей. (Мамо! Почто не Стефан и не Петр, а я должен взвалить на плеча свои еще и сей крест и сию суетную ношу! Не уподоблюсь ли я жене нерадивой, умедлившей встретить жениха? Не сам ли Христос повелел бросить отца своего и матерь свою и идти за ним? Думаешь ли ты обо мне, мамо? А ежели я не справлюсь с собою и, втайне, почну желать вашей кончины, твоей и отца, мамо? Того греха мне и Господь не простит!)

— Ты не станешь ждать нашей смерти, Олфоромей! — возражает мать молчанию сына.— А жить нам осталось недолго. Дотерпи! Проводи нас с отцом до могилы! Опусти в домовину и погреби. Тогда и

ступай, с Богом! А я и из могилы благословлю тебя на твоем пути! Припаду к стопам Господа нашего, да наградит тебя за терпение твое!

(Мамо! Ты разрываешь мне сердце! Я должен уйти! Ты это знаешь сама. Или я беспощаден к тебе? Или это юность моя так не может и не хочет больше ждать? Или я жесток пред тобою, мать моя, рождшая и воспитавшая мя, и вскормившая млеком своим? Или я, как и прочие дети, будучи в неоплатном долгу у родителей своих, ленюсь и небрегу отплатить хотя малым чем долг свой при жизни родительской? Господи, подай мне знак, дай совет, как поступить в этот час!)

— Я не понуждаю тебя, Олфоромеюшко. Токмо прошу! Не можешь — ступай с Богом. Простись токмо с отцом по-хорошему. Мы ить и одни проживем, с Господней помогой! Прости меня, старую!

Она потупляется вновь, и Варфоломей видит, как вздрагивают худые материны плечи, как кривятся судорожно губы, сдерживая рыдание, как робкая слеза осеребряет ее ресницы...

(Ты не ведаешь, мамо, какой жертвы просишь у меня! Я уступаю тебе, но и сам боюсь за себя в этот миг. Выдержу ли без ропота этот последний искус? Господи, владыка добра! Помоги мне днесь на путях моих!)

— Хорошо, мамо. Я остаюсь,— говорит он.

Ему приходится поскорее поддержать мать, чтобы Мария не рухнула в ноги сыну своему.

Глава 15

Ближайшие два года не прошли совсем даром для Варфоломея. Отец был прикован к постели, братья и верно, как говорила мать, больше угождали женам своим, и на него пали те хозяйственные заботы, которые ранее исполняли Яков, Стефан, Даньша или сам боярин Кирилл. Ему пришлось-таки поездить и походить с обозами, неволею научиться торговать; много раз бывать в Переяславле, этой второй церковной столице московского княжества, где он даже завел знакомства в монастырских кругах; побывал он и в других, ближних и дальних городах — в Хотькове и Дмитрове, в Юрьеве-Польско́м и Суздале, спускался по Волге от Кснятина до Углеча-поля. По крайней мере единожды довелось ему увидеть Москву, куда Варфоломей попал в числе радонежан, вызванных на городовое дело. (Когда набирали народ, можно было и поспорить,— свободные вотчинники, в отличие от черносошных крестьян, не несли городового тягла, но Варфоломей не стал спорить. Ему самому было любопытно поглядеть стольный город своего княжества, а работы он не боялся никакой.)

Москва, хотя и обстроенная Калитой и красиво расположенная на горе, над рекою, все же сильно уступала Ростову, Владимиру и даже Переяславлю. Город, однако, был многолюден, а народ напорист и деловит: москвичи явно гордились своею столичностью. Варфоломей нашел время побывать в монастырях, Даниловом и Богоявления, обегал Кремник, благо они тут и работали, починяли приречную городьбу, и даже увидал мельком князя Семена,— молодого, невысокого роста, с приятным лицом и умными живыми глазами. Он шел в сопровождении каких-то бояр и свиты, и слушал, кивая головой, то, что говорил ему забегавший сбоку, привзмахивая руками, седой боярин, сам же бегло окидывал взглядом строительство, и даже, остановясь невдали от Варфоломея, указал рукою одному из бояр на что-то вызвавшее его особое внимание. Передавали, что князь Семен только что воротился из Орды, где представлялся новому цесарю, Чанибеку.

Мелькнул и исчез пред ним кусочек той «верхней» жизни, со своими, неизмеримо важнейшими, чем его собственные, трудами, успехами, бедами и скорбями. Важнейшими уже потому, что от них, от этих трудов княжеских, зависели жизни и судьбы тысяч и тысяч прочих

людей — бояр, торговых гостей, ремесленников и крестьян. Что было бы сейчас со всеми ними, не прими Чанибек милостиво князя Семена? Верно, уже бы скакали гонцы по дорогам и в воздухе пахло войной!

Митрополита Феогноста, как ни хотелось ему, Варфоломей в этот наезд так и не видел. Баяли, что духовный владыка Руси все еще не воротился из Орды.

Пригородные московские монастыри, как и большие монастыри Переяславля — Горицкий и Никитский, вызывали в нем одно твердое убеждение: туда он не пойдет. Варфоломей даже затруднился бы сказать, почему именно? Верно, из-за той самой «столичности», которая тут упорно лезла в глаза: соперничества и местничества, тайной борьбы за звания и чины, страстей, связанных с близостью к престолу, которые он и не зная знал,— чуял кожей этот дух суетности, враждебный, по его мнению, всякому духовному труду. Раз за разом ворочаясь из своих путей торговых, Варфоломей все больше убеждался в том, что его замысел: уйти в лес и основать свой собственный, скитский монастырь, есть единственно правильный и единственно достойный путь для того, кто хочет, не суетясь и не надмеваясь, посвятить себя единому Богу.

Между тем время шло. Кирилл все больше слабел и уже начал не шутя поговаривать о монастыре. Он бы, верно, и давно уже посхимился, да не желал оставлять Марию одну, а та тоже, давно подумывая о монастыре, не могла оставить одиноким своего беспомощного супруга. Им обоим не хватало какого-то толчка, быть может, внешней беды, дабы решиться покинуть мир.

У Кати с Петром появился ребенок, девочка, а вскоре обе невестки опять понесли, почти одновременно.

Варфоломей, который нынче нечасто встречался с Нюшей, не сразу почуял приближение беды. Нюша была уже на сносях, когда Варфоломей, встретив ее случайно у младшего брата (она пришла к Кате за какою-то хозяйственной надобностью), вдруг, невесть с чего, испугался до смертного ужаса. Да, лицо у Нюши было слегка нездоровым, подпухло, под глазами появились отечные мешки, но не это перепугало Варфоломея. Она болтала, даже смеялась, пробовала подшучивать над ним, а глаза у нее в это время — отсутствовали. В них, в самой-самой глубине зрачков, была пустота. Он решил, что это наваждение, пробовал стряхнуть с себя глупый страх, и не мог. Что-то должно было произойти, возможно то, чего он ждал тогда, два года тому назад, и просто ошибся во времени? Вечером этого дня он долго и горячо молился о здравии рабы Божьей Анны, но и молитва как-то не доходила до сердца на этот раз, не могла перебить тревожного ожидания беды.

Много лет спустя Варфоломей, к тому времени старец Сергий, так развил в себе эту способность угадывать грядущую человеческую судьбу, что уже ни разу не обманывался в предчувствиях своих. Близкая смерть или тяжкое несчастье, увечье ли, плен, болезнь виделись ему заранее, как бы написанными на челе человека, и даже сроки несчастий он мог предугадать и называл довольно точно. (Свойство нередкое у людей тонкой духовной организации, хоть и не объясненное до сих пор наукой.)

О своих предчувствиях Варфоломей не говорил никому. Только внутри себя во все эти последние месяцы как бы сжимался весь, собирался в комок, словно ожидая удара.

Сама Нюша ничего такого не подозревала: была весела, ровна, хлопотливо готовила свивальники и сорочки будущему младеню. Она уже и ходила тяжело, переваливаясь, точно утка.

Осенние ветра сушили и вымораживали землю. Сухой серый ольховый лист на утренниках хрустел под ногой.

Роды прошли благополучно,— так повестила ему Никодимиха (Варфоломей как раз возвращался из лесу). Безумная надежда на то,

что он и ныне сумел ошибиться, билась в нем, когда он взбегал по ступеням Стефанова терема. Но с первого же взгляда на брата, на его потерянное, смятое лицо, на хмурую Катерину, что сидела ссутулясь у постели роженицы, Варфоломей понял, что дело плохо. Нюша лежала вся в жару, румяная, почти красивая, и не узнавала никого. У нее тотчас после разрешения от бремени началась родильная горячка.

Прибежала мать, вызывали ворожею и Секлетею, знахарку. Больную обмывали, поили травами, заговаривали — не помогало ничего.

Гадали, что делать с младенем (Нюша опять принесла мальчика). То ли искать кормилицу, то ли выпаивать ребенка козьим молоком из коровьей титьки? Спор разрешила Катерина, сама недавно родившая, которая решительно унесла ребенка к себе:

— Выдумают, тоже, кормилицу! Кака еще и придет, поди их разбери! — сердито проговорила она,— у меня самой молока хоть залейся! Надо — и троих выкормлю!

Потянулись томительные часы, дни, когда Нюша была между жизнью и смертью. Жар наконец спал, и она пришла в сознание, но таяла, как свеча. Женщины, сменяясь, не отходили от больной. Варфоломей, забросив все дела, тоже сидел у Нюшиной постели в очередь с братом. Ему было тяжелее, чем Стефану. Он знал, что это конец.

Нюша то плакала, то жаловалась, просила помочь, капризила, словно малое дитя. Несколько раз просила принести ребенка, даже брала на руки. Слабым голосом прошала у Стефана:

— Как назовем?

Посчитав сроки, Стефан назвал несколько святых. Остановились на Иоанне.

— Ванятка! — тоненьким детским голоском прошептала Нюша и попробовала улыбнуться.

Варфоломея она, когда он приходил, брала за руку и подолгу не отпускала, не позволяла отходить. А когда он сменялся, упрекала шепотом:

— Покидаешь, да?

— Стефан придет! — отвечал Варфоломей.

— Степан...— Нюша прикрывала глаза.

День ото дня ей становилось все хуже. Похоже было, что и крестить ребенка придется уже без матери...

Варфоломей пытался всячески разговорить, успокоить Нюшу, обещал скорое выздоровление. Она слушала, и непонятно было — верит или нет? Верно, ей очень хотелось верить, что так и будет.

...В этот день Варфоломей припозднился с делами и, когда подходил к Стефанову дому, невольно ускорил шаги. Стефан стоял на крыльце и ждал брата.

— Тебя зовет! — выговорил он хмуро.

— Очень плоха? — вопросил Варфоломей. Стефан, не отвечая, махнул рукою и пошел как-то вкось, деревянно шагая, в глубь сеней.

Нюша лежала тихая-тихая, почти не дыша. Ему показалось даже, что она спит. Но Нюша, заслышав шаги, тотчас открыла глаза.

— Ты один? — Варфоломей кивнул и уселся на скамеечку, рядом с постелью, нашаривая исхудалые Нюшины пальцы.

— Сейчас Катя придет,— сказала Нюша без всякого выражения и замолчала. Пальцы ее были холодны и даже не ответили на его пожатие. Он вздумал было вновь утешать ее, но Нюша слабо, как отгоняя муху, отмахнула головой и спросила, глядя мимо него, в пустоту:

— Скажи... Не обманывай только! Я умру?

Варфоломей склонился к постели, беззвучно зарыдав. Когда-то он так же точно не мог соврать умирающей маленькой девочке. Но сейчас ему было тяжелее во сто крат.

— Да,— прошептал он. Нюша с трудом подняла руку и огладила его разметавшиеся кудри.

— Не плачь! — сказала она.— Мы встретимся с тобою там, да?

— Да! — захлебываясь слезами, не подымая лица, отмолвил он.

— Я была такая глупая! — задумчиво протянула она,— глу-у-упая, глупая! Больше такая не буду... Помнишь ты мне сказывал про Марию Египетскую? Мне надо было вместе с тобою уйти в монастырь! Ну, не вместе, а где-нибудь рядом... И приходить к тебе на исповедь каждый год. Нет, каждый месяц! Или лучше по воскресным дням... Ой! Кто там? — испуганно выкрикнула она, уставясь в темный угол.

— Никого нет! — отмолвил Варфоломей, невольно поглядев туда же.

Нюша говорила все торопливее и торопливей и уже явно начинала заговариваться. Темно-блестящий взгляд ее сделался недвижен, а рука заметно отеплела. У нее подымался жар...

Как давно это было уже! И словно все повторяется вновь: Стефан, испуганный, стоит за дверями, а она — девочка Нюша — умирает у него на руках...

Хлопнула дверь. Катя от порога спросила:

— Жива?

— Жива еще! — помедлив, ответил Варфоломей и прошептал тихо, самому себе: — Еще жива...

В комнату постепенно собирались женщины. Вошла мать. Потом попадья.

Нюша бредила, взгляд ее сделался мутным, она уже вряд ли узнавала кого. Варфоломей встал и вышел на улицу. Стефан стоял в сенях и плакал, зарывшись лицом в Нюшин тулуп.

Нюшу обряжали вечером. Обмыли, переодели, положив на три дня в открытую домовину. Много суетились, много плакали. Приходил, ведомый под руки, отец. Мелко покачивая головою говорил с покойницей как с живой, в чем-то упрекал, за что-то хвалил ее. Приходили Нюшины подружки, родственницы и матери подружек. Дьячок из церкви читал над Нюшей часы.

Дома варили кутью, готовили поминальную трапезу. Катя сердито раскачивала колыбель с маленьким Ванюшей, приговаривала ворчливо:

— Етот-то будет жить! Ишь, голосина какой! Беда, матки нету на тебя, пороть-то тебя будет некому!

Варфоломей наклонился над колыбелью (младенец тотчас затих и зачмокал ртом) и осторожно поцеловал крохотный лобик. В этом ребенке теперь осталась ее душа...

Когда колоду с телом уже опустили в могилу, засыпали землею и, утвердив крест и разделив кутью, разошлись, Варфоломей задержался на погосте. Отойдя в сторону, он поглядел на небо. Холодное, оно еще хранило отблеск угасшего солнца, и легкие лилово-розовые облачка, просвеченные вечерними лучами, прощально сияли над землей, прежде чем потускнеть и раствориться в сумерках ночи.

«Я была такая глупая, больше не буду!» — донесся до него тихий голосок. Оттуда? С высот горних? Или с погоста?

Оглянувшись, он заметил вдалеке высокую фигуру Стефана, что брел, шатаясь, в сторону леса. Варфоломей догнал брата, тронул за рукав. Стефан оглянулся, глаза его почти безумно сверкнули.

— А-а, это ты!

— Идем домой. Ждут,— выговорил Варфоломей. Стефан поглядел слепо, двигая кадыком, силясь что-то сказать. Наконец разлепил тонкие губы:

— Перст Господень! Судьба... Должен был сразу... Разом... Все оставить... Оставить мир... Должен был уйти в монастырь... Да! Да!

За дело! Поделом мне! Поделом! Поделом! Боже! — выкрикнул он, давясь в диком смехе и рыданиях, — почему ее, а не меня?!

Варфоломей силой увел его с погоста.

Глава 16

Стефан ушел в монастырь сразу же, как отвели сороковины по Нюше. Дом и добро передал Петру, ему же с Катею вручил на руки обоих младенцев.

Смерть Нюши и уход Стефана осиротили семью. Отец сразу сник, начал забываться, почасту сидел, уставя глаза в пустоту, и что-то шептал про себя. Мать перебирала какие-то тряпки, доставала старинные выходные порты из сундуков, молча прикидывала, думая свою, тайную думу. Единожды сказала, без выражения, как о решенном:

— Мы с отцом уходим в монастырь. К Стефану, в Хотьково. Там и женская обитель недалеко.

Варфоломей этого ждал, и потому только молча склонил голову.

— Вот, сын! — прибавила Мария, усаживаясь на край сундука и бессильно роняя руки на колени,— вот, сын... Живешь, живешь, сбираешь, копишь, а для чего оно? Все истлело, изветшало, исшаяло, как и мы с родителем твоим! Чаю, недолго уже и проживет старый... Да и мне без него незачем больше жить. Скоро освободим тебя, Олфоромеюшко! Ты уж потерпи...

Варфоломей сделал безотчетно самое верное: подошел к матери и молча приник к ее плечу. Больше они об этом не говорили.

Вскоре в доме началась деловитая суета прощаний, сборов, вручения вольных грамот последним оставшимся холопам. Уходя в монастырь, Кирилл отпускал на волю всех.

Отбирали что поценнее на продажу, на вклады в монастыри — останнее серебро, рухлядь, иконы и книги. Как мало оставалось от прежних ростовских богатств боярина Кирилла! Насколько богаче были они в своем старом дому, уже разоренные, уже приуготовившиеся к переезду в Радонеж! И какою ненужною суетою выглядели все эти скудные остатние сокровища боярской семьи! Жизнь кончается, и кончается все. Ничего не унесешь с собою. Ничего или почти ничего не оставишь от себя на земле! Все почнет рассыпаться прахом, стареть и ветшать прямо на глазах. И лучше, много лучше поступить по обычаю, раздав одежды нищим, а драгую утварь — церкви, на помин души. То, что надобно человеку, он всегда создает сам. Не потому ли и Христос заповедал не скапливать богатств тленных, кои червь точит и тать крадет?

Варфоломея мать благословила семейною иконою Богоматери. Отец вручил ему образ Николая Мирликийского. Несколько служебных книг, труды Василия Великого — вот все, что оставалось ему и с чем он вскоре уйдет в монастырь.

Варфоломей сам отвозил родителей в Хотьково. Сам передавал вклады и договаривался с игуменом.

Отец, принявши постриг, вскоре слег, и уже не вставал. Брат, с которым он поместился вместе в келье, ухаживал за Кириллом Господа ради, отказавшись от предложенной Варфоломеем платы.

Стефан также почасту сидел у отца. Два монаха, отец и сын, они почти не разговаривали друг с другом, разве Кирилл просил подать воды или помочь поправить взголовье. Оба молчали, каждый о своем. Так же молча Стефан вставал по звуку монастырского била, когда начиналась служба, и Кирилл молча кивал ему, разрешая уйти. Только раз как-то и вопросил Стефана, с отдышкою, глядя в потолок:

— Тута останесси? Али куда на Москву, может? — И в голосе просквозила робкая надежда на то, что сын, в коего Кирилл вложил некогда все силы своей души, все-таки не посрамит чести семьи, достигнет, досягнет, хотя бы и на духовном поприще, достойных их прежнему боярскому званию высот. Стефан понял невысказанную мысль отцову, кивнул, отмолвил кратко:

— Может быть. Подумаю, отец.— Не хотелось огорчать старика, хотя сейчас, после смерти Нюши, всякие мысли о суетном преуспеянии покинули голову Стефана, и хотел он — так, по крайней мере казалось ему самому — только одного: уединения.

Варфоломей навещал родителей изредка. Надо было опять пахать, снова сеять, вести ненужное ему хозяйство, хотя бы ради того, чтобы отец с матерью могли умереть в покое, не заботясь тем и не гадая о домашних делах, и чтобы после всего передать дом и землю Петру непорушенными.

Осенью он отвез в монастырь два воза с обилием: хлебом, мясом, рыбой и разноличною овощью. Отец был уже очень плох, и смерти его сожидали со дня на день. Варфоломей рассудил, довершив домашние дела, воротиться в монастырь и пожить тут, послушествуя, до кончины родительской.

Земля уже подмерзла. Конь весело бежал по отвердевшей дороге, и первые белые снежинки, нерешительно порхая над землею, садились ему на ресницы и щеки, тут же истаивая и превращаясь в крохотные капельки воды, когда Варфоломей возвращался в монастырь. Всю дорогу он волновался: застанет ли отца в живых? И только ступив на монастырский двор увидел, что не опоздал. Отлегло от сердца.

Из кельи отца как раз выходила худощавая высокая монахиня — сиделка. Вглядевшись, он узнал мать. Поклонился ей в ноги (чуть было не бросился на шею). Мария всхлипнула; крестя сына, выговорила:

— Иди скорей, отходит! Вчера соборовался уже.

Кирилл с трудом признал Варфоломея. Взгляд его становился мутен, руки, беспокойно перебиравшие одеяло, уже плохо слушались старика. Прошептал:

— Петюня где?

— Послезавтра приедет,— коротко отмолвил Варфоломей, тотчас понявши про себя, что младший брат уже не застанет отца в живых.

Кирилл начал отходить к полуночи. Умирал тихо, только два-три раза и вскинулся, всхлипнул беспокойно. Дыхание все слабело и слабело и, наконец, остановилось совсем. Варфоломей закрыл глаза отцу. Скрипнула, отворяясь, дверь кельи.

— Уже? — спросил Стефан.

— Уже,— помедлив, отозвался Варфоломей.

Стефан стал рядом, и оба начали читать заупокойный тропарь:

«Со духи праведных скончавшихся душу раба твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче!

В покоищи твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба твоего, яко един еси Человеколюбец!

Ты еси Бог, сошедший во ад, и узы окованных разрешивый, сам и душу раба твоего упокой!

Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его!

Слава Отцу и Сыну, ныне и присно, и во веки веков...»

Отца хоронили истово, соблюдя весь сложный чин монашеского погребения. Отпевал родителя сам игумен. Сколько здесь было неложного уважения к покойному, сколько благодарности за нескудный вклад в монастырь, Варфоломей не стал гадать.

Мать слегла тотчас после погребения отца. У нее ничего не болело, но она почти перестала принимать пищу и тихо угасла, не дотянув двух дней до Рождества. Похоронили ее на монастырском кладбище, рядом с отцом. Упокой, Господи, в высях горних души усопших рабов Твоих, Кирилла и Марии, и дай им вкусить, за все их труды земные, вечный покой!

Варфоломей оставался в монастыре до сорокового дня. «Закрыл глаза родителям и покрыл их землею, со слезами» — как и обещал матери. Справил все полагающиеся службы и требы, устроил вечное поминовение: «Украсил память их панихидами и литургиями, и милостынями ко убогим и нищим» — сказано в Епифаньевском житии.

Когда он уезжал из Хотькова, стоял один из тех теплых дней позднего февраля, в которые кажется, что уже наступила весна: подтаивает снег, обтекают и звонко ломаются сосульки на южных свесах крыш, и в воздухе веет тонким обманным ароматом прозябания.

На душе была светлая радость. Не потому только, и даже вовсе не потому, что радость пристойно испытывать христианину, проводив любимых своих в жизнь вечную из этой, временной, полной страстей и печали земной жизни. И не потому, что ему было только лишь двадцать два года и в воздухе обманно пахло весной. Нет! Он вспоминал сейчас мать такою, какою она была в его раннем детстве, и отца иного, высокого и еще полного сил,— словно бы сейчас, сбросив с себя изветшавшую плоть, они становились вновь, и уже навечно, прекрасны и молоды. И похоронены они были пристойно, и оплаканы детьми, и отпеты, как надлежит христианам, и упокоены в гробах на кладбище, а не зарыты кое-как при дороге, как зарывают иного бедолагу, которого нужная смерть пристигнет в пути.

Пристойно, даже торжественно закончен круг жизни. И теперь только Превышний Творец станет ведать дальнейшую судьбу своих усопших рабов. Окончен круг жизни достойно прожитой, в постоянных, неусыпных трудах и постоянном преодолении несовершенств и немощей плоти. И от сознания того, что круг их земной юдоли наконец завершен, на душе и была светлая радость покоя. Светло смотрелись подтаявшие, притихшие леса, уходящие в вечерний сумрак, светло и ясно гляделось небо над примолкшей землей.

Настанет весна. Осядет снег. Братия заботливо поправит сырые холмики недавних захоронений. Посохнет, посереет земля. Затравенеют могилы. Высокие былинки станет покачивать ветер, ведя свои, еле слышные, разговоры с травой...

Он поднял голову. На вечернем небосклоне выцветал гаснущий бледно-охристый свет, а сверху, на отемневшей синеве неба, зажглась одинокая звезда.

В этом мире у него теперь не осталось уже никого, кроме Господа.

— Вижды! И прими меня в волю свою! — прошептал Варфоломей, подымая чело, на которое неживою тенью упал вечерний гаснущий отблеск зари.

Дорога в монастырь, дорога, по которой он медлил пойти ради них, дорогих сердцу его существ, давно задуманная дорога, на коей его вновь обогнал Стефан, лежала наконец-то открытою перед ним.

ВИКТОР КОРОТАЕВ

РОДИНА — ТОЛЬКО ЗДЕСЬ

Малина

Говаривала с чувством Катерина,
Соседскую оглядывая дочь:
«Снабдил Господь... Не девка,
а малина!
Да наши дурни — все обочь,
обочь...»
Отнекивались парни и с досадой
Оборонялись выпадом таким:
«А может, нам малины и не надо,
А может, мы смородины хотим!»
Но сами все косили глаз, косили
Туда, где, озаряя небеса,
На фоне разгорающейся сини
Светилась древнерусская коса.
Коленки загорелые мелькали,
При каждом шаге вздрагивала
грудь...
Во все века подобные детали
Мужчинам загораживали путь.
И суть понять мешали —
вот проклятье.
Да что там суть, в любые времена
Она ведь не застывшее понятье,
И без деталей тоже не полна.
Покамест «то да сё»,
да «трали-вали»,
Болтали да мели туда-сюда...
А кто-то оценил, видать, детали
И умыкнул малину в города.
Случись бы это раньше —
сразу драка.
Теперь — борьба за качественный
труд.

...А парни дома нежатся, однако,
Что скоро и смородину упрут.

КОРОТАЕВ Виктор Вениаминович родился в 1939 году в Вологодской области. Окончил педагогический институт и Высшие литературные курсы. Автор многих книг стихотворений и прозы, в том числе «Экзамен», «Жребий», «Мальчишки из далеких деревень», «Липовица», «Славянка», «Единство» и других. Член СП СССР. Живет в Вологде.

Здесь бесновались турки.
И то известно нам.
Выделывали шкурки
Те турки —
Я те дам!
И русского солдата
Направили сюда.
Отпрянула куда-то
Турецкая орда.
И вот забылись турки
И русский тот солдат.
А новые придурки
Не знают, что творят.
Пускай они не знают,
Придурки,
Ничего.
Но — память оскверняют
Солдата моего.
Играют с нами в жмурки,
Юродствуют порой.
Но знают же,
Что турки —
За ближнею горой.

✦✦✦

* * *

Извините, господа:
Вы попали не туда.
Здесь тяжелая вода,
Здесь хреновая еда.
Тут могильные кресты,
Выше горла нищеты,
Вдоволь грязи и дерьма,
Шлакоблочные дома,
И высокая тюрьма
Заслонила терема.

Что поделать, господа:
Вы попали не туда.

Но, представьте,
Только здесь
Мы свою познали
Честь,
Здесь детей своих растим,
В небеса пускаем дым,
Хлеб жуем и водку пьем,
Тут и плачем, и поем.
И отсюда никогда
Не сбегали никуда.
Потому что только здесь
Наша родина и есть.
Ну, а горе —
Не беда.

Лучше выпьем, господа!

✦✦✦

* * *

А вечер тих. И свеж притом.
И вымыт честь по чести.
И все идет своим путем.
А сердце не на месте:
Сгорает в адовом огне,
Над бездной зависает.
Его, как лодку на волне,
И треплет, и бросает.
Тут зубы стисни — и держись:
Не в доме на соломе.
Вся наша будущность и жизнь
Опять на переломе.
Все наше прошлое горит,
И нет конца напасти.
И снова шкурник и бандит
Карабкаются к власти.
В глубоких бороздах
Чело,
Бугры
На каждой жиле.

Живется что-то
Тяжело.
Но, видно, —
Заслужили...

ПРОЗА

ВЛАДИМИР ЧУГУНОВ

ДЕРЕВЕНЬКА

ПОВЕСТЬ

Всё это вспоминается мне, как во сне. Всплывают перед глазами светлые дни моего детства, той счастливой поры, когда не помнишь, что было раньше, а что потом, и в общем-то это не важно, в памяти отчетливо сохранились лишь эти коротенькие эпизоды, но такой удивительной яркости, что хорошо помнятся даже запахи, выражения лиц, глаз, голосов, как это бывает только во сне. Но сон этот — жизнь, «иже не без конца», ибо он — детство, которое, чудится мне, начинается с того цветущего сада, за глиняной стеной хлева, с соломенной крышей, с того толстого дубового бревна, на котором сидит дедушка и, щуря подслеповатые глазки, смотрит на блестящую в грядках укропа, моркови, гороха росу. Я сижу рядом в черных трусишках, босенький, усердно натягиваю их на покрывшиеся коростами колени и зажимаю большим пальцем пупок, кажущийся мне чем-то лишним на моем гладком, сытеньком животе.

— Что ты ёво припёр? Ай стыдишься? Не тро-ож, — говорит дедушка. — Ты, милок, через ёво мамку в утробе сосал, и это тебе знак, что «земля еси и в землю отъидеши», когда помрёшь.

— Да разве я помру, деда?

— Нешто ты лучше других? Все помрем, милок, — говорит спокойно дедушка. — Одни преже, другие маленько погодя, конец один.

Тут я вспоминаю серое лицо лежащего в гробу крестного, которого хоронили прошлой осенью, и спрашиваю:

— И всех в гроб закопают?

— Ага. Все-ех, — отвечает дедушка, достает кисет и сворачивает «козью ножку».

Я смотрю на него, и меня страшит его спокойствие. Бабушка, пропалывающая неподалеку репу, с трудом разгибает спину и говорит:

— Что ты робенка пугаешь?

— Чтой-то я ёво пугаю? — возражает дедушка. — Ты ай напугался, милок?

— Не-ек! — храбро отвечаю я и, задыхаясь от переполняющего меня чувства хвастливости, говорю: — Я даже и собаков не боюся, и коровов, и волков.

— Правильно. Волков бояться — в лес не ходить. А человеку о жизни нужно твердое понятие иметь. Правильно я говорю? — (Я киваю согласно головой.) — Ну вот. А ну сказывай сию минуту: отколь дети берутся?

— Из животов! — бойко отвечаю я.

— Та-а-ак, — одобрительно кивает головой дедушка. — А каким макаром они туды попадают?

— Ветром надуло! — отвечаю я дедушкиными же словами, когда он на ба-

бушкино сообщение о том, что какая-то «Евдокея опять забрюхатела», сказал: «Никак, ветром надуло».

— Молодец! — одобрительно говорит дедушка и гладит меня по голове.

Бабушка качает головой на деда и безнадежно вздыхает. Дедушка доволен, и я доволен, размышляя о том, что животы, вероятно, появляются лишь у тех женщин, которые ходят разиня рот.

На горизонте, немного левее задымленного туманцем солнца, из бобовой грядки показывается светлая и жесткая, как солома, Сашкина шевелюра. Сашка мне двоюродный брат, я у него в гостях, ему четыре года, и он на два года младше меня, в руках у него деревянная сабля, в другой — бобы.

— А-а-а, явился, пропадущий, — говорит дедушка. — А ну сказывай куда табак с проткиня подевался?

— А я яму столи столозом нанимался? — отвечает Сашка, жуя бобы.

— Вона! А ну поди сюда. Иди-иди.

— А длаца не бус? — спрашивает Сашка, не двигаясь с места и шмыгая носом.

— Да с тобой не то что драться — тебя надо сечь и сечь, как сидорову козу, и держать на привязи за баней.

— А твой сёлтоз Хлусёв кукулузы насазал! СэНэХэ, СэНзХэ, — дразнится Сашка.

— Как?

— СэНзХз, — говорит Сашка и расшифровывает: «Стлане Нузэн Хозяин», — теперь наоборот: «Хозяин Насолса Сам». «Самый Настоясий Хам». «Хлусёв Никита Сильгеисъ».

— Аяй! Это кто же тебя научил? А если тебя за это в тюрьму?

— А я их там всех мицанелоз лас, лас, — машет он саблей. — Они и здохнут.

— Герой, геро-о-ой! А коли я отцу скажу, что тогда?

— Не сказыс.

— А вот и скажу.

— А я тада тибя залезу!

— Это еще что за разговоры? — возмущается бабушка. — Ты как это, изверг, с дедком разговариваешь, а? Вот я тебя сейчас.

Она быстро пробирается меж грядок. Сашка летит сломя голову и ныряет в заднюю калитку. Я бегу следом, зная, что сегодня ему попадет. Пробегая тропинкой меж вишен, я срываю на ходу одну ягоду и кладу в рот.

На задах, за баней, недалеко от мусорной ямы, построен Сашкин шалаш, с видом на кукурузное поле. Внутри, на соломе, железное колесо от сенокосилки, маленький кнут, которым Сашка хлопает, как заправский пастух.

— Холос, — говорит Сашка, запихивая в рваную полевую сумку свежие початки кукурузы, — ухозу в голот. Зынюсь и буду на масыне лоботать.

— А меня покатаешь?

— А как зы, — говорит Сашка, шмыгая носом. — Я слазу на двух масынах буду лоботать. На одной, как у твозо отца, а на длугой просто так, как у Петлухи в буквале. «Зим» называца.

Сашка тревожно прислушивается, поднимается и поддергивает штаны. Мы идем деревней, перебираемся по жердочкам через речушку и тропинкой в бурьяне поднимаемся на холм, где расположен верхний порядок. Внизу до рези в глазах сверкает речка Казыевка, заляпанная лаптями кубышек, на которых частенько дремлют жабы. Сашка безжалостно расстреливает их из рогатки каждый день, чтобы шел дождь, а дождя почему-то все нет. За деревней — поля, сияющий, как осколок солнца в траве, пруд, тонкая прослойка леса, какое-то огромное село с голубенькой церковью, опять леса, синий холм над ними и целые нагромождения облаков. Куда ни глянь — кругом небо, просторы, дали. И сердечко мое стучит от восторга, как у воробья.

Из-под лопухов неожиданно вылезает будто специально вывалявшаяся в пыли Светка Козлова. Глядя на решительную Сашкину походку, на сумку, спрашивает:

— Кудай-то зы настробучились?

— На кудыкины голы, где зывут волы, — отвечает Сашка, не останавливаясь.

Светка бежит за нами, дергает меня за руку.

— Ну куда, а, куда?

— В город, — говорю я. — На машине кататься.

— А можно мне с вами?

— Ысо баб нам не хватало, — говорит Сашка

— Сам ты баба! Акулина Рогова, родила безногова! Э-э! Э-э!

— Не баба, музык, — говорит Сашка и вытирает рукой сопли.

Светка начинает дразниться:

Неотвожа, красна рожа,
На татарина похожа!
Семьсот поросят —
Все на Сашке висят!

Сашка кидается за ней. Светка летит, сверкая пятками, по улице. Потом останавливается и, высунув язык, кричит:

— Э-э! Э-э! Все расскажу, куда подались!

— А я тебя залезу! — кричит ей Сашка.

— Куда залезешь? — не понимая, спрашивает Светка.

— Не залезу, а залезу.

— Дурак! То залезу, то не залезу! — говорит Светка и убегает.

Мы идем по горячей пыли, ржаным полем. Мне жарко и хочется пить. Я вспоминаю бабушкин квас, что всегда стоит в сенях в ведре, ядреный, холодненький, только из погреба. Зачерпнешь, бывало, ковшом и выпьешь залпом. И застреляет в нос, и выступят на глаза слезы.

— Квасу бы, — говорю я.

— В голоде напьёмся, — говорит Сашка.

— Это еще когда-то, я пить хочу.

Мы останавливаемся, оборачиваемся и смотрим на деревню, от которой отошли с километр. Мне становится страшно: а ну заблудимся.

Идем дальше. Навстречу едет телега, на телеге дяденька.

— Это куда намылились, гавша? — спрашивает он, поравнявшись с нами, придерживает лошадь, которая, казалось спала на ходу. — Тпру! Стоять! Стоять, халява! Ну, что молчите?

— В голот, зыница, — говорит Сашка.

— Жениться? А-яй! А женилки у вас выросли?

Сашка вопросительно смотрит на меня, я на него, и мы оба на дяденьку.

— Какие зынилки? — спрашивает Сашка.

— А вот полезайте-ка сюда. Приедем в деревню, я вам покажу какие.

Мы быстро забираемся по колесу на телегу.

— Но, халява! — дергает дяденька вожжами, и телега трогается. — Значит, говоришь, жениться собрался. А что вам деревенские девки али не по нраву?

— Не-ак! — говорит Сашка.

— А-а, ну тогда другой разговор.

Некоторое время едем молча, и меня начинает клонить в сон. — Вы бы хоть спели чего, а то скучно с вами ехать, — говорит дяденька зевая, и Сашка запевает:

С неба звездоська упала
Пляма мне в калосыну.
Не пойду в колхос лоботать
За одну калтосыну.

— Вот-вот! Молодец, хорошо!

Сашка, ободренный, улыбается и затягивает следующую:

С неба звездоська упала
Пляма Гитлелу на нос.
Вся Гелмания узнала,
Сто у Гитлела понос.

— Ага! Так ёво!

Сашка начинает следующую.

В систом поле ветел свисет,
Солок гладусов молос.

На кладбиссе кисий длисет,
Плохеатил ёво покос.

— А-яй! Что это они у тебя все распоносились?

— Назлались сиво-нибудь.

На конюшне дяденька снимает нас по очереди с телеги и говорит:

— А теперь марш домой. Женихи!

— А зынилку посто не показыс?

— Женилку? Это тебе батька покажет. Придешь домой, так и спроси: покажи, мол, женилку. Он тебе и покажет.

Не помню, спрашивал Сашка или нет, но взбучку получил хорошую и, забравшись ко мне на печь, в овечьи шкуры, сказал:

— Я их всех залезу.

* * *

— Баушк, а баушк, ну расскажи-и... — клянчу я.

— Ай не умаялся за день-то бегамши? Не спится, что ли?.. Не знаю, чего тебе и рассказать. Ну слушай, соколик, коли не спишь. Буду со стола прибирать да сказывать. Шли, стало быть, раз обозом сено в город торговать на ярманку. На вторые сутки, еще засветло, поднялся ветер, нанесло туч, стемнело, снег повалил. Ничегошеньки не видать. Дорогу смело, куда ехать, не знаем. Становимся на ночлег, лошадей выпрягли, стреножили, сами в сене зарылись, лежим. Дед мой захрапел, а я дивлюсь, как это снег ладно играет. Вдруг из метели как образина какая: ведьма не ведьма, кикимора не кикимора, а такая как бы не соврать, страшила несусветная, не приведи Бог кому увидеть. Космы-ти по ветру вьются длинные, на концах узлы завязаны, глаза огнем горят синим, как порой угли в печи, а лапы, ну ровно медведихи. Как это она схватит меня! Как это я закричу! Ну и проснулась. Глядь — мама родная! — на снег и глядеть без слез нельзя! Небо как окиян опрокинутый. Сани наши присыпало с боков. Мне говорят: «Штой-то ты, Марфа, кричишь?» — «Образины, мол, напужалася...»

Смыкаются веки, урчит под мышкой Барсик, попискивает над ухом голодный комар. хорошо. Кончается одна история, начинается другая. Голос тихий, ровный.

— ...И тогда выполощет матушку сыру землю, как скорлупу яичную, как девицу непорочную, как харатию белую, как вдову благочестивую. И будет тогда все не так. Не будем мы боле ни сеять, ни жать, ни косить, ни молотить, потому что все само собой рости будет.

— И кукулуза? — спрашивает Сашка.

— Аба! И этот не спит! — всплескивает руками бабушка. — А ну живо спать. Глянь в окно! Слышишь, стучит? Слышишь, ходит? — Она сама стучит по стеклу, топает ногами и спрашивает: — Кто там? А-а-а, это ты? Ну-ка, ну-ка их... — и говорит нараспев:

Ходит Дрема
Возле дома,
Ходит Сон
Близ окон.
И глядят:
Все ли спят?

Бабушка задувает лампу, становится темно и в темноте страшно. Мерещится это лохматое, косматое, рогатое чудище Дрема, заглядывающее в наше окно.

— Слысыс? — спрашивает Сашка.

— Ага...

И мы натягиваем на головы байковое одеяло.

* * *

Чуть брезжит свет — ни ночь, ни утро. Сашка качается и так аппетитно зевает, что, глядя на него, у меня самого начинает сводить рот. Я смотрю на дорогу, слегка подернутую туманом, заползавшим от реки. Слышится хлопанье кнута с последующей дробью эха, покрик: «От оне-то! По-ошли-и! А-яй!» показывается стадо, лениво бредущее по дороге. Передом семенят козы, овцы продвигаются клином, сбившись в кучу, опустив головы к земле, коровы вышагивают по-хозяйски степенно, как дородные женщины, в развалочку, телята бодаются, бегут бодро.

Когда стадо минует мосток, мы видим дедушку и бежим к нему с криком. Коровы шарахаются от нас, останавливаются, поворачивают головы и поводят носом. За деревней стадо пускают под уклон, в сторону пруда, под Гнилушу, как говорит дедушка, и оно рассыпается по долу. Солнце встает огромное, сначала бледно-розовое, потом желтеет, напоминая маковку храма. Легкий туман стелется по земле. Солнце накаляется на глазах, парит под его чистыми лучами земля, над прудом туман густеет и висит облачком у самой воды.

— Эк ведь играет! — говорит дедушка.

И, поглядев на солнце подольше, я точно вижу яркий огненный полумесяц, бегающий по окружности то в одну, то в другую сторону. Трава блестит до рези в глазах, а волосы становятся влажными.

— Опять жара будет, — говорит дедушка. — Чай, кукуруза вся, к лешему, посохнет!

Он недовольно усмехается и достает кисет, а я представляю мягкие молодые початки, прозрачные, сладкие, сочные зерна, укутанные желтыми шелковистыми волосиками.

Дедушке помогает молодой мужик, Гриша-дурачок, или убогий, как зовут его в деревне. У Гриши сытое, румяное лицо, здоровый, цветущий вид и ясный, светлый взгляд карих глаз. Бородка курчавится слегка и растет не в длину, а вширь. Гриша помогает всякому, кто ни попросит и чего ни попросит, чем и пробавляется. Я ни разу не видел его унылым. Когда его просят прийти помочь, он всегда отвечает: «Хорошо, если не помру я только!» И так весело при этом улыбается, словно помереть для него — самое простецкое дело. С Гришей мы быстро находим общий язык, и он тут же начинает нас поучать.

— Вот, допустим, пошла с обеда скотина влево али вправо, боле, против ветра, чтобы морду от мух обдувало, ты тут могри не ворочай — пути не будет. Сзади не становись, а лучше сбоку али впереди и придерживай, которы бегут, а зад сам подтянется. Иной раз глядишь, трава с наперсток, а они шишат и шишат. Махонькая трава, да едкая. И по-своему завернешь, только ноги до жопы изотрешь бегамши! Ни! Пустое дело.

— Гриша! Глянь, корова в посевы пошла! — кричу я.

Гриша, как сокол, кидает взгляд на корову, узнает, чья, и орет во все горло с каким-то урчанием, точно во рту у него немного воды:

— Малютка-а-а! Куда пойдешь, блудня?

Корова встает как вкопанная, поворачивает ухо?

— Я-а тебя! У ты, блудня! — грозит ей Гриша кулаком.

Корова поворачивает назад, виновато нюхая траву и глядя на Гришу. Коз он сгоняет от усадов одним окриком: «Каза!» И стройные, изящные козочки с игривой припрыжкой сыпят в дол. Ходят они отдельно, как аристократы, и не едят ту траву, которую едят коровы и овцы.

Повелевать Грише нравится, послушание блудливых коров вызывает на его лице удовольствие. «Сиди, Ляксеич», — говорит он всякий раз дедушке и сам бежит заворачивать стадо.

Когда ставим стадо на стойло, у пруда, идут от села хозяйки в светлых кофточках, цветных, ярких юбках и белых платочках, подойницы зеркально сверкают на солнце. Коровы встречают их дружным гудением.

— Ух! Как на свадьбу идут! — говорит Гриша, снимает фуражку, три раза крестится и кланяется на восток, приглаживает волосы и говорит: — Слава Богу, Ляксеич, справили. Ну а завтра я тебе не помощник, ты уж не обессудь. Причащаца пойду. Натоплю ноне баню, напарюсь, рубаху чисту надену — и по холодку айда в Егорьевское. Не хочешь, Ляксеич?

— Хошь не хошь, — отвечает дедушка, — а пасти надо, раз черед пришел. Не Сашку же к стаду приставить.

— А сто, я мозу! Я их всех этих, залазов, лас, лас... — отвечает Сашка и щелкает своим кнутом.

— Гриш, а что завтра за праздник? — спрашиваю я.

— Слышь, Ляксеич? Троица, — отвечает Гриша с уважением к празднику.

— А-а, — протягиваю я и, подумав, опять спрашиваю: — А что такое Троица? Это когда на конях катаются?

— Не-э! То масленица, а это Бог-троица. Это значит — три Бога в одном Боге. Понял, да?

— Это с тремя головами, что ли?

— Это Змей-Горыныч с тремя головами, — отвечает Гриша, очевидно, затрудняясь с ответом. — А это такое... значить... во-о-от такое, во-о-н там, — показывает он мне на небо, где нет даже и облаков. — Только не видно. Ну, такое... Ну, понял, да?

Я смотрю на него, ничего не понимая, но значительный и серьезный вид его, с которым он мне пыжится объяснить, внушает мне доверие и нагоняет страх, как бабушкин Дрема.

— Ну, када подрастешь, сам догадаешься, а сичас ты ышо бестолковый, — говорит Гриша.

Дедушка сидит посмеиваясь.

Приходит бабушка, приносит обед. Пока стоит возле нас, Зорька крутится рядом, гудит, как товарняк, тычется черным влажным носом в бабушкины руки.

— Да на, на, неудашная! — сует ей бабушка кусок хлеба.

Зализав кусок свинцовым шершавым языком, Зорька жует, блаженно прищурив глаза, которые тотчас облепляют мухи, и она обмахивает мух ушами. Бабушка моет ей вымя, смазывает соcцы вазелином, тянет, разминая, и начинает доить.

— Ну, что не даешь? — говорит бабушка Зорьке. — Что поджала? Давай, давай. Ишь, заели ее! Гляди, неженка какая! Зорька-а, щас кнутом свяжу! Стой, тебе говорят!

Зорька дрожит шкурой, мотает головой вправо и влево, иногда, как из ружья, выстреливает носом — чихает, а потом чистит нос, засовывая то в одну, то в другую ноздрю конец длинного языка. Я хохочу, глядя на нее. Зорька косит на меня красивым фиолетовым глазом и обмахивается хвостом, сбивая у бабушки платок.

Измучившись, бабушка разгибает спину.

— Что, мать, никак? — спрашивает дедушка.

— Что ты с ней будешь делать? Не сдает, и все. Полтора кубана и того не сдала. Зорька, уйди!.. Ай! — вскрикивает она, заметив, что Зорька походя зализала тряпку, которой ей обтирали вымя. — Отдай, отдай, дуреха!

Она норовит выхватить у нее тряпку. Но Зорька игривой рысцой, раскачивая из стороны в сторону тяжелым выменем, трусит к стаду, заглатывая на ходу тряпку.

— Эх ты, кулёма эдака! А! Я вот тебе, ужо придёшо, задам!

Зорька, прекрасно понимая, что ничего ей не будет, останавливается, смотрит на бабушку, слушает и начинает укладываться, подгибая сперва одну, а затем другую ногу, и, как мешок с зерном, валится на бок, выдыхает как спускающее колесо машины, воздух и жует серпу.

Гриша, разгладив бороду, благодарит за обед:

— Хороша похлебка, тетка Марфа! Золотые у тя руки! Дай Бог тебе что хочется и еще маненька. Бог спасет.

— Во славу Божью, — отвечает бабушка и, собрав пустые миски в корзину, уходит.

После обеда ложимся в тенек отдохнуть. Но даже и в тени, под ветлой, так жарко, что я не могу долго заснуть. Мухи лезут в уши, в нос, кусаются, жужжат. Дедушка накрывает меня плащом, и я вскоре засыпаю. И снится мне, будто сижу я на печи, жарко, хочу слезть, а бабушка говорит: «Сиди, сиди, я еще хлебы не вынимала!» Я хнычу, говоря, что упрел и хочу пить, а бабушка свое: «Потерпи, милок, потерпи чемиожко. Господь терпел и нам велел. Сейчас хлебы выну и сниму тебя». И вот наконец меня снимают с печи, и мы идем с дедушкой на речку купаться. В руках у дедушки длинная жердь, он перекидывает ее через речку, я прыгаю в воду и удивляюсь, как жарко и в воде. Тут я ныряю, а когда хочу вынырнуть, оказывается, что не могу, нет сил оттолкнуться ото дна. Задыхаясь, я рвусь наверх, и никак. Начинаю метаться, стонать и просыпаюсь от удушья...

Скидываю плащ и осовело смотрю перед собой.

Жара просто невыносимая. Несколько коров бродит у леса, другие лежат, телята стоят в воде как изваяния, овцы от жару забились в бурьян и дышат часто-часто. Гриша, видимо, ушел топить баню. Сашки тоже нет. Он убежал сразу после обеда, сказав, что «скусна и с тоски помелет мозна». Бабушка звала и меня, но я выдержал характер, хотя мне тоже становилось «скусно».

Не сладко было скотине в такую жару. Одним козам казалось, было нипочем, и они аппетитно жевали сухие стебли прошлогодней полыни, цветы цикория, пижмы, листья тальника. Увидев, что я проснулся, дедушка говорит, что сейчас пустим стадо в лес. «Там они хоть «зорьки» наберутся, а тут беда...» Он свистит Волчка, огромного серого кобеля, командует:

— Перед, Волчок! Дальши! Дальши!

И пускается Волчок колыхать вялое стадо. Коровы зашевелились и повернули к лесу.

— Хватит! Хватит! Волчок, на! На! — кричит дедушка, но тот носится за боднувшей было его коровой, норовя хватить ее за ухо.

Стадо скрывается в лесу. Мы лесной дорожкой переходим на другую сторону и садимся на поляне, возле ржаного поля, под куст орешника, дожидаться стада. У дедушки нет часов, но он точно определяет время по солнцу и тени.

— Вот, к примеру, в обед. Пять лаптей — и на стан, — говорит он. — Это значит, станешь спиной к солнцу, заметишь на земле, где кончается тень и меряй пять лаптей, пятка к носку. А вечером и того проще. Сложил вот эдак три пальца, вытянул перед собой руку, ну и меряй от горизонта по край солнцу. Значит, часа через полтора зайдет, домой пора.

— А если дождь?

— А что дождь? Тут уж по скотине гляди, она свое время знает. Небось, не ошибется.

Я так устаю за день, что едва дотаскиваю ноги до дому, сажусь на лавку и тут же засыпаю.

* * *

Просыпаюсь на печи. В окно падают первые пучки зари, тихо в избе, таинственно. Бабушка стоит на коленях перед киотом. Теплится лампадка, едва освещая почерневший лик. Все еще спят в доме. Мне хочется окликнуть бабушку — и не смею. Не смею нарушить то, что происходит с ней. Мне становится страшно, я опускаю голову на подушку и смотрю в потолок, на ползающих по нему сонных мух, паучков, и прислушиваюсь, что шепчет бабушка.

— Господи, матушка, заступница, — доносится до меня ее тихий, трогающий до слез голос, — да как же всех жалко-то. Сколько страданий, слез, горя, мук на свете. Как трудно жить и спасатися. Как тяжко порой дышать. Господи, матушка, заступница...

И это — «тяжело дышать, трудно жить» — наполняет мое детское сердечко жалостью и недоумением. «Тяжело дышать, трудно жить» — ничего этого мне еще неизвестно: мне легко жить и дышать. Я и не подозревал до тех пор, что кому-то тяжело дышать и трудно жить, когда мне так хорошо, так весело живется. Слезы навертываются на глаза, мне жаль бабушку. «Бабанька, миленькая, — думаю я, — вот стану я большой и буду за тебя огород копать, репу полоть, а ты сиди отдыхай».

Когда выглядываю другой раз, бабушки уже нет в комнате, и тут я вижу на полу свежую траву, веточки березы в крынке, на столе, и вспоминаю про Гришин праздник.

Уходит дедушка, следом за ним, зевая во весь рот, тетя Валя на дойку, потом дядя Семен, работающий в колхозе пастухом. Бабушка выходит в чулан и вскоре появляется в светлой кофточке, в туго повязанном на глаза белом платке и длинной, малиновой юбке. Заметив, что я не сплю, а прилежно наблюдаю за делами домашними, она спрашивает:

— Не хошь со мной в церкву?

— Хочу, баба. И Гриша собирался, — отвечаю я. — А Сашу не возьмем?

— А ну ево. Только озорничать. Не трожь, спит.

Я слезаю вниз, одеваюсь. Прошу покушать, но бабушка говорит, что нельзя, а после обедни будет можно. Мы выходим. Утро туманное, не то, что вчера, солнце плавает в мутных клубах и лишь изредка пробивается к земле. Туман то подымется, закрывая солнце, то опустится.

— Коли подымется, дождь будет, — говорит бабушка.

Мне весело, я забыл про свою недавнюю жалость к бабушке и скачу впереди то на одной, то на другой ноге. Наконец, падаю и до крови сдираю коленку. Бабушка, рассердившись, берет меня за руку и не отпускает до конца пути. За деревней к нам пристают еще несколько старушек, и разговор идет о тяжелом житье-бытье, о том, что сыновья и внуки бегут в город, сначала в армию, а потом куда подальше от родного угла, «видно уж и впрямь пришли последние времена»...

У паперти толпится народ, церковь деревянная, в каменной ограде, среди высоченных дубов и лип, в зеленой вязи которых вольготно грают в гнездах грачи и галки. Воробьи неприкаянно носятся над землей. На колокольне с заколоченными проемами, сидят голуби. Время от времени они слетают вниз, где у железной бочки с водой, им сыпят на землю пшено и семечки.

Мы входим в церковь, и тут я тоже вижу свежую траву на полу, молоденькие березки стоят в дверях, у икон, у распятия, в трапезной, у алтаря, у бокового выхода. Свет пыльно сочится в узкие, с решетками, окна, в боковую дверь, и достает до аналоя, на котором лежит икона, с изображением сидящих на тронах двух человек и голубя, порхающего над их головами.

Все кланяются друг другу, иные целуются. Начинается служба. Я помню только начало и обрывки, потому что, присев на ступеньки, у алтаря, тут же уснул и, просыпаясь иногда, как из-под воды улавливал и пение клира и голос священника, которому в ту пору было, наверное, лет девяносто. Он был так худ и так слаб, что едва переставлял ноги.

— Вставай, вставай скорее к причастию, — будит меня бабушка, складывает крестообразно на груди мои ручки, подводит к священнику, стоящему с чашей в левой руке на ступеньках, перед отворенными вратами алтаря. Поддев длинной ложечкой из чаши и что-то пошептав, он говорит, протягивая мне в ложечке, как показалось мне, кровь: «Бери, сынок» .

Затем мне дают кусочек просфоры и, жуя, я запиваю ее теплой, сладкой водичкой.

— Ай да молодец! Ай да умница! — слышится со всех сторон и я гордо задираю голову.

— Поздравляю с причастием! — говорит мне Гриша, когда мы выходим из церкви. — Ну вот, теперь можно и помирать!

— Что еще! Такой молодой и помирать, — возражает бабушка.

— А что бы, чай, не помереть? — без всякого трагического оттенка в лице отвечает Гриша. — Прямо и в рай.

— Успеешь еще в рай-то, — говорит бабушка. — Ишь, прыткий какой. В рай. Гляди, куда намылился, в рай!

С утра было теплее, а теперь небо сплошь затянуто тучами. Ветер дует сырой. Бабушка поторапливается, я тащусь за ней, как на привязи, и всю дорогу хнычу посидеть. Бабушка, не слушая, тянет меня за руку, но так и не утягивает от дождя. Он застает нас на полпути. Налетает с шумом, взрывает мучнистую пыль. Становится холодно, зубы мои постукивают и я уже не прошусь отдыхать.

И как хорошо, как приятно потом забраться на печь, напившись сначала теплого молока, упасть в овечьи шкуры и тотчас уснуть.

Просыпаюсь к вечеру совершенно бодрым. Все бывшее кажется сном: и церковь, похожая на березовую рощу, и невесомое порхание огоньков у иконостаса, и неслаженное пение старушек на клиросе, и трогательный голос батюшки: «О благорастворении воздухо-о-ов... За-а все-э-э и-и за-а вся-а-а...»

Раздвигаю занавески: за столом сидит бабушка с какой-то женщиной, что-то вроде нищенки или погорелой, в потертом черном пиджаке, в черном платке. Бабушка подливает ей похлебки, женщина аппетитно ест и рассказывает:

— А руки у Антихриста будут волосаты и будет он поэтому носить белые перчатки. Прикинется милостивым, а внутри будет коварным, как волк в овечьей шкуре. И как скажут: «Перепись!» — стало быть, конец. И померкнет тогда солнце, а луна превратится в кровь, и загорится земля от востока до запада. Но верным рабам огонь этот не повредит, как тем отрокам, которых бросили в печь огненную, а к ним ангел сошел. И ходят они и поют. И не страшен им огонь...

Тут разговор их переходит на шепот. Мне страшны эти слова, как сказка про Соловья разбойника. Но и на того была управа — Илья Муромец. А коль и вправду все будет, так придет Илья и победит Антихриста.

* * *

Только садимся за стол, как распахивается дверь и выбегает испуганная тетя Валя.

— Ой, мама, что там делается-то! Взбесился бык, задрал корову и теперь возле калды кидается на людей. Хотят пристрелить, да не решаются без председателя. Степан верхом в Егорьевское поскакал.

Нас с Сашкой словно ветром выносит из-за стола. Прибегаем на ферму. Толпа народу: бабы, мужики, дети. У калды, в зарослях лопуха, стоит огромный белый бык, с железным кольцом в ноздрях. Глаза кровавые, страшные, он ревет, высуня язык, кося глазом и пуская пену. Копает под собой землю, поводит рогами. Две собаки крутятся перед его мордой. Три пастуха стоят с кнутами и время от времени хлопают издали. Мужики ругаются, другие спорят, бабы охают и ахают, дети визжат и смеются. Кто-то кричит: «Едет!» Обернувшись, вижу подъезжавшую пролетку, а в ней председателя в пыльном пиджаке и фуражке. Подъехав, он лихо соскакивает на землю, выхватывает из пролетки ружье и велит всем отойти. Подходит близко к быку, который вдруг затаился и притих, взводит курки и, почти в упор, выстреливает быку прямо в лоб.

Бык падает на передние колени, качаясь, валится на бок и, задрав голову, сучит по земле ногами. Подымается пыль. Изо лба фонтаном бьет густая, вязкая, черная кровь. Морда становится темно-красной, земля тоже.

Мне жаль животное, я хлюпаю носом и со страхом косусь на председателя, который стоит в задумчивости, держа в руке ружье стволами вниз. Они дымят.

— Племенной... — говорит председатель, машет рукой и, сев в пролетку, уезжает.

Быку перехватывают горло и начинают свежевать. Мы с Сашкой бредем домой. На пути нам попадается телега с задранной коровой. — Брюхо у нее пропорото от паха, торчит сломанное ребро.

— А мне так совсем не стласна, — говорит Сашка. — Дали бы мне, я б ёво тла-та-та...

* * *

Жарко пылает костер, в тоскливой дреме, положа морду на лапы, скулит Волчок, иногда вскидывается, прислушиваясь к ночным крикам пивика, шорохам, ржанью и храпу коней. Жабы заливаются в болотце, лес кажется совсем близко, страшен и темен. Я сижу, уперевшись подбородком в колени. Приятно калит лицо, не оторвать глаз от огня, так и тянет протянуть руку и поймать взвившиеся к небу искры. Ночь такая темная, такая тихая, что кажется, кто-то стоит неподалеку в ожидании, когда потухнет костер. Мы с Сашкой сидим рядом с дедушкой. Гриша против нас, по ту сторону костра, лицо его раскраснелось, глаза расширились то ли от ужаса, то ли от вранья.

— Ходили четось бабы по ягоды, — говорит он, — да заплутались маненька. Кричать — ау. Им тоже — ау. Они туда. И приаукали к болоту. Допетрили, что леший кружит, перепугались до смерти, и деру. А сорока над имя, «тр-р-р... тр-р-р...» Чуть живехоньки из лесу-то вышли.

—Бре-э-эхня-а, — говорит дедушка. — Никаких таких лешиев нету.

— А домовые?

— И домовых нету.

— А вот и есть, Ляксеич. На себе испытал. Лег это раз в сенях, не там, где обычно сплю; так ночью как придавит, не продохнуть... Руки как плети, а он кошачьей мордой и трется и лезет под ладонь. Насилу отвязался. Маманя говорит: не любит, когда в доме непорядок. А другой раз с Егорьева шел через лес, темно уж было, молоньи, правда, еще далеко сверкали. Глянь, а меж сосен змей огнен-

ный. Голова с блюдо, зенки зеленые, а с хвоста искры сыпят, как от костра, когда палкой шерудишь. Я ёво крестом, а за спиной кто-то как жахнет камнем по земле. Немного разве по башке мне не угодил.

— Ври да не завирайся, — говорит дедушка, сворачивая «козью ножку».

Что-то мелькает над самым костром и с писком кидается прочь. Гриша смотрит, вытаращив глаза и разиня рот.

— А-яй!.. А правду, Ляксеич, бабы сказывают про Ивана Зыбина, что колдун?

— Ванька-то? Дурак скорее всего, а не колдун, — отвечает уверенно дедушка. — Бабы врут, а ты уши развесил, тетеря.

— Ну не скажи. Помню раз, шел к нам, я в окно усек и перекрестил быстренько дверь. Так ян воле остановился, кричит: «Гришка, выдь дело есть!» «Ступай, говорю, в избу». «Да плево дело, выдь на минуту!» Я «живые помощи» прочел, к нему, а он — тресь себя по башке: «Хлеб забыл в печи!» — и тягу.

— Мели, Емеля, твоя неделя. Хлеб в печи забыл. Как же! Глупее ничего не мог придумать? — отвечает по обыкновению равнодушно дедушка. — Ступай-ка давай за хворостом.

— Ты чё, Ляксеич, не видишь, время какое? Луна на погосте. Леший след спутает, заведет в болото да утопит.

— Гляди, беда какая. Одним лешим побольше станет, а болтуном поменьше.

Гриша обижается и отворачивается, с достоинством поглаживая бороду. Но обида через минуту забывается, и он начинает новую историю. Мы слушаем с жадным любопытством, косимся на лес и жмемся к бесстрашному дедушке. Сашка засыпает. Я никак не могу заснуть, сердечко мое бьется. Я смотрю на луну, на погост — и на меня нападает еще ни разу не испытанный страх перед какой-то всемогущей силой, от которой нет защиты...

Но всходит солнце и рассеиваются страхи вместе с темнотой, преображается мир, радостно становится в нем после ночи, и костер, казавшийся недавно единственным спасением, теперь выглядит жалко, как ядовитое пятно на теле земли.

* * *

Солнце перерезано пополам тонким сизым облачком, стоит над самым горизонтом, ниже того места, где расположена на холме наша деревенька. Оно бледно-розовое, призрачное, печальное, тихое. Легкие сумерки, ни ветра, ни шороха. С той стороны, где мы с Сашкой предполагали город, отдаленно доносятся девичьи голоса и переборы гармони. Это из соседней деревни идут в нашу на гулянку парни и девушки.

Мы с Сашкой сидим на крылечке Светкиного дома. Светка в чистом платьице и все поглядывает на меня. Девушки входят в улицу. Идут, взявшись под руки, во всю ширину. В середине высокая, чернобровая, черноволосая, не помню вот как звали ее, и назову хоть Степанидой. Голос ее сочный, густой, не высокий и не низкий. Парни точно так же, только не под руки, идут во всю ширину сзади. Гармонист посередине. По ту и другую стороны, на завалинках, лавочках, крылечках, сидят старики и старухи.

Поют частушки в основном девушки, парни отвечают редко.

У миленка моего
Поговорочка на «о».
Он на «о», и я на «о».
Все равно люблю ёво!

Сашка улыбается во всю ширину рта. Светка не переставая косится на меня — и меня это начинает тревожить.

Мой миленок — зубоскал,
Со стола блины таскал.
Я недолго думала —
Взяла и в харю плюнула.

И старички и старушки смеются. Светка ерзает и будто нечаянно задевает меня плечом. Я отодвигаюсь.

Запевает гармонист:

У меня девчонок много,
Как в корзиночке грибов.
Только я с одной имею
Настоящую любовь.

Ему тут же отвечают:

Гармонисту за игру —
Табуретку синюю,
Четыре сына, восемь дочек
И жену красивую

Гермонист у нас хороший,
Я ёво приворожу:
Я возьму и на гармошку
Две ромашки положу.

Дойдя до конца деревни, возвращаются назад. И так до наступления темноты. Солнце давно уже скрылось за горизонтом, темнеет лес, показываются звезды. Кое-где вспыхивают окна, по одному расходятся старики и старухи. Песни тонут где-то за деревней. Мы с Сашкой идем домой. И я очень рад, что наконец избавился от Светкиного внимания. Мы спускаемся заросшей тропинкой и выходим на зады. Вдруг Сашка останавливается и спрашивает меня шепотом:

— Слысыс?

— Чего?

— Сопот.

Спускаемся ниже. За усадами, в бурьяне, стоит с кем-то Степанида. Я сразу узнал ее по голосу.

— Ты ай белены объелся? — говорит она кому-то.

Шепот. Возня. Шлепок по руке.

— Ой! Ктой-то там?

Мы с Сашкой летим вниз, и ноги мои едва поспевают переставляться. Сзади слышен свист и хлопанье ладошей. Перебираемся по жердочкам на ту сторону, и на родном берегу мне становится спокойнее.

— Чего это они там делают? — спрашиваю я.

— Зазымаюца, — отвечает Сашка.

— Как — зажимаются?

— Ну сперва зазымаюца, а потом зеняца.

* * *

Едем в лес за сеном. Далеко через ржаное поле бежит пепельная лента дороги. Лошадь идет бодрым шагом, ровно катится по мягкой пыли телега. Пыль летит из-под копыт, брызжет в стороны. По ржи волнами проходит ветер, приятно обдувает лицо, шею. Откуда-то сверху слышится пение жаворонка. Задираю голову и вижу крохотную, дрожащую в небе точечку. Правит Сашка, я сижу рядом и краем уха слышу разговор деда с дядей.

— Я тебе, Степан, давно не указ, у самого дети малые, но как отец всёж-ки скажу. Коли в избу вбежит свинья, даже самая смирная, она свое поганое дело сделает. Хошь не хошь, а все перевернет вверх дном. А и выгонишь, так не скоро наведешь порядок. Так и в жизни, Степан. Мотри. Не пущай свинью в душу. Семья — дело святое, а с этим шутки плохи. Такая игра не доводит до добра.

Дядя сидит явно недовольный чем-то и все отворачивается от дедушки.

В лесу ветра нет и на поляне очень жарко, звонко-оглушительно стрекочут кузнечики, чирикают птички, стучит в отдалении дятел. Пока навивают воз, мы собираем конопатые ягоды луговой земляники, пресной, хрустящей на зубах как песок. Потом забираемся наверх, на дрожащую громаду сена и, уцепившись за гнет, смотрим по сторонам. На возу так высоко, что ступни ломит от страха.

* * *

Жаркий полдень. Синие зеленые мухи на горячих и черных бревенчатых стенах дома, на дощатой завалинке. Такие огромные, жирные мухи. А ленивые — хоть всех переколоти. Дедушка толченым красным кирпичом чистит самовар на лужайке у дома. Отава сочная, яркая. Ходить по ней босиком колко, а в груди приятно щекочет от уколов.

— Самовар, — говорит дедушка, — первая вещь в доме. Без самовара никак нельзя. Ишь как блестит! Блести, милок, блести. Вот, к примеру, назябнешь

на морозе, придешь домой — а тут тебе самовар на столе сипит. Хошь руки, об ёво грей, хошь выпей весь. А после бани... Э-э, после баньки без самовара тоска... А вода в ём, надо сказать, от березовых-то углей такая, право, легкая. И семь стаканов выпьешь, мало покажется. Иной раз до изжоги напьешься, аж горчит в горле-то.

Мы с Сашкой трем небольшие осколки красного кирпича о большие кирпичи и натертую пыльцу подаем дедушке.

Когда он уносит самовар, мы идем за дом, где в неглубокой квадратной яме тетушка месит ногами грязь — глину, песок, навоз, солому. Потом накладывает месиво в ведро и кидает руками на плетеную из тальника стену хлева. Брызги отлетают мне в лицо, прилипают к ногам и засыхают щекочущими корочками.

Появляется дядя Степан.

— Помочь ай нет? — спрашивает он, весело-виновато бегая туда-сюда глазами и покашливая.

Хочет отнять у тетушки ведро, она со всей силы тащит его на себя, оступается назад и чуть не падает.

— Что цепляеся? -- кричит она, раскрасневшись. — Вишь вцепился клешнями, как в свое!

— А то — чужое... — ненастойчиво возражает дядя.

— Сказала бы я, да детн рядом!

Дядя будто только теперь замечает нас.

— Это откуда взялось? А ну марш отселева, марш!

Мы уходим с повернутыми назад головами.

* * *

— Ну и посол в оголот к бауски под юбку! — говорит с презрением Сашка, и я соглашаюсь.

По дороге Сашка уверяет меня, что мед там хоть ложкой черпай.

— Я узэ, навелиа, целое ведло созлал! — говорит он и подтягивает штаны.

Сползают они у него вовсе не оттого, что широки, а оттого, что живот у него постоянно то надувается, то проваливается, угадать невозможно. Ест же он все подряд, без разбору. И всякий раз, похлопывая себя по животу, приговаривает: «В пузе все сгниет!» И, по словам бабушки, ни одна холера его не берет.

— А если он нас в свиней превратит? — спрашиваю я, боясь не столько пчел (я еще не знаю, что они жалят), сколько колдовских чар Ивана Зыбина, на пасеку к которому мы направляемся есть мед.

— А клест на сто? — говорит храбро Сашка. — Мы ёво клестом, он и сдохнет, как сильвяк!

Ульи на задах, у плетня, заросшего с нашей стороны репейником, конским щавелем, крапивой, беленой, лебедой. Кое-как минуем ферму, извозившись попутно в навозе, и лезем через бурьян к огороду. Какая-то пчелка проносится мимо, потом еще одна и еще. Добравшись до плетня, я слышу мерное гудение. И тут разом кончается геройство моего брата. Он хватается за голову и, отмахиваясь руками, с визгом кидается назад. Пчелы за ним. Я приседаю в надежде, что беда минет стороной, но тут словно иглой тыкают мне под правый глаз. Пчела отрывается и тяжело начинает подыматься. Я вскрикиваю от боли и бегу следом за Сашкой. Пчелы носятся над нами, бьют в голову, в шею, путаются в волосах, жалят. Если бы не высокий бурьян, нам пришлось бы туго.

Домой возвращаемся с ревом. Голова моя становится деревянной, словно кто сдавливает ее со всех сторон, глаз совсем не видит, заплыл, щеку тянет, и, как что-то прилепленное, она трясется при ходьбе. Изверга тут же наказывают, а меня стыдят:

— А если он тебе в печь велит лезть, полезешь?

— Не-э-э! — реву я. — В печь не поле-э-эзу-у...

— И на том спасибо, — говорит дедушка. — Поди, жала выну.

* * *

Двое нас в комнате: я и Светка. Почему мы вдвоем и никого больше нет, не знаю. Нам скучно, мы уже во все переиграли и не знаем, во что бы еще поиграть.

— В жених и невесту давай играть? — предлагает Светка.

— А как?

— Эй, очень абыкнавенна. Ты будешь жених, а я невеста. И мы будем женица.

— Как женится?

— Эх, очень даже абыкнавенна, как все люди женяца. Я лягу на спину, а ты на меня, и поженимся.

— Это как бороться, что ли?

— Ну.

Я думаю о том, что это очень хорошо, что не она, а я ее поборю, и соглашаюсь. Она, отчего-то краснея, ложится на пол, у комода, я забираюсь на нее.

— Все, — говорит она через три секунды, отвернув голову и хлюпая носом. — Залетела.

Я оборачиваюсь, но не вижу того, что «залетело». Встаю. Светка садится и, поджав худые ножки, говорит:

— Теперьча меня убьют.

Я не понимаю, что и куда залетел и почему ее за это должны убить, и спрашиваю ее об этом.

— Эх, ты что, ля-ля, что ли? Ни что залетел, а я залетела. Теперьча у меня будет расти живот, и я рожу. А как мы еще не по-правдашному жених и невеста, меня и убьют.

Я хочу возразить, что детей «надувает ветром», но понимаю, что, верно, это не так, и смотрю на Светку в ужасе. Не могу представить ее тощую фигуру с животом. Она встает и одергивает платье.

— Тошнит что-то... — говорит она поморщившись.

— Может, съела чего?

— Эх! Чай беременных со всего тошнит.

Приходит ее мама, и мы садимся за стол. Я хочу рассказать, как мы весело играли в жених и невесту, но вспоминаю, как Светка сказала, что ее убьют, и молчу. Мне становится страшно. Мы едим, и я все посматриваю на Светку в ожидании, когда ее начнет тошнить, как недавно дядю Степана с похмелья, но Светка уплетает за обе щеки, и я прихожу к выводу, что она обманула меня, но и в то, что детей «надувает ветром», я больше не верю.

* * *

Осень. Холодное, беспросветное небо. Невесомый, косой дождь, туман. Скучно на улице. Деревья голы, скелетной худобой оголились плетни. Не деревня — а пепелище. Дома черны, поля вокруг перепаханы.

Пасмурно и в избе. Сижу у печи и смотрю на костер внутри. Не могу оторвать глаз. Когда прогорают дрова, бабушка разгребает угли по сторонам и ставит чугунок с похлебкой, закрывает заслонкой печь. Замешивает хлебы. Вываливает из дежи тесто на посыпанный мукой стол, срезает с боков ножом. Небольшой кусочек теста опускает в крынку с водой — на закваску. Тяжело дыша, месит тесто. Утирает рукавом пот с лица.

Спустя некоторое время вынимает чугун из печи, подымает крышку и смотрит на похлебку. Затем разбивает синеющие угли и сажает хлебы, кладя их на капустный лист, чтобы не пригорали снизу. Хорошо сидеть у печи, когда на улице сыро. Тепло, бездумно и так сладко-грустно на душе. В избе темно от бревенчатых стен, а печь празднично бела, и занавески на ней чистенькие, только ухваты рогато чернеют в углу, да лежит на полу кочерга с совком.

Видя, что бабушка немного освободилась, я прошу рассказать чего-нибудь.

— Не знаю, право, что и рассказать, говорено-переговорено. Ай вот про звездочета разве.

— Это который звезды считал?

— Нет. Звездочет этот навроде кудесника. Судьбу по звездам угадывал. Ну слушай. Жил-был на свете звездочет. Звали его Артабан. Вот узнал он по звездам, что родился царь Израилев. Продал он все, что у него было, и купил три драгоценных камня. Сел на коня и поехал к месту встречи с другими звездочетами. А дорога шла через лес. Темный и страшный был тот лес, водились в нем

разбойники. Едет он, и вдруг стал под ним конь. Глянь, а на дороге человек лежит. Голова окровавлена, стонет. Сошел Артабан с коня, поднял несчастного, перевалил через седло, да назад подался. Пока возился с тем, настало утро. Спохватился — ай уж поздно. Сел да заплакал с горя. А тот, кого он вызволил, был старый еврей. «Что ты плачешь, мил человек, — спрашивает он звездочета, — о чем печаль твоя?» Артабан ему: так, мол, и так, ушли мои собратья за звездой на поклон к царю Израилеву, не знаю, где теперь мне его искать. «Не печалься, — говорит ему добрый человек, — известно мне из старинных книг, что новый царь Израиля родится в Вифлееме Иудейском. Ступай — и ты найдешь его там». Поблагодарил его Артабан. Продал первый камень, и на деньги эти снарядил караван. Долго ли, коротко ли ехал, приезжает он в Вифлеем. Маманьки родные! Что же делается-то? Смотрит он, и глазам своим не верит. Бегут по улицам растрепанные бабоньки с ребятишками на руках. Солдаты отымают у них деток и одних бьют головками о камни, других мечами пронзают. Вбегает Артабан в один дом и видит там женщину с сыночком на руках. Мечется, сердешная, не знает, куда спрятаться. А солдаты уж на пороге стоят. «Спаси его, мил человек! — просит она. — Господь не оставит тебя!» Артабан быстренько достал второй камень и подал начальнику. Тот и увел солдат. «Что тут такое, голубушка?» — спрашивает ее Артабан. И рассказывает она ему о рождении царя Израилева, о пришествии восточных мудрецов, таких же, как Артабан, звездочетов, и о том, что велел царь Ирод избить всех малышей. «Что же, убили они его?» — спрашивает Артабан. «Нет, мол, батюшка, а слышала я, что бежали они всем семейством в Египет». Отправляется Артабан в Египет. Долго с тех пор ходил он по свету, разыскивая царя Израилева. Уж совсем состарившимся прибыл в Иерусалим. Глянь-поглянь, а и тут что-то неладное. Бежит по улицам народ. «Казнь! Казнь!» — слышится со всех сторон. Когда же дознался бедный Артабан, кого распяли на кресте, горько заплакал, сел на камень при дороге и прикручинился: «И зачем это я ходил столько лет бестолку? Кому отдам я теперь мой последний камень?» Вынул он его, посмотрел и хотел было бросить с досады, когда услышал чей-то крик. Глянь: ведут солдаты молоденькую персиянку. Увидела она земляка, повалилась ему в ноги, просит спасти. Артабан тут и отдал последний камень. Солдаты ушли. А они остались. А вот вдруг померкло солнце, и темно стало, как ночью, затряслася земля, посыпались со стен камни. Один камень угодил в голову несчастному звездочету. Повалился он, бедный, наземь с окровавленной головой. Пленница склонилась над ним, плачет. И вдруг Артабан спрашивает кого-то: «Когда же я видел тебя жаждущим и алчущим, или в темнице, и помог тебе?» И вдруг лицо его просияло от радости. «Так это был ты?» — сказал он да помер.

Бабушка вздыхает.

— Понравилось ай нет?

— Да, баба, — говорю я. — А какой он добрый, этот Артабан.

— Вот и ты будь таким же. Побеждай зло добром.

Она встает с табуретки. Прихватывает тряпицей, снимает заслонку. По избе растекается запах печеного хлеба, аппетитный, так и сглатываешь слюну. Бабушка поддевает хлебы деревянной лопатой и кидает на стол, слегка смазывает топленым маслом, которое тут же впитывается в корку, треснувшую где-нибудь сбоку, и убирает хлебы в тряпицу преть.

Угли едва синеют в печи, задохнулись, почернели. Бабушка выгребает их, складывает в ведро, а потом в специальный ящик с другими углями. Часть засыпает в самовар, запаливает лучины и, кинув их в горловину, приставляет трубу, втыкая ее одним концом в самовар, а другим в «тягу» на печи. Отбрасывает на самоваре клапан паровика. Самовар запотел от холодной воды, тускло блестит медью.

— Это чтой-то задумался? — говорит бабушка, немного погодя, самовару.

Снимает трубу, заглядывает, а потом, сложив вчетверо полотенце, хлопает по горловине, как Сашке по голове. Приставляет опять трубу. Самовар, наконец, начинает сопеть, издает тоненький свист, поверхность подсыхает, становится зеркальной, и я строю рожицы кривому мальчику с широким, как у китайца, носом и сплющенным лицом. Когда самовар закипает, бабушка, сняв трубу, накидывает заглушку. Из паротвода летят меленькие брызги.

* * *

Сквозь запотевшее окошечко сочится тусклый осенний свет, на улице пасмурно и холодно, а здесь, в протопленной баньке, с выстоявшимся смолистым духом, жарко и уютно. Стены, потолок, каменка — все черное, закопченное. Тихо посапывает каменка. Дедушка трясет над ней веником, подсушивая его.

— Не жарко?

— Не-к, деда, — отвечаю я, сидя на корточках на полу, хотя тельце мое раскраснелось от жару.

— А то поди в предбанник. Попарюсь, а потом вас помою.

Я упрямо трясу головой и закрываю ладошками рот, чтобы не так горячо было дышать. Сижу на корточках, склонив головку меж колен. Пот бежит по лицу, попадает в глаза, в рот. Соленый, вкусный. Тело мое тоже покрывается капельками, как трава росой. Капельки набухают, а затем стекают по телу грязными ручейками. Дедушка зачерпывает из таза, где недавно парился березовый веник, и плещет на каменку. Камни взрываются белым облаком, и пепел вместе с жаром садится мне на спину и голову. Я дышу часто-часто и все одно задыхаюсь. На зубах хрустит. Воздуху не хватает.

— Де-эда, де-эда, жа-арко, деда, — хнычу я и ползу к дверям.

Дедушка осторожно, чтобы не обжечься о пар, слезает с полки и открывает мне дверь. Я быстро выползаю в предбанник, дверь захлопывается.

Сашка сидит на лавке и наблюдает за мухой, которой он оторвал одно крыло. Муха прыгает и все время переворачивается. Сашке это кажется забавным. Я сажусь на лавочку и устало опускаю руки на колени. Плечи тяготит, голова кружится, сердце бьется сильно, слегка подташнивает.

— Сто, запалился? — спрашивает Сашка, шмыгая носом.

Он уж замерз сидеть тут, кожа на нем гусиная, а все одно не идет в баню: боится.

— Ага, — отвечаю я. — А как жарко!

— У нас самая залкая баня в дилевке. А папка ысо больсы палица. Лас, лас по себе веником-ти. Выскосит, а от ёво пал, как от тибя. Посидит и опять палица.

— А ты что не паришься?

— У меня голова клузыца. Один лас я дазы о сюгуиок баской тлеснулса. А как вылосту, тозы буду палица.

Минут через десять выходит дедушка. Он долго сидит отпыхиваясь и постанывая, глядя на нас мутными глазами.

— Ох, ах, ух, ох... — приговаривает он.

Наконец дедушка приходит в норму, открывает отдушину, слегка выстужает баньку, и тогда мы с Сашкой идем мыться. Сначала дедушка моет нас самих (как обычно в банях), а потом уж наши головы. Моет щелоком, который получается, если печной золы положить в воду; когда она осядет, постоит, получится щелок. Волосы от него становятся мягкими, нежными, как шелковистый кукурузный покров на початках.

Из баньки выходим затемно. И я, шагая по тропочке, средн вишен, чувствую свое горящее лицо, легкость и приятную задумчивость в голове. На столе блестит самовар, чаек душистый, со смородиновым листом. Сахар наколот маленькими кусочками, которые приятно тают во рту, когда прихлебываешь из блюдечка чаек. Пот бежит по лицу, и я вытираю его полотенцем.

* * *

— Сидит это она перед зеркалом в бане, спиной к двери. И вот видит, отворяется дверь и входит человек. И такой-де красивый, нарядный, статный. Залюбовалась на ёво и забыла зеркало повернуть. А он ей ожерелье на шее оде-

вает, хочет обнять, она перепугалась, перевернула зеркало. Глянь — а на шее веревка, петлей завязанная. Еще бы чуть-чуть и задушил.

— А я, помню, в девках забежишь за амбар, портки сымешь, выставишь задницу за угол и ждешь. Коли мягкой лапой погладят, богатый жених будет, а шершавой, так бедный. Так кто-то раз шутейно и приложил мороженой лопатой. Три дня сесть не могла. Девки смеются: «Что, Нюра, богатый ли жених выпал?»

Все смеются. Мы с Сашкой следим с печи каждое слово. Разговор начинается потихоньку. У того корова приболела, вымя твердо, серпу не жует. У того овца отбилась от стада ягниться в лес, и третий день не выходит. Но только становится гуще тьма в прорези белеющих занавесок, в избе словно пропадают стены. Мрак по углам, желтое пятно ползает по закопченному потолку, над поскрипывающим на цепях зонтом лампы. В красном углу заветно порхает спасительный огонек лампадки. Речь заходит про Ивана Зыбина, женщины спорят. Одни говорят, вранье, другие, нет, в самом деле замечали неладное.

— Скажу вам, бабоньки, правду ай нет, как тяте дедушка сказывал после соборования. Дело у него вышло по молодости с Зыбиным-старшим, что летось на огороде помер с полным ртом земли. Был, говорит, я тогда лет шестнадцати, у матери их было семеро, и все девки, он последний. Баловали с измальства, а в лета вошел, так совсем от рук отбился. Отец видит, маху дал, завел разок в амбар, да отходил плеткой. Два дня стелькой лежал. А чего добился? Нет, ты учи дитя, пока поперек лавки лежит. Ну, озлился парень. «Погоди, думает, тятька, отольются тебе мои слезы!» Замкнулся. А тут старик Зыбин, как ворон, добычу почуял. То да сё, так и оговорил малого. Сговорились сойтись в полночь у того на сеновале. Приходит, а тот уж ждет. Лампа тускло горит. Лошадь фыркает, стучит копытом. Собаки по деревне развылись, страсть. «Готов, мол, парень?» Тот сказал, дак чё? «Снимай, говорит, крест». Снял. «Клади под левую пятку». Не ослушался. «А теперь, говорит, прыгай». Тот глянь, а перед им геена пасть огненную разинула. Он со страху и перекрестись. Так куды чё делося. Старик аж затрясся весь. «Догадался, щенок!»

— А ну тя, Нюра, врешь ты все! — машет на нее рукой бабушка, а сама все же крестится.

Нюра божится, выпуча глаза. Все молчат. Тихо. Когда немного уляжется страх, подпустят еще. Мы ни живы ни мертвы.

Но больше всех мне нравится слушать бабушку. Проникновенный, мелодичный голос ее у всех вызывает слезы. Не важно, о чем бы ни заговорила.

— Шла, стало быть, Она под видом странницы по заметенной дороге, — начинает бабушка, подперев рукой щеку и глядя куда-то в угол. И видно, что ей самой — большое удовольствие рассказывать. — Ночь была морозная, ветер колючий, да хваткий. Приходит к одной деревеньке, где жили не то кулугуре, не то татаре. Бог их знает, что за люди такие, только все, как один, непутёвые. Стучится в крайнюю избу и просится на ночлег. Не пускают. Идет дале, тут еще и обругали. В другом доме так чуть не зашибли. И так вся деревня. Она измучилась от долгого пути, шла спасать грешников на распутьях мира, и никто-то Ее не хотел признать. Зашла Она на зады, спряталась в стог и заплакала. И вот, отколь ни возьмись, наползает на деревню черная туча, слышится гром, сверкают молоньи. Божий пророк Илья, заступник обиженных, разгневался на жестоких жителей. Запылала деревня. И-и-и, понеслось пламя по ветру от избы к избе. Ровно свечки, вспыхивают крыши. Поскакали все на волю. Кричат, плачут. Искры летят по воздуху. Она же, видя горе непутевых жителей, сжалилась над ими. Не вмещало сердечко Ее обид. Сняла Она с Себя покрывало, подняла на руках. Илья поглядел сверху на спасительный омофор — и отступился.

Молчание, вздохи, всхлипывания и сквозь слезы Нюрино:

— А и мы-ти все хуже татарвы. Нелюбовные, неблагодарные, завидущии...

* * *

Приходит и день разлуки. Не знаю, так ли уж хочется мне домой, в свой пригородный поселок, но на душе у меня тоска который день подряд, куда-то все тянет, чего-то хочется. Я многое уже начинаю понимать иначе. Как? Этого я еще не могу объяснить. И только все чаще и чаще как бы с удивлением оглядываюсь вокруг, словно жду какого-то подарка. Бабушка все вечера напролет рассказывает свои истории, но они уже не так действуют на меня, я скучаю и даже иногда плачу во сне.

И вот подкатывает к дому «Победа». Выходит отец, мама. Я реву и прижимаюсь к ее ногам.

— Эх ты, ревушка-коровушка, дай молочка, — говорит мама, гладя меня дрожащей рукой по голове. — Погляди лучше, кого мы тебе привезли. Сестрицу Наташу.

Глянув на перевязанное красной ленточкой одеяло, я еще пуще заливаюсь слезами.

— Не хочу Наташу, хочу домой.

Все входят в избу. Наташу определяют в люльку, распеленывают. Я подхожу и с неприязнью разглядываю малышку. Лицо коричневое, нос пуговкой. Я злюсь, непонятно отчего, и все примериваюсь обрезать ножом веревку, чтобы люлька с Наташей грохнулась об пол. Но вскоре сестра просыпается. Мы смотрим друг на друга. Она улыбается, открыв потешный беззубый рот, дергает ручонками. Злость моя проходит. И все время до нашего отъезда я нянчусь с сестрой, трогаю украдкой от мамы грязными руками ее розовые, прозрачные пальчики, которые мне почему-то хочется откусить, пятки, мягкие, как подушечки у Барсика, помогаю купать, подавая то мыло, то ковш.

И вот — ясный солнечный денек, бабье лето, летят по воздуху паутинки, цепляются за кусты и деревья. Нас провожает почти вся деревня. Бабушка закладывает снедью все свободное место в машине. Прощаясь, плачет. Дедушка подымает меня на руки и, вынув из кармана пастушью дудку, дарит на память.

— Не забудешь дедушку?

Я изо всей силы трясу головой и отвечаю:

— Не-к, деда!

В машине прилипаю к заднему стеклу. Едем, а они стоят на дороге, глядя нам вслед, сиротливо склонив головы.

* * *

Теперь нет ни деда, ни бабушки. Деревенька захирела, развалилась. На месте, где стояли дома, уныло качается крапива да полынь. Смотрю на погост, на высокий бурьян, скрывший могильные холмы с покосившимися, а кое-где и упавшими крестами. Царствие вам небесное, родные мои дедушка и бабушка, и пусть всегда сияет Гришина луна над погостом, охраняя ваш вечный покой!

ПОЭЗИЯ

ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ

ЖИВАЯ РЕЧЬ РАВНИНЫ

Молевой сплав

Раздавлен берег золотой,
Вода отравлена корой,
И рыба прыгает на берег.
И трактор,
Весь в тросах, как спрут,
И гусеницы землю рвут,
Природа никому не верит.

И шлет на недругов мошку,
Впивается комар в башку,
Гадюка корнем притворится.

Нет-нет да пропадет топор,
Схоронит человека бор,
А то беду накличет птица.

А мы-то с мировым умом
Никак природу не поймем,
С размаху рубим сук могучий:
На том суку наш дом стоит,
И отрок по лугам бежит,
И дождь идет из хлебной тучи.

* * *

Родина, память твоя глубока,
Страшен глубинный путь.
Туда, где звенит Аввакума строка,
Нынешним не донырнуть.
Мусор сегодняшний,
Щепки да сор,
Могут легко заслонить —
Слезы былые,
И стыд, и позор —
Все, с чем обязаны жить.

ТЮЛЕНЕВ Игорь Николаевич родился в 1953 году на Урале в поселке Новоильинск. Окончил Высшие литературные курсы. Автор поэтических книг «Братина», «В родительском доме», «Кольчуга», «Огненная птица», вышедших в Москве. Печатался в Бельгии, Польше, Франции, Болгарии. Член СП СССР. Живет в Перми.

* * *

Еще грибы в бору растут
И кое-где трезвонят птицы,
Но холода идут, идут,
Как вороги из-за границы.

Нагие, как перед судом,
Стоят березы перед снегом,
А нет бы постучаться в дом,
Поговорить бы с человеком...

* * *

Вкусив беспочвенной свободы,
Вернулся в русские края,
Нечистые бежали воды,
Скудела матушка-земля.
Не крикнули: — Он воротился! —
И не сбежалось полсела...

Не грабил ближних и не спился,
И слава добрая была.
Неужто люди позабыли!
И отреклась давно родня!
Кто я, чтоб здесь меня любили?
Кто я, чтоб слушали меня?

* * *

Спасительна для ран
Живая речь равнины,
Из братины напьюсь,
Посеребрю гортань,
Дабы сказать врагам:
— Мы слепы и невинны,
Поэтому века
Вам кровью платим дань.

Октябрь уж наступил,
Календари кровавы,
И в промельке небес
Я вижу предка лик.
Октябрь уж наступил
Всемирной русской славы.
И если я не прав,
Пусть вырвут мне язык!

ГЕННАДИЙ ФРОЛОВ

ЖАЛОСТЬ К СУМЕРКАМ ПОЛЕЙ

* * *

Только стыд, которым лето
На меду разводит тьму,
Только ужас, но об этом
Не расскажешь никому.

Не поделишься ни с другом,
Ни с подругою своей
Тем мучительным недугом,
Что снедает с давних дней

ФРОЛОВ Геннадий Васильевич родился в 1947 году в городе Курске. Детство и юность провел в Орле. В 1971 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг стихотворений «Сад» и «Месяцеслов». Член СП СССР. Живет в Москве.

Бедной юности! О, Боже,
Как пугал меня тогда
Пробегающий по коже
Холод Страшного суда!

И сейчас боюсь, пожалуй,
Я не меньше! — Но сильней
Этих страхов нынче — жалость
К бледным сумеркам полей;

К хмурым зданьям, что взметнулись
В зачаженный небосвод;

К той старухе, что, сутулясь,
Внучку за руку ведет;

К этой внучке, для которой
Жизнь светла еще пока;
К зверю, скрывшемуся в норы,
К птице, взмывшей в облака.

К облакам, земле несущим
Дождь — отравленный давно! —
Ко всему, что в мире сущем
Миром быть обречено!

Моление

О, слияние молнии с громом,
Ожидание яви без снов! —
Это небо — не Отчего ль дома
Изукрашенный звездами кров.

Где планет голубые стропила
Исчезают в сиянье из глаз!
Укрепи же, Господняя сила,
Не оставь обессилевших нас.

Путь наш долог, непрям и тревожен,
Мы идем год за годом туда,
Где вздымается Сад — огорожен
Золотою стеною стыда.

Но как пенье
в Рождественский вечер
Сердцу светлый дарует покой,

Ты даруй нам надежду на встречу
После тяжкой дороги земной.

Да! За все за мои прегрешенья,
За разврат и сумятицу дней
Со слезами прошу я прощенья! —
Но суди меня волей Своей!

Обреки меня каре жестокой,
Над душою сыновней скорбя! —
Но позволь мне — хотя б издалёка,
Хоть вполглаза — увидеть Тебя!

Ибо мертвая тяжесть забвенья
Мне страшней очистительных мук,
Что готов я принять со смиреньем
Из Твоих из Отеческих рук!..

* * *

Возле дома снег, а на дороге
Дрожь воды с отливом золотым.
И светло, как в полдень, на пороге
От луны, сияющей над ним.

Всё горит и искрится от света,
Хоть читай на мартовском дворе,
Где сквозная тень намокших веток,
Словно черни вязь на серебре.

Я всегда любил такие ночи,
Эти вот часы глухой порой,
Каждый миг которых не короче
Неизбывной вечности самой.

Кто сказал, что мы живем недолго?
Наша жизнь безмерно велика!
О себе не помня от восторга,
Вдаль она течет издалека.

Даже в этом блеске ясно-синем,
Когда мир весь, кажется, видать,
Мы ее и взглядом не окинем,
Нам ее и мыслью не объять.

Лишь любовь, что в сердце
проникает,
Лишь любовь, что из него растет,
Воедино и соединяет
То, что в нас разорванно живет.

И себе, бродя по тротуарам,
Я твержу: люби, а не суди! —
О великом думая и малом
С тем же восхищением в груди!..

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ

РОМАН

Глава одиннадцатая

Фотиев в сумерках сидел в маленькой комнатке Антонины и чувствовал, как его охватывает озноб, будто к ребрам, к животу и груди приложили железные заиндевелые шкворни, и от них стынет кровь, превращаются в льдину желудок и сердце, и его бьет колотун. Он не мог согреться, набросился на чашку горячего чая, но и чай, окутанный паром, казался холодным, не грел. Ложка дрожала, дребезжала о чашку. Близкое сострадающее лицо Антонины было словно в тумане, и он понимал, что он у черты истерики, обморока, вся его суть и жизнь помещены не в теле, а в зыбкой, рвущейся оболочке, и он сейчас умрет.

— Все напрасно! Все усилия напрасны! Из нас ничего не вышло! Мы прокляты! Мы будем таять и исчезнем, как дым! Уйдем с земли, оставив после себя сырые котлованы и гнилые бараки! Ни храма, ни цветка, ни песни! Только ржавые колючие мотки, рухнувшие казармы! Мы — гибнущий, уходящий народ!

— Ну что ты, милый! — Антонина трогала его большую дрожащую руку, чувствовала его панику.— Поверь, все образуется. Мы не погибшие, не проклятые! Просто у нас минута такая. Будут и другие, счастливые.

— Я уповал на власть, на государство, на партию! Никогда не способствовал их разрушению. Наоборот, хотел им помочь, предложил им средство спасения! Уберечь от хаоса экономику, народное хозяйство, народную психологию! Отвергли! Растоптали мои идеи! Обрекают страну на хаос! В них — причина погибели! В них — инстинкт смерти! Так пусть погибнут! Не пошевельну ни единым пальцем! Сожгу свой «Вектор»! И пусть нас всех сметет хаос, вместе с нашими вождями-предателями!

— Что ты, милый, разве можно такое желать? Наоборот, я молюсь, чтобы не случилось беды. Ни с тобой, ни со мной, ни с кем. Нельзя накликать беду. Все женщины сейчас молятся, чтобы не случилось большой беды. Ты успокойся, это пройдет. Ты сильный! «Вектор» твой победит!

Продолжение. Начало в № 10 за 1991 год.

— Какой я сильный! Слабак! Недокормыш, самоучка! На воде и на хлебе! Ни книг, ни библиотек — кустарь! Все своим умом! Худородный! Настоящее знание у богатых, у сытых — институты, лаборатории, мировые идеи, общение! А у меня иной раз хлеба на ужин не было, рабочие общаги, углы тараканьи! Вот и вышел недоучка, и гонят меня, и смеются! Богатые гонят холопа!

— Что ты, родной! Ты самый умный, прозорливый. Не встречала умней и светлей! Твои знания не только из книг, они — от народа и о народе. Ни на каких симпозиумах, ни в каких дворцах таких знаний не наберешь. Тебя будут слушать и профессора, и рабочие, и военные, и священники. Я верю в тебя!

— Я мелок, узок, привязан к земле! Мне не хватает культуры! Не понимаю каких-то общих главных идей! О жизни, о душе, мироздании! Какая-то общая, объединяющая идея! Может, прав священник, прав отец Афанасий,— она, эта идея, в сердцевине, в Боге! Я не верю в Бога, нет во мне сердцевины! Поэтому и провал! Мелкий, узкий, прижатый к земле самоучка!

— Это ты — прижатый к земле? Да ты все время летаешь! И других летать учишь! Я с тобой научилась летать. И Тихонин научился. И братья Вагаповы. И Накипелов. Ты даришь людям веру. Не понимаю до конца твоей теории, такой уж у меня ум, но это не учение, а вера. Ты и в Бога веруешь, только сам не знаешь. Посидите с отцом Афанасием, побеседуйте, и поймешь, что веруешь. Не терзай себя, не мучай! Ты мой светлый, любимый!

— Не ведаем, что творим. Я внедряю мой метод, хочу ускорить строительство станции, способствую ядерной энергетике, а это уже вчерашний день, грядет иная, «чистая» энергетика, и оказывается, я способствую регрессу! Я предлагаю мой «Вектор», стремлюсь внести гармонию в жизнь, в человеческие отношения, в труд, а вместо этого вокруг «Вектора» возникает напряжение, борьба, ненависть. И вот убили Ладошкина, парализовали током Вагапова, и это все мой «Вектор». Где цель, куда движется человечество? Не вижу ее, я слеп! Быть может, мои усилия направлены в противоположную сторону, я вреден, опасен! Я — гордец, как сказал отец Афанасий. Может, мне устраниться?

— Этой цели никто не знает, ее и нет. Просто люди живут, суетятся, страдают, желают добра, хотят любить, стараются не обижать друг друга,— вот и общая цель! Ты никого не обижал, ни про кого худого слова не сказал. Ты справедливый, вместе с добрыми людьми.

— Ну какой я справедливый! Только о себе, только о своем, одного себя знаю! Никого не сделал счастливым, никого не спас!

— Не наговаривай на себя. Я ведь и увидела-то тебя в первый раз, когда ты спасал несчастного. Убогого защитил в том холодном автобусе, когда въезжал в первый раз в Броды. И сегодня Вагапова спас, свое дыхание ему отдал. И старика Кострова вдохновил, он тебя полюбил перед смертью. Ты просто не замечаешь, как спасаешь других. И меня ты спас, не заметил.

— И тебя не сделал счастливой. Ни одного подарка, ни одного подношения! Только жалобы, хлопоты. Пользуюсь твоим кровом, твоим столом, твоей добротой. Ничего для тебя не сделал!

— Милый, я тебе хотела сказать... Не решалась... Не было случая... Милый, у нас будет с тобой ребеночек!..

Она сидела перед ним в сумерках, белая лицом. На столе остывала чашка чая. В вазе на подзеркальнике зеленела веточка тополя. И сказанные ею слова еще не растаяли в воздухе, звучали в тишине, делая эту тишину долгой, огромной. Она сидела перед ним, и в тишине он смотрел на нее расширяющимися зрачками, на ее приглаженные волосы, белые, затихшие на столе руки, и в ней был его ребенок, его жизнь, еще неведомая никому, кроме нее, а в нем от этого — ужас.

— Ты сказала — ребенок?.. От меня?.. Невозможно!.. Запретили врачи!.. Чернобыль!.. От меня мутанты!.. Мне сказал один врач доверительно — от меня родится урод!.. Ты носишь в себе урода!.. Дракончик!.. Морской конек!.. Без рук, без ног!.. Горбун, слепец!.. Дебил с провалившимся носом!.. Как ты могла!.. Я же тебе говорил!..

Голос его поднялся до крика, до стона. Он ужасался услышанному. Она, сидящая перед ним, была почти ненавистна. Нарушила запрет, пренебрегла его тайной. В своем женском слепом упорстве, в глупой безнадежной вере, в бессмысленном уповании на чудо решилась нарушить запрет. Как она смела!

— Я все решила, я знаю,— твердо сказала она.— Я здорова. Даже если ты хвор, то я здорова. Моим здоровьем одолею твою болезнь. Он будет у нас здоровым. Я омываю его не только своей кровью, но и молитвой, и моей к тебе любовью. Ты мне доверься.

— Вздор!.. Бабий лепет!.. Гены!.. Мутированный ген!.. Заложенное в наследство уродство!.. Жабры вместо легких!.. Ласты вместо ног!.. Двупалый!.. С хвостом!.. Ты это понимаешь?.. После Чернобыля я стал уродом!.. И все, что от меня родится, уродливо и зловредно!.. «Вектор» — урод!.. И сын мой будет урод!.. Я тот, кто плодит уродов!..

Он испытывал немощь, тоску, бессилье перед ее наивной любовью и преданностью. Перед ее желанием блага и счастья, домашнего очага и семьи. В ней было естественное, женское, от природы, от сотворения мира. А в нем — от беды, от скверны, от взорванного четвертого блока, от зловония ядовитой резины, от кусков урана, от обугленных жареных трупов, от воя пожарных машин. В ней, милой, доброй и женственной, был Чернобыль, рыжий сожженный лес, дышащий радиацией бульдозер, белые от страха глаза лейтенанта. Он, Фотиев, зачал в ней Чернобыль. Она, не ведая, в своем легком платье, белолицая и наивная, шла босиком по осколкам урана, входила в стальное пространство, пронзенное невидимой смертью.

— Ты не думай, я тоже ходила к врачу. Он меня успокоил. Я сяду на диету, овощи, фрукты. Поеду к маме на юг, на раннюю черешню, клубнику. Он будет здоровым и чистым.

— Сделай аборт, умоляю тебя!.. Пока не поздно!.. Ты родишь несчастного уродца!.. Какого-нибудь бедного зверушку!.. Его отберут от тебя, посадят в клетку, в аквариум!.. Будут делать над ним опыты!.. Мучить его!.. Сделай аборт, умоляю!..

— Ты мне поверь, все будет хорошо. Он будет здоровым румяным крепышом. Когда ты будешь возвращаться домой, он будет бежать тебе навстречу. Все хватать, цапать с твоего стола все твои бумаги, записки. Ты будешь сердиться, прятать все от него, а он все равно станет проникать во все уголки, все узнавать, и ты смиришься. Потому что он будет твой любимый замечательный сын!

Она верила в свое счастье вопреки страшному грозному миру, в котором жила. Ее лоно, ее темное жаркое чрево скрывало будущее нерожденное чадо от внешних напастей, от жестоких истребляющих жизнь законов. В этой жаркой сотворяющей тьме были свои спасительные законы, свое мироздание. Она уверяла Фотиева, что истина не в жестоком разрушительном мире, подвластном злу, а в другом, незримом, творящем, подвластном ее доброте.

Он смотрел на ее белое, близкое в сумерках лицо, на ее руки, светлевшие на столе. Держал ее ладони в своих, прижимался губами. Вздрагивал, пытался что-то сказать. Не мог, беззвучно рыдал.

Днем позже они сошлись в общежитии, в комнатке у Михаила Вагапова. Михаил, бледный, в белой рубахе, полулежал на кровати, прикрыв одеялом ноги. Елена, жена, не сводила с него глаз — то подносила какие-то капли, то поправляла одеяло, то касалась ладонью его бледного лба. Отвлекалась лишь тогда, когда за занавеской начи-

нал попискивать, почмокивать ребенок. Тогда она быстро кидалась за полог, успокаивала, кормила сына, и вновь появлялась, взглядом вопрошая мужа, не нужно ли чего, хорошо ли ему.

Сергей Вагапов сидел рядом с Катюхой, и она, не стесняясь остальных, гладила его руку, касалась плечом, не убирала с его колена складку пестрого платья, того самого, что подарил ей Сергей в недавний, казавшийся теперь далеким день, когда Фотиев и братья Вагаповы вырвали Катюху у пьяного глумливого Чеснока. С тех пор Сергей и Катюха не расставались, появлялись повсюду вместе. Елена, посылая ее по хозяйству, поручая постирать пеленки, купить хлеб, приготовить обед, называла ее «сеструха».

Фотиев, выселенный из своей комнатушки по соседству, забрал из нее бумаги, папки, набил ими старый с медными застежками портфель, собрался перенести его к Антонине. Сидел растерянный, большой и притихший, глядя, как Антонина рассматривает под лампой какие-то лоскутки, кружавчики, ленточки — Еленино рукоделье.

Так сидели они, коротали вечер, три женщины и три мужчины, любящие друг друга, исполненные друг за друга тревоги.

— Чудна́я, говорю, ваша порода Вагаповых,— Елена присела в ногах у мужа, нежно подталкивая одеяло.— Суетесь повсюду, куда другие не лезут. В Афганистан-то, небось, не все воевать пошли. Кто побойчей да поумней, те дома остались, в теплых местах отсиделись. Они же вас, когда вы с войны вернулись, и топчут теперь, помоями поливают. Кусочек вам со своего сытого стола кидают... Вчера-то на стройке сколько народу стояло, на кран глядело — один ты под ток кинулся. Как чумной, ничего не смотришь! А у тебя жена, сын, тебе думать надо! Не пущу тебя никуда, пусть хоть горит кругом! Другие пускай дыры собой затыкают, а ты и так весь в дырах!

— Не пускай, не пускай,— соглашался Михаил, глядя на жену благодарно.— Буду на боку лежать, газетки читать, а ты мне кашу подавай.

— Надо в деревню съезжать,— сказала Катюха, чуть заметно касаясь плеча Сергея,— всем вместе и съехать. Землю в аренду возьмем, как семейный подряд. Семья-то вон какая большая! Пахать, скотину держать. А то в городе голодуха начнется, не прокормишься. Жизнь в деревне здоровая, молоко, овощи, воздух свежий. Для Сережи специально лесную землянику на огороде посадим, говорят, радиацию хорошо оттягивает. Давайте съедем в деревню!

— Я согласен,— слабо улыбнулся Сергей, не переча Катюхе, гладя яркий цветок ее платья, залетевший ему на колено.

— И я бы поехала,— сказала Антонина, задумчиво, мягко глядя на Фотиева.— Я ведь была учительницей, дети меня любили. Земляника лесная, молоко — что еще человеку надо! Большому человеку и человечку поменьше. Поехали бы вместе в деревню, помогали друг другу. Каждому дело найдется!

— Когда на Урале жил, и скотину пас, и сено косил,— Фотиев подхватывал общую мечту, вовлекался в нее,— уходили на лесные покосы, строили из еловых ветвей балаганы. Помню, гриб найдешь, рыжик, посолишь его, меж двух листочков смороды положишь, прижмешь, а на утро ешь. Хрустит, вкусный. Выпишем в коммуну Тихонина, Накипелова, вот вам и «Века торжество»! Луковка на грядке!

— Боюсь я худшего,— сказала Елена.— Тревожно! Люди нехорошее говорят, плохого ждут. Может, голода, продуктов совсем не стало. Может, взрыва — говорят, пускать станцию будут, она и взорвется. Грабители какие-то ходят, двух девочек маленьких зверски замучили. Или война начнется, вон и армию нашу совсем разломали, а немцы вместе сошлись. Русских везде ненавидят, армяне по нашим стреляют. Какой-нибудь большой беде да случиться!

— Не бойся, войны не будет,— успокаивал ее Михаил.— Армию есть кому поддержать. «Афганцы», если надо, пойдут. АКС еще не забыли!

— Лежи уж ты, воин! — напустилась на него жена.— Не навоевался еще? И сын, что ли, в тебя будет? И ему, что ли, воевать приготовлено, на электрический ток бросаться?.. Я бы что хотела,— она оглядела всех, не решаясь сказать, задерживаясь взглядом на муже, боясь его рассердить.— Если бы можно было, я бы Митеньку нашего окрестила. Меня бабушка в деревне крестила, да и тебя, Миша, крестили. Оттого ты в Афганистане и выжил. И Митю надо крестить. В Троице церковь была, да закрыли. Где священника взять?

Она смотрела на мужа, не засмеет ли ее, не рассердится ли. Но Михаил лежал в белой рубахе бледный, похудевший, с серьезными думающими глазами.

— Есть священник в Старых Бродах,— сказала Антонина.— Отец Афанасий. Он в клинике душевнобольным помогает. Я знаю, где он живет. Хочешь, тебе покажу?

— Хочу,— твердо, с готовностью согласилась Елена.

— Николай Савельевич,— сказал Михаил,— я вот что думал сегодня. «Вектор» возьмем в бригаду. Маленько оклемаюсь, поговорю с Петровичем, нашим бригадиром, он примет «Вектор». Я с ребятами нашими уже толковал, они не против. Так просто нас с вами не убить, под ток не кинуть. У нас — изоляторы непробиваемые!

— А это возможно? — робко, готовый снова поверить, хвататься за мелькнувшую надежду, спросил Фотиев.— Ведь «Вектор» главную свою силу проявит в рабочей бригаде! Его изгнали из штаба, из треста, но сила его— в бригаде!— Соберем совет трудового коллектива, вы выступите, расскажете ребятам о «Векторе». Проголосуем и примем. Правда, Серега? Ребята поддержат!

Сергей кивнул. И Фотиев, переживший крушение, истерику, истребление надежд, вновь возрождался. Уже думал, как в яркой доступной форме расскажет рабочим о своем учении, призванном преобразить угрюмый беспросветный труд, внести в него смысл и свет.

Так они сидели, коротая вечер, три женщины, три мужчины, соединенные друг с другом хрупкими связями нежности, дружбы, любви. Иногда ребенок за пологом начинал кричать. Елена убегала, и было слышно, как она шепчет, воркует, гулит, и ребенок затихал среди ее материнских воркований. Антонина поднимала на Фотиева умоляющие, любящие глаза, и он отвечал ей робким, верящим взглядом.

Глава двенадцатая

Чеснок с двумя своими подручными — все трое хмельные, смешливые — завершал «кузовные работы», как выражался Чеснок. Заваривали последний лист на старом фургоне, еще сохранявшем линялую надпись «Детское питание». Отложили сварочный аппарат, оглядывали изделие рук своих — отремонтированный грузовик, переданный городским начальством в аренду «кооперативу по излову беспризорных собак».

— Блеск, красота! — ухмылялся Чеснок, обнажая желтые резцы, поворачивая вентиль, установленный на выхлопной трубе.— Пусковой объект к сдаче в эксплуатацию готов! А где же митинг, оркестр? Где народное гуляние?

— Выдай, Чеснок, на бутылку, народ просит! — тощий малый, по прозвищу Гвоздь, заискивал, улыбался, надеясь на выпивку.

— Народу вынь и положь! — вторил ему Лошак, длинноголовый парень с металлическими вставными зубами, в которых застряли остатки плавленного сырка.— Народу охота выпить!

— Говорил Ладошкину — пей с нами! А он — не хочу! Вот его

током и пробило. А нас не пробьет... Дай на выпивку, Чеснок!—продолжал клянчить Гвоздь.

— Где выпивать-то? В бытовке? Или в сортире? Катюха к себе не пускает, у нее жених, она завязала,— Чеснок оглаживал заплатки фургона, крутил приваренный вентиль,— нам теперь в ресторане выпивать положено, на лучших местах. Мы уважаемые в городе люди, кооператоры. Избавители города от бешеных собак. Дело сделаем, ручки вымоем, и в ресторан!.. Слушай меня! — командовал он.— Трио на собачьих кишках!.. Роли исполняют... Я — завлекатель, буду собак завлекать. Ты, Гвоздь,— ловитель, будешь их хватать и в кузов кидать. А ты, Лошак,— усыпитель, твой газовый вентиль!

— Задерут к ядреной матери! — неуверенно сказал Гвоздь.

— А ты ватную рванину надень, а под нее брезентик. И ловилами ловчей работай! Давай-ка сюда ловила!

Он принял из рук приятеля длинные, круто загнутые крючья, заточенные на концах.

— Цивилизованные кооператоры! — продолжал кривляться Чеснок,— добудем собачьего меху на шапки ветеранам труда, а собачьего мяса ветеранам войны! По талонам, товарищи, по талонам! По паспортам! Шире кооперативное движение! Будущее за кооператорами, товарищи!

— Ну тя к шуту, Чеснок! Или дело делать, или в магазин за бутылкой! — махнул на него Лошак.

Они завели грузовик, уселись втроем в кабину, повели свое громыхающее, шаткое, на лысых колесах изделие мимо станции, по бетонке, навстречу КамАЗам, в город. Остановились у магазина, и Чеснок купил несколько буханок хлеба и бутылку подсолнечного масла.

— Наживка есть, ловцы готовы, айда зверя искать!

Они стали кружить по городу, оставляя за собой клубы едкого дыма. Заезжали в микрорайоны, заглядывали на свалку, на задворки магазинов и складов,— искали собак.

Стаю они обнаружили за кинотеатром в маленькой рощице с сырыми деревьями, грязными нерастаявшими буграми снега. Собаки лежали, сидели, вяло вились среди деревьев, поглядывали голодными тоскливыми глазами на близкую дорогу, по которой катили зловонные грузовики с грузом песка и железа. Вожак стаи, косматый серый пес с остроконечными ушами, сидел в середине, возвышаясь над остальными собаками, и на груди его светлело пятно грязно-белого меха.

Чеснок пересел из кабины в фургон, оставив открытой дверь в торце. Машина стала пятиться к роще, осторожно, чтобы не застрять в колдобинах. Собаки, заметив машину, повернули к ней морды, чуткие, умные глаза, привыкшие к соседству людей и моторов.

— Ну что, собачки, оголодали? А косточку куриную?.. А бульончик? А жареный шашлычок?.. Только для вас, бесплатно, в кооперативе «Песик «черный носик»!.. А ну, получай!

Чеснок отломил от буханки ломоть, полил подсолнечным маслом, кинул собакам. Сначала звери отпрыгнули, думая, что в них швырнули камень. Но потом одна собака, учуяв запах хлеба и масла, кинулась к ломтю, жадно, с хрипом проглотила, смотрела на грузовик возбужденными непонимающими глазами, страстно обнюхивала землю, где только что лежал хлеб.

— Смелей, смелей, подходи! — приглашал Чеснок, макая хлеб в масло.— Только у нас!.. Бесплатно!.. Фонд помощи бездомным животным!.. Филиал фонда «Милосердие и развитие».

Он кидал кусок, и стая бросалась вся разом, грызлась, хрипела, скулила. Удачливая собака торопливо проталкивала кусок в пищевод, норовила выскользнуть из круга, уклоняясь от клыков и когтей. Вожак не двигался с места, хмуро поглядывал на грузовик, на Чеснока, на урчащую стаю. Глаза его вспыхивали рыжим злым огнем. Он слабо скалился, издавал негромкий рык.

— Лошак, давай самый малый вперед!.. Не гони! — приказал Чеснок сидящему за рулем напарнику.— Собачки, за мной!.. Да не бойся, песик, хороший!

Фургон медленно покатил. Чеснок сидел в распахнутых дверях, отламывал от буханки куски, мочил в масле, швырял на дорогу. Собаки кидались следом, хватали, увивались за машиной, и только вожак встал последним, неохотно семенил, ворчал, словно отговаривал стаю, но та, опьянев от нежданного лакомства, от воркующего голоса Чеснока, следовала за фургоном, втягивалась на мокрый в блестящих лужах бетон.

Они прокатились по микрорайону, к стройплощадке, где возводилась новая телефонная станция. Участок был огорожен бетонным забором. Железные ворота были открыты, и на пустой земле уже стояли деревянные ящики с оборудованием.

Грузовик медленно вкатил в ворота, увлекая за собой стаю. Чеснок щедро, в разные стороны расшвыривал остатки буханки. Гвоздь, косясь на собак, подбежал к воротам, закрыл створы, задвинул щеколду, и собачье толпище, окружавшее грузовик,— жадные, алчущие глаза, розовые влажные языки, блестящие в жидкой слюне зубы,— все скопище оказалось в замкнутом пространстве двора, и вожак, тревожась, бегал вдоль бетонной стены, отыскивая лаз.

— Ага, суки грязные, попались! — Чеснок злой, радостный, надевал большие брезентовые рукавицы. Гибко, ловко спрыгнул на землю, закрывая дверь фургона сваренной решеткой с маленькой, открывавшейся внутрь калиткой.

Все трое схватили крюки, кинулись на собак, пьянея от вида живой, страшащейся, доступной добычи.

Они гонялись по двору, дикие, потные. Хохотали, матерились, стонали. Настигали собак, наносили по их головам и спинам удары, пронзали загнутыми острогами, и животные, поджав хвосты, приседая, носились кругами, прыгали на бетонную стену, забивались под ящики, а ловцы извлекали их оттуда, швыряли в фургон.

Визг, вой, стенание стояли на стройплощадке. Обитатели детского садика по соседству выскочили из своих деревянных резных теремков, сказочных домиков, слушали крик убиваемых собак.

Последним, непойманным оставался вожак. Он легко уклонялся от охотников, в два прыжка оказывался на противоположной стороне двора, увертывался от отточенных гарпунов. Когда стая его была переловлена, билась, выла, харкала кровью в тесной тьме железного короба, он развернулся навстречу подбегавшему Чесноку, кинулся ему на грудь, сбил и, хрипя, продирая когтями брезентовую робу, стал подбираться к горлу мучителя. Чеснок завалился, заслонил горло руками, завизжал. Два напарника кинулись на выручку, они поднесли бьющегося тяжелого кобеля к фургону, вбили его внутрь, тяжело затворили створки дверей, задвинули засов.

— Суки вонючие! — Чеснок устало прислонился к фургону, в котором бились, стучали собачьи тела, слышались вой и стенание.— А то хлебушка с маслицем!.. А может, чего повкусней!.. Лошак, мать твою, включай агрегат!

Скаля стальные зубы, облизывая прокусанную руку, Лошак подбежал к кабине. Завел двигатель. Подскочил косолапо к выхлопной трубе, в которую был вварен вентиль. Матерясь, бормоча, закрутил его, и выхлопные газы пошли внутрь фургона.

За железной стеной лай и скуление перешли в истошный вой, хрип, клекот. Застучали, забились о стены живые тела, раздираемые, удушаемые газами глотки издавали крики, вопли, стоны. Слышался

почти различимый детский плач, женская мольба. В черном фургоне среди дымной смерти кончались жизни, старались пробиться сквозь сталь, стучали головами, животами и лапами. Трое людей, затеявших это убийство, стояли потрясенные, слушали звуки.

Все стихло. Работал двигатель. Сочились из щелей фургона ядовитые дымки. Стояло на опустевшем дворе оборудование для телефонной станции. Впитывало в свои реле и мембраны хрипы и вой собак.

— Отлично!.. Система сработала!.. Патентуем!..— Чеснок ободрился, старался ободрить товарищей. Плюнул на горячую выхлопную трубу, и она зашипела.— Айда на свалку свезем, а потом отмоемся!

Объезжая микрорайоны — детский сад с теремками, магазины с очередями, — выкатили на свалку, к мокрому зловонному оврагу с гниющим хламом, с жидкими оползнями...

Глава тринадцатая

Михаил Вагапов вел за собою Фотиева в реакторный зал, где собиралась на сходку бригада. Говорил ему на ходу:

— Я выступлю перед мужиками, предложу взять «Вектор» в бригаду. Кое с кем толковал. Одни согласны, другие сомневаются. Говорят: «Заумь ученая! Начальству не верим!» Уж вы тогда сами, Николай Савельевич, объясните людям. А Петрович, бригадир, согласен!

— Волнуюсь, Миша, устал надеяться!.. Последняя возможность!.. А иначе крах жизни!..— Фотиев подымался за Вагаповым по металлическим сварным лестницам вдоль бетонной шершавой толщи, как в огромном сыром желудке, ожидавшем пищу.— Устал я, Миша, устал!

Реакторный зал, где недавно стояли сверкающие элементы, был просторен и пуст. Реактор — крышки, цоколи, стаканы — был собран воедино, втиснут в стальную шахту. Вмурованная в бетон сердцевина, разделенная на ячейки и соты, была готова принять стержни урана, пропустить сквозь топку потоки воды и пара. В глубоком черном колодце, уводящем к подножию башни, дуло тугим сквозняком, блестели железнодорожные рельсы. По этим путям подкатит состав, из контейнеров извлекут драгоценный груз, погрузочная машина чуткой стальной рукой опустит стержни в ячейки, и в закрытом, закупоренном навеки пространстве возгорится угрюмый огонь, взбурлит кипяток, взревет перегретый пар, двинет лопатки турбин, разгонит до свистящего вихря металлическую машину.

Все это будет через несколько недель в день пуска. А сейчас в стерильно-белом зале, под красной балкой недвижного полярного крана, собралась бригада монтажников, в белых комбинезонах и шапочках, облепили последние еще не убранные стремянки, сидели в лучах прожектора, проводили собрание.

Фотиев, ослепленный белизной, примостился на деревянной катушке, с которой смотали кабель. Вглядывался в монтажников, казавшихся поначалу одинаковыми под белыми колпачками, постепенно различая знакомых. Петрович, бригадир, толстенький, узкоглазый, курносый, с неизменным торчащим из нагрудного кармана штангелем. Сергей Вагапов, притулившийся у стремянки, с какой-то маленькой разноцветной деталькой в руках. Главный инженер Лазарев, чьи черные выпуклые глаза сразу отыскали Фотиева, уставились настороженно, враждебно.

«Опять ожидание... Надежда на чудо... Вечное вымаливание... Не примут, отвергнут...» — думал Фотиев, не веря в успех, презирая себя за вечную мучительную надежду, за постоянное просительство. И все-таки уповал на чудо, отдавал себя суеверно во власть собравшихся, зачехленных в белое людей.

Трибуной служил металлический рифленый контейнер из-под

прибора. Первым взгромоздился на него бригадир Петрович, повертел плотной шеей, позыркал умными всевидящими глазками, мгновенно отметив присутствие двух инженеров— начальствующего Лазарева и опального Фотиева. Выступление его посвящалось тому, как быстрее добить последние огрехи, подготовить реактор к скорейшей загрузке, обеспечить пуск второго блока точно в срок.

— Чего нам осталось? Пару рукавиц сносим, и пуск! Кой-какую мелочевку добрать, и готовь карман для премии. Правильно я говорю? — он обернулся к Лазареву.— Но для этого все же придетсяповкалывать, когда в три смены, а когда и в ночь, без выходных. Тяжельше всего последние дни, это мы с вами ученые. И, может, нам начальство подбросит аккордно! А сейчас потолкуем, кто хочет сказать, как нам лучше сорганизоваться в последние предпусковые недели. Говорить откровенно, все свои. А чужие пусть тоже послушают,— он мельком взглянул на Фотиева, соскочил с постамента, упруго вернулся на место, по привычке проверяя, на месте ли его штангенциркуль.

Громыхнулся на контейнер высокий костистый монтажник. Выбросил вперед руку с кулаком. Его лицо под белым колпачком было гончарно-красным, а кулак из-под белого рукава — почти черный. Так разукрасили его ветры минувшей зимы, металлические элементы реактора.

— Петрович нам маслил: лучше работайте — вкуснее поешьте! Мы-то вкалываем на обещалку, а зарплаты не платят! Третий день без зарплаты. Кассирша орет — нету денег! Нет, так напечатай, гнида! Как рабочему без зарплаты? Может, у кого на книжке лежат, а у меня каждый месяц копейка в копейку! Начальство, небось, свои получает хрустящие! Пусть зарплату гонят, а то хрен работе! Пущай кассирша реактор пускает!

Сошел сердитый, набрякший, размахивая темными кулачищами.

Фотиев слушал знакомые, многократно и повсюду повторяемые угрозы и жалобы, с тем же жестом, с тем же клекотом в горле. Вся его жизнь была связана с рабочим людом, с упованиями, недовольством, наивным лукавством, безграничным терпением. Сейчас они сидели плотно, близко, белые, как чайки, среди огромного зала под льдистым куполом, в который была вморожена алая балка крана.

Загадочная социальная энергия таилась в этих людях. Общая невыявленная идея. Неизученная учеными, пренебрегаемая политиками. Разлитая по огромным индустриальным пространствам. Энергия эта воплощалась в изделиях, проникала под землю в рудные жилы, возносилась с ракетами в космос, смешивалась с океанским рассолом, с живой биосферой Земли. Оставалась при этом загадочной, с невыраженной народной идеей, измученной, искаженной, лишенной языка, упрятанной в косноязычие и мат, но связанной с тысячелетней ожидаемой правдой. Эту правду, как ее понимали рабочие, улавливал Фотиев в запутанных косноязычных речах, в крикливых требованиях, в хриплых голосах, в жалобах и угрозах; улавливал суть, ценности превыше хлеба насущного. Они хотели для себя довольства, обилия, сытости. Но не только для себя, и не только этого.

Они хотели справедливого устройства жизни, в которой каждому отводилось достойное место. Хотели, чтобы дела их рук — машины, приборы, станции — служили пользе, облегчали людскую жизнь, не комкали ее и не мяли, не губили красоту. Хотели, чтоб страна, по которой колесили, населенная ста языками, оставалась нераздельной и дружной, чтоб ее не терзали смуты, не топила ненависть, не грабил чужак. А была бы она в своем величии и силе принята с честью среди прочих стран и народов...

— Петрович, скажи, ты умный мужик, на кого мы пашем? — длиннорукий крикливый парень взывал к бригадиру.— На Африку?

На оборону? На космос? На партийное начальство? На профсоюзное? Рабочий человек из часа на себя десять минут работает, а остальное на лысого дядю и на его нарядную тетю! Хуже нас, русских, никто на земле не живет! Пусть будет здесь капитализм, но чтоб я жил нормально! Пусть мною буржуй командует, но чтоб я человеком был! На кой я буду надрываться, станцию эту пускать, если у меня одни штаны, и я угол гнилой снимаю! Пусть она взорвется к ядрене матери, если я от нее нищим стал!

Фотиев вдруг испугался. Его «Вектор», его социальный двигатель был призван отделять тьму от света, болезнь от здоровья, разрушительную темную мощь пропускать сквозь фильтры, подвергать очистке, возвращать в работу в виде чистой энергии творчества.

Но в двигателе была возможна ошибка, неточное сочетание частей, неверное сочленение объемов, был возможен перекос механизма, нарушение такта и ритма. Темная больная энергия проникнет в камеру сгорания, усиленная стократ — разрушит оболочку конструкции, размечет двигатель, вырвется на свободу всесокрушающим взрывом. Он, Фотиев, будет виноват в катастрофе. В нетерпении, в гордыне, поставив свой эксперимент, ввергнет людей в социальную катастрофу.

Он вспомнил Ладошкина в застекленной кабине, слепящую дугу электричества над его головой. Неужели повинен «Вектор»? Он, Фотиев, своей социальной машиной погубил человека?

Лазарев все это время сидел с книжицей и что-то записывал, а потом неловко залез на контейнер. Заглядывая в книжицу, обратился к рабочим. Речь его была построена умно и состояла из трех частей. В первой он призывал рабочих к сознательности, к чувству патриотизма: станция должна быть пущена в срок, напитать электричеством экономику, переживающую кризис, облегчить народные судьбы. Во второй части он обещал учесть все требования, которые записал: пусть люди знают, что администрация решает проблемы жилья и питания, экологии и безопасности. В третьей части он сулил бригаде награды и премии, дополнительные отчисления на строительство жилья и культбыта.

— Просьба, товарищи, поднапрячься! Ведь и мы, инженеры, днюем и ночуем на стройке. Потом отдохнем все вместе. Праздник устроим, салют пустим, расслабимся! А теперь поработаем дружно, просьба администрации!

— Сделаем, чего агитировать! — ворчливо соглашались рабочие.

— Расслабимся, если сил хватит! Путевки бы в санаторий дали!

— Салюты пускать научились, а инструмент где взять!

— Чего зря галдеть, айда работать!

Бригада уже начинала вставать, когда на ящик вскочил Михаил Вагапов.

— Слушай, мужики! Я вам говорил про «Вектор», который забодало начальство. Вот он сидит, Фотиев, у него мысли хорошие, как организовать учет, оплату, без туфты, по справедливости. Давайте, мужики, испробуем «Вектор» у себя, полезная вещь!

Рабочие зашумели. Кто-то отмахивался, кто-то бранил умников, сующихся с дребеденью к рабочим. Лазарев язвительно выкрикивал: «Пустота! Никакого открытия!»

Бригадир Петрович поднял вверх короткопалую растопыренную пятерню:

— «Вектор» надо взять, я с ним маленько разбирался, вещь полезная для рабочих. В чем мы, рабочие, перед начальством теряем? Руки крепкие, а голова слабая. Не можем понять, где нас по мелочи, а где по крупному обставляют. А «Вектор» покажет. Нам нужен свой человек с головой, который бы мог говорить с начальством от рабочего класса. Фотиев Николай Савельевич поможет нам разобраться!

Фотиев вслед за Петровичем спускался по железным лестницам в бетонное чрево башни. Был благодарен Петровичу, был снова исполнен надежд.

Глава четырнадцатая

В бригадирской комнатушке, в фанерной будке, в тесноте, где умещались лишь засаленный стол, металлическая лавка, пяток колченогих стульев, братья Вагаповы поджидали Фотиева, согласившегося рассказать бригаде о «Векторе». Они протерли стол, убрали с него прокопченные бумаги, прожженные сигаретами чертежи, пепельницу с окурками. Подмели загвазданный пол, расставили стулья. По стенам развесили таблицы и графики «Вектора». Михаил Вагапов положил на лавку растресканный, перемотанный изолентой кассетник — хотел записать выступление Фотиева, чтобы еще раз вернуться к непонятным местам, глубже понять метод.

Братья окончили уборку, уселись, ожидая прихода бригады. Михаил вынул из магнитофона чистую, предназначенную для записи кассету и поставил другую, с боевыми афганскими песнями, сочиненными самодеятельными певцами. Включил, и оба они, усевшись на лавке, слушали гитару, хрипловатые голоса, то неистовые, то грустно-тоскующие, и Михаил пояснял Сергею, о чем поется в этих военных, переложенных на музыку повествованиях.

В них говорилось о засадах на горных дорогах, о горящих колоннах, о вертолетных ударах, о ранах и смертях. Говорилось о пьянках, молитвах, ненависти и раскаянии. О нежности и любви к оставленным вдали домочадцам. Это был бесхитростный непрерывный рассказ множества сменявших друг друга людей,— попадали на войну, стреляли, убивали, умирали, успевали сочинить наивные неумелые стихи, положить их на нехитрую музыку и исчезнуть — либо погибнуть, либо упасть на госпитальную койку, либо вернуться домой в безымянную, безмерную жизнь народа, который по-своему пережил и эту войну, переживает и эту послевоенную жизнь с ее мукой, отчаянием, стоицизмом.

Михаил Вагапов слушал афганские песни не часто. Вначале, вернувшись с войны, не хотел о них знать, выключал телевизор и радио, если их слышал. Но потом потянуло к ним заново. Жена просила рассказать о войне. Он не хотел рассказывать, а просто включал кассетник, и она слушала, серьезная, задумчивая, стараясь понять, что пережил вдали от нее любимый человек, какие страхи и страдания перейдут от отца к рожденному сыну. Он же в этих песнях опять возвращался в минувшее, ужасное и больное, которое вдруг становилось драгоценным, желанным, и он боялся расплакаться, слушая хриплые голоса под гитару, ему снова хотелось туда, на те дороги и камни, которые прежде проклинал, ненавидел, а теперь опять к ним стремился.

В прокуренной комнатушке бригадира, закрыв глаза, он слушал кассетник. Песни сменяли одна другую, складывались в музыкально-цветную карту страны, где был коричнево-гончарный Герат, золотисто-зеленый Кандагар, фиолетово-синий Джелалабад, и пепельно-серый, с серебристыми кромками Кабул. И опять хрипели винты вертолетов, десантная группа подымалась на борт, затаскивала гранатометы и цинки, и замкомбата Мокеев нервничал, смолил сигарету, поправлял на спине новобранца поклажу с боекомплектом.

— А у нас в Чернобыле не было песен. Почему-то нет про Чернобыль,— сказал Сергей Вагапов, поднимая на брата бледное лицо, на котором лучи радиации отпечатали, словно негатив, разрушенную станцию.

Хлопнула дверь, в комнатушку вошел бригадир Петрович, следом — главный инженер Лазарев.

Михаил торопливо, путая клавиши, выключил музыку. Петрович, проходя к столу, усаживая Лазарева, сказал:

— Хлопцы, вы маленько там отдохните, мы тут с начальством кое-что обмозгуем, и я вас кликну. Народ собирается, зовите, будем слушать музыку про «Вектор».

Братья вышли, и все еще виделось — пыльные желтые вихри над винтами «вертушек», пятнистые бортовины со звездами, и к каждой машине удаляется цепочка десантников, исчезает внутри фюзеляжа.

Петрович и Лазарев остались вдвоем.

Через минут десять-пятнадцать Лазарев вышел, и машина увезла его туда, где искрилась и ворочалась стройка. Следом ушел и Петрович.

Братья Вагановы вернулись в комнатушку, присели на лавку.

— Я говорю: «Петрович, давай ребят организуем, пройдемся по магазинам, пошарим под прилавками. Тряхнем ворье рабочим контролем». А он: «Пусть партком даст указание, тогда и тряхнем».— Михаил крутил огрызок карандаша, оставленный бригадиром.— Вот я дурило тупое! — воскликнул он.— Пленку-то стер!

Магнитофон, оставленный на лавке, продолжал крутиться. Михаил второпях, путаясь в кнопках, выключил музыку, но по ошибке надавил на клавишу записи. Дорогие ему афганские песни оказались стертыми. Кляня себя, он остановил кассету, перемотал ее немного назад, снова включил, желая убедиться в том, что песни действительно стерты.

Зазвучали голоса:

«...Передам руководству, что ты эту заразу не примешь. Гони ты этого дурачка малохольного, Фотиева! — Поговорю с мужиками. Чего зря мудрить! Работали неплохо, и будем работать.— Добро!..»

— Ну-ка, ну-ка! — потянулся к магнитофону Сергей.— Что там без нас Петрович состряпал?

Михаил перемотал кассету назад и еще раз включил:

«...Приходи в управление, получишь талон на паек. Рыба копченая, бельгийская колбаса. Икра бывает, кофе. Будешь паек получать, ребятишек подкармливать...»

— Стоп! — остановил кассетник Сергей.— Давай все сначала! За что начальство Петровичу икру сулит?

Они перемотали кассету, включили. Сначала зазвучало хрипловатое окончание песни: «Идут караваны, везут из Пакистана оружие для духов и еду. А мы лежим в засадах, и спим при автоматах, и ждем, когда команду нам дадут!»

Песня оборвалась, и после щелчков и шелестов зазвучали голоса бригадира Петровича и главного инженера Лазарева. Братья, затаив дыхание, смотрели на расколотый, перетянутый изолентой кассетник.

В бригадирскую комнату с железной лавкой и колченогими стульями набивались рабочие — слушать «Вектор». Иные, из бригады Петровича, не смогли превозмочь усталость, отправились после смены по домам, к женам, ребятишкам, в дремотное тепло телевизора. Но явились монтажники из соседних бригад, прослышав про лекцию, те, кто помоложе, кому любопытно узнать, что за лакомую новинку им сулят, что за диковина, звучащая, как название хоккейной команды,— «Вектор».

Пришел Петрович, сосредоточенный, с торчащим из кармана штангелем. Пришел Фотиев, нарядный, в новом костюме и галстуке,

торжественный и взволнованный, готовый проповедовать, терпеливо разъяснять, настойчиво обучать. Робел, любил этих утомленных, с сутулыми плечами людей, понимая свою от них зависимость, зная, что и им без него никуда. Пришла Антонина вдохновить, поддержать, полюбоваться на любимого, побыть с ним рядом в минуту испытаний. Думала о Фотиеве, а чувствовала каждый миг, в каждом вздохе присутствие в себе другой, возникшей вдруг жизни.

Фотиев готов был уже выйти к столу, развернуть рулон с графиками, повесить на кривые гвозди, но встал Петрович, уперся в стол короткими пальцами и сказал:

— Правильно сделали, что собрались, решили поинтересоваться, что нам умного расскажут. Хотя, конечно, смену отгрохали тяжелую, и надо бы по-хорошему домой. А то ребятишек совсем не видим. Но мы решили из уважения к умному человеку остаться и послушать, что он нам такое расскажет. Хотя должен вам сказать, тут я хорошо подумал, умом пораскинул и решил, что брать нам в бригаду этот «Вектор» не след. Сейчас последний, как говорится, предпусковой этап, дело у нас худо-бедно налажено, из графика не выпадаем. А если влезем в новый метод, он нам все поломает. Я бригадой рисковать не могу. К тому же, должен сказать, этот самый «Вектор» в тресте Накипелова был внедрен, все понапутал, грехов понаделал, Ладошкина током убило. Он, вишь, хотел воздушный шар запустить, в небо лететь, а полетел вниз, под землю. «Вектор» ему направление указал. Так что, как вы хотите, а в бригаду этот самый «Вектор» взять не могу. Опытов на людях ставить не дам. Мы — не кролики, нам не нужна морковка!

Сел, крепкий, плотный, властный, поглядывая на людей решительными узкими глазками.

— Правильно,— поддержали его те, кто пришел неохотно, обрадовались, что лекция не состоится.— Чего нам слушать муть! Айда до хат!

— Петрович правду сказал! Нечего нам пудрить мозги. Мы работу знаем. Петрович инструмент обеспечит, фронт работ даст, людей по уму расставит, и будет план, будет график, будет деньга! А эта пудра нам не нужна!

— Его еще привлечь за Ладошкина! Такого мужика сгубили! Пить бросил, человеком стал, а его за это под ток. Баба его плачет, труп не отдают из морга. Надо им суд устроить!

— Айда, мужики, по домам!

Люди вставали, двигали стульями, оттягивали на боках телогрейки и робы.

Фотиев, беспомощный, униженный, в своем нескладном костюме, дыбом стоящем галстуке, протягивал руки, словно старался их удержать. Антонина чувствовала его ужас, испытывала страстное за него огорчение. Видела — еще мгновение, и общее, захватившее всех отчуждение подымет бригаду, и все уйдут, и уже не соберутся, а он останется, несчастный, униженный, навеки никем не понятый. Это общая, его и ее, беда была и бедой их будущего, еще не рожденного сына.

— Куда же вы! — метнулась она, заслоняя двери.— Вы должны выслушать! Он жертвует всем, для вашей же пользы!

Все начинали выходить, стараясь не смотреть на Фотиева. Тот молча, потрясенно прижался к стене. Презирал себя: даже голоса не может подать, крикнуть с клекотом, грозно, оглушить матерщиной и руганью, привлечь их внимание грязным словом. Выкрикнуть им в лицо, что они тупицы, жалкие рабы, вечно в дураках и обмануты, и их удел — терпеть, пить водку, ворчать в кулак, в слепоте и непонимании мира, доколе не случится последняя беда, страшная одна на всех авария, в которой погибнет не станция, не реактор, а само государство. В последнем взрыве не уцелеет никто,— ни барак, ни кот-

тедж, ни президентский дворец, ни подземный бункер,— все погибнут под страшными обломками мира.

Стоял в немоте, сознавая свое ничтожество, свою ненужность и обреченность.

— Стой! — раздался крик, покрывающий шарканье ног, стуки стульев.— Стой, мужики! — Михаил Вагапов, белогубый, в красных пятнах, с бегающими желваками, вскочил на скамейку, уперся головой в потолок.— Говнюки!.. Правильно вас козлами зовут!.. На дешевке вас каждый раз покупают!.. Вами мафия крутит, подонки, воры!.. За людей не считают!.. Захотят, в Афганистан вас пошлют, людей убивать!.. Захотят, в Чернобыль, руками уран разгребать. Запихают в дерьмо и спустят!.. Они, как вши, на вас живут, пьют вашу кровь, а вы и не чешетесь!.. Повяжут вас с вашими женами, ребятишками и в Японию отправят, как дешевую рабочую силу, за японцами говно убирать. Россию сперва стреляли, потом пропивали, теперь продают навынос!.. Мы что, не русские, что ли!

Он захлебывался. Лицо его без кровинки было страшным. Синие глаза выцвели до белизны. Губы под усами были, как глина. Вся его кровь скопилась в горле, в набухших венах. Казалось, он сейчас рухнет. Что-то лопнет в нем, и из распавшихся жил хлынет черная кровь.

— Чего орешь! — люди обернулись, остановились в дверях.— Не лайся, а объясни, чего хочешь. А то за козлов можешь по рыльнику схлопотать!

— Сейчас объясню, мужики! — заторопился, приходя в себя, Вагапов.— Сейчас объясню!.. Серега, врубай кассетник!

Сергей Вагапов поднес к столу растресканный, перетянутый изолентой кассетник. Включил, и все вытянули шеи, стали слушать.

При первых же звуках своего голоса Петрович, сообразивший, что ему уготовано разоблачение, кинулся к столу:

— А ну дай!.. Убери!.. Подделка!.. Подставить хотите!

Но Михаил перехватил его руку, сжал в своем белом костяном кулаке:

— Не тронь, тварь! Слушай!

Звукозапись докатилась до места, где речь повелась о гастрономе, о пайке, о квартире. Петрович трусливо дернулся, кинулся было к выходу, но его не пустили, заслонили дверь плечами, насупленными лбами, угрюмыми, в упор направленными глазами. И бригадир застрял, слушал, открыв рот, шевеля губами, и казалось, что он повторяет слова своей фонограммы. Пленка прогнала запись тайной беседы Лазарева и Петровича. После хрипа и щелка опять врубилась афганская военная песня: «Баграм, много сил осталось там!..» Сергей нажатием клавиши погасил хриплый яростный куплет.

Длилось мгновение тишины, тяжелого дыхания, мучительного непонимания. А потом ахнуло:

— Петрович, сука, продал нас за балык с тушенкой! Ночью тайно жрать будешь?

— Они нас всегда продавали, во все века! Они нас в войну продавали, и будут еще продавать!

— Закопать его, суку, в землю по шейку, а перед мордой колбасу положить! Нету терпения больше, все бы начальство вот этими руками в землю зарыл!

— Мужики, берегите пленку! Ее в Москву, на Верховный Совет отвезти! Пусть знают депутаты, как здесь нашего брата, рабочего, продают!

— Да на хрен тебе Москва! Ее взять и прокрутить по вашей трансляции, по всем динамикам! Народ подымется, все управление по камушкам разберет!

— В райком айда, в профком! Пусть правду знают, пусть за рабочий класс заступятся!

— Какой тебе в зад заступятся! Все заодно! Начальство все заодно! Правду Вагапов сказал — нашу кровь пьют!

Они шумели, выкрикивали, плевались, махали кулаками. Сгрудились вокруг пластмассового дешевого кассетника, требовали, чтобы снова включили. Они были поражены обманом, не этим, прозвучавшим на пленке, где их предавал бригадир, которому доверяли, отрекался от них так просто, за копченую рыбу, за посул, за понюшку. Нет, они были поражены огромным, длившимся всегда и везде обманом, витавшим в домах и конторах, в кумачовых лозунгах на стенах станции, в речах депутатов на съездах, в ублажающих посулах вождей, в получках, в авралах, в очередях за водкой и мылом, в лакированных, проносившихся машинах, в разоренных деревнях, откуда все они были родом, в измученной умиравшей природе, в чем-то еще, неназванном, случившемся с их отцами и дедами. Обман, огромный, всеобщий, обнаружился, записался на пленку, прозвучал из дешевого магнитофона, вызвал их гнев и презрение

— Айда соберем все тресты! Начальство вызовем! Пусть ответит!

— Мы не рабы, не в ЮАР! Торговать собой не позволим! Рабочий класс свое слово скажет!

Петрович протиснулся сквозь толпу. Его толкали в спину, плевали вслед, грозили кулаками. Он, торопливо оглядываясь, семенил на своих упругих коротких ногах.

Антонина, как вошла в эту маленькую переполненную комнату, как увидела Фотиева в неумело повязанном галстуке, готового к парадному чтению, так и жила одним с ним дыханием. Перетерпела его позор, катастрофу. Слушала, как и он, пораженная, лукавые голоса из кассетника. Выкрикивала в спину Петровича бестолковую хулу. И внезапно будто прозрела. Уверовала в возможность здесь, сейчас, в тесной комнатушке, среди обманутых, готовых на безрассудство людей,— в возможность их общего единения и согласия, просветления и братства.

Вскочила на ту же колченогую, пошатнувшуюся скамью, где только что стоял Михаил:

— Никто другой не поможет, ни в Москве, ни на Луне! Послушайте Фотиева, он научит! Чтобы нас никто не обманывал. Мы как слепые, жизнь от нас занавешивают. «Вектор», как фонарь, наведет, и увидим, кто добрый, кто злой, кто себе хватает, а кто отдает, кто за народ, а кто против! Дорогие, милые, давайте послушаем Фотиева!

Все соглашались. Забыли о недавнем отчуждении, о желании разойтись по домам. Их всех предали, всех оскорбили. Вместе с ними предали Фотиева. Значит, он был им свой, был их товарищ.

Они расселись, хотели, чтобы он их учил, открыл смысл в неясном, тусклом, окружавшем их бытие, где их постоянно обманывали. Чтобы тусклый угрюмый мир стал прозрачным

Фотиев только что пережил поражение, утрату сил, и вновь обрел их, увидев внимательные, серьезные лица рабочих. Стал говорить. Говорил не о методе, не о теории исправления жизни, а о самой накопившейся в народе потребности исправить искривленную лишенную смысла жизнь. Взывал к ним, к уставшим, отчаявшимся, изверившимся; взывал к лучшему, на что они были способны будил в них эту способность. Не учил, а рассказывал о своих ошибках и промахах, об открытиях, добываемых в полуголодных скитаниях Рассказывал, как рабочая жизнь становилась ему понятной, как в ней открывался закон, по которому люди шли не в погибель и ненависть, а в добро и спасение.

Антонина и раньше слышала эти мысли. На разные лады, многократно на людях или в уединенных беседах он повторял их. Она их не всегда понимала, но всегда чувствовала сердцем. «Вектор», который для Фотиева был системой и методом, воплощался в таблицах

и графиках, для нее был образом, похож на разноцветный фонарь. Был цветком, наподобие дикой вьющейся розы, что росла на отцовской заставе, и она любила смотреть в шевелящееся, живое, благоухающее соцветье. Или той горной сахалинской рекой, по которой из моря двигались рыбины, одолевали перекаты и кручи, отягченные икрой и молокой, в муке, ударяясь о камни, ввысь, в гору, к облаку, к небу. Его открытие было для нее потаенной, чудно зреющей жизнью, которую она взращивала в себе.

Она слушала Фотиева, не звук его слов, а образ, и любила его.

Рабочие выслушали Фотиева, согласились прийти назавтра, чтобы он посвятил их в суть метода. Научил, как построить по «Вектору» работу бригады.

— Мужики! — сказал рыжий вихрастый монтажник, пряча блокнот, куда заносил мысли Фотиева.— Выберем бригадиром Мишку Вагапова. Он мужик с башкой, Афган прошел, две дырки в теле имеет. Он к Ладошкину бросился, его из-под тока тащил. Он не предаст, за нас будет биться!

— Да брось ты, куда мне! — отмахивался Михаил.— Надо кого постарше! Кто работу знает и ум имеет!

— А ты кто, дурочка? — перебили его.— Ты и будь!

— А Фотиева в начальство двинем! Выборы будут, прокатим Горностаева с Лазаревым, а Фотиева выберем! Надо народ агитировать!

— За Фотиева агитация, а Вагапову приказ! Чтоб не вякал, не отвертывался, быть ему бригадиром!

— Пленку береги. Мы ее по трансляции на всю стройку прокрутим.

Глава пятнадцатая

В воскресенье в общежитии, в комнатке Михаила Вагапова, ожидали прихода священника, чтобы крестить новорожденного младенца Дмитрия. Антонина отправилась в Старые Броды, на квартиру к отцу Афанасию,— должна была его привести в общежитие.

Здесь же, в тесной, заставленной скарбом комнатушке, накрывали стол, готовили трапезу, вскладчину, из того, что сумели достать в полупустых магазинах, из запасов на всякий случай.

Елена Вагапова, в новом платье, чуть тесном в груди, взволнованная, радостная, то и дело исчезала за занавеской, где в колыбели спал сын. Появлялась с умиленным лицом, смотрела умоляюще на мужа, словно боялась, как бы он в последнюю минуту не передумал, не отменил задуманное ею действо.

Катюха помогала накрывать стол. Посмеивалась, покрикивала на Сергея, посылала его то за тарелками к соседям, то в булочную за хлебом. И тот покорно, радостно, чуть улыбаясь на ее покрикивания, исполнял поручения. Их глаза на мгновение встречались, и оба замирали, соединялись в этих взглядах. На бледном лице Сергея выступал чуть заметный румянец, и он забывал, что в руках у него тарелка, смотрел на Катюху, а потом, опомнившись, ставил тарелку на стол, торопился выполнить очередное ее указание — резал хлеб, подтаскивал стул, втискивал его в тесноту поближе к столу.

Пришел расконвоированный художник Тихонин, смущался своей затрапезной одежды, жался в угол, не находил себе места, пока Катюха не сунула ему в руки эмалированный тазик с расписными цветами — поручила вымыть хорошенько и наполнить водой.

Фотиев с Накипеловым сидели в соседней комнате, у Сергея, где еще недавно жил Фотиев, а теперь поселился монтажник, уехавший из Прибалтики, от националистов. Накипелов, отстраненный от дел после гибели Ладошкина, мучился, маялся, рад был заглянуть

в общежитие, окунуться в суету, праздник, жаловался Фотиеву на свои невзгоды, выслушивал утешения.

Стол был накрыт, младенец спал в колыбели. Эмалированный таз с нарисованными цветами, служивший купелью, стоял на табуретке, полный воды. Рядом лежали свечки, белые, толстые, купленные в хозяйственном магазине. Все ждали отца Афанасия, немного смущались предстоящего священнодействия, не знали своего в нем места, но были торжественны, праздничны.

— Если узнать хорошенько, то каждый из нас крещеный. Кто в деревне родился, обязательно крещеный. Меня бабушка Варя крестила, в церковь возила. Обязательно, кто деревенский, тот крещеный! — Катюха, самая из всех уверенная, знающая, Бог весть откуда черпала свою уверенность и знание, готовилась смело и радостно участвовать в древнем обряде.

— Я почему решила Митю крестить,— оправдывалась Елена, обращаясь лицом к гостям, а всей речью, умоляющим взглядом — к мужу, сидящему на краешке стула.— Может, думаю, Мите легче будет жизнь проживать. Может, это его защитит. Время-то какое идет! Страшное! А вдруг Мите поможет, отведет худое! — она вымаливала спасение сыну, доброй, без мучений и бед жизни.— Я спрашивала старушку одну в поликлинике. Она говорит: «Крести. Болеть не будет».

— Может, и правда что-то есть, какая-нибудь сила небесная. В Афганистане многие верили, молились даже. Комвзвода ранили, стали бинтовать, а у него крестик на груди. Должно, мать надела. Тоже, видать, деревенский. Кто его знает, что там! — Михаил чуть поднял лицо к потолку, где висел дешевый нитяной абажур, но мысль его была о небе, по которому летели бурные весенние облака, проносили маленький голубой лоскуток.

— А я каждый день молюсь,— признался Тихонин.— Перед сном. О жене, о сыне, чтоб были здоровы. Чтоб мне поскорее выйти на волю, и их повидать. Может, у нас все наладится, жизнь хорошая начнется. Помолюсь, и знаете, легче станет. Как будто тепло в груди.

Фотиев не вступал в разговор. Молча, рассеянно улыбался, глядя, как блестят тарелки и чашки, как краснеют покрытые водой цветы на донце таза, какие красивые, молодые и милые лица у женщин, и славные, знакомые, серьезные — у мужчин. Ему было хорошо, на редкость спокойно. Этот покой был краток, почти моментален среди тревог и напастей последних дней. Завтра покою конец, напасти и тревоги продлятся, их груз будет почти непосилен, и надо сейчас, в это краткое отдохновение, наглядеться на белый блеск чашек, на эмалированные цветы, на милые и добрые лица. Он сидел, молчал, улыбался.

Антонина еще прежде сговорилась с отцом Афанасием и теперь нашла его в Старых Бродах в рубленой почернелой избе, где он квартировался у одинокой пожилой хозяйки. Изба была деревенской, с воротами, огородом, хлевом, где мычала корова и слышался крик петуха. Из таких стародавних домов состоял весь посад, уходивший в поле, где туманилась и искрилась сталь высоковольтных опор и, далекая, окруженная чадом, громоздилась станция.

Отец Афанасий пригласил Антонину в свое жилище, и, пока собирал чемоданчик, охал, волновался, вслух попрекал себя за рассеянность, она оглядывала тесный уголок, где ютился священник. Маленький образ в углу. Красная на цепочке лампада. Столик под скатертью, на котором лежала кожаная, морщинистая, похожая на хлебную ковригу книга. Медный закапанный воском трехсвечник.

Потом они шли по городу. Отец Афанасий приподнимал подол рясы, когда встречалась на пути лужа. Антонине нравилось идти ря-

дом со священником, замечая, как оглядываются на них встречные, уступают дорогу.

Они прошли в общежитие мимо суровой комендантши, которая, увидев священника, не нахмурила свой красный в экземе лоб, не сузила зло маленькие зоркие глазки, а молча, почти подобострастно пропустила их, приоткрыв рот с металлическими зубами.

Их встретили радостно и смущенно.

— Батюшка, проходите сюда, вперед, к окошку ближе! — хлопотала Елена, гордая, благодарная за этот необычный визит.

— Здравствуйте, святой отец,— поклонился священнику Фотиев.— Рад вас увидеть снова.

— Не волнуйтесь, мне везде хорошо, — отвечал отец Афанасий. — Вот и умница, что приготовила,— похвалил он Елену, увидев таз, полный воды, и свечи на табуретке. — Свечи-то прилепи на край. Пусть горят над купелью, а эти толсты, на-ка вот тоненькие.

Сухонький, верткий, в темной ряске, узкий в поясе, он сразу вписался в переполненную комнатушку, не увеличив тесноты, не потеснив никого.

— Младенца как нарекли?.. Простынку чистую вынь!.. Сейчас и начнем!..

Отец Афанасий раскрыл свой чемоданчик, стал извлекать из него жесткие, плохо гнущиеся облачения, шитые тусклым серебром.

— Епитрахиль, фелонь, поручи принадлежали, говорят, отцу Иоанну Кронштадтскому. А мне, грешному, достались в дар от усопшего ныне владыки,— отец Афанасий извлекал из чемоданчика книжицу, два креста — большой, на цепочке, с выпуклым изображением Христа, и малый, на белой шелковинке,— флакончик с жидкостью и малую кисточку. Все это раскладывал на краешке стола.

— Кто крестные? — спросил он, останавливая взгляд на Катюхе.— Ты крещеная?

— Крещеная,— сказала она.— И он крещеный,— указала она на Сергея, желая, чтоб и он был с нею рядом.

— Тогда придвиньте купель. И несите младенца... А вы, отец с матерью, ступайте за занавеску. Вам при крещении быть не положено.

Елена с Михаилом послушно удалились. Катюха с Сергеем выдвинули на середину табуретку с тазом, зажгли, прилепили к краям купели свечки, встали по обе стороны, ожидая новых указаний священника. И все, кто ни был в комнате, повиновались отцу Афанасию, исполняли его негрозные наказы.

Отец Афанасий навесил на себя крест, нацепил на нос старомодные в железной оправе очки. Открыл книжицу в затертом переплете. Антонина увидела в ней среди серых прозрачных строчек тонкую алую буквицу, напоминавшую гибкого пушного зверя, свернувшегося на зимней лесной опушке. Священник оглядел всех сквозь очки голубыми внимательными глазами. Стал читать, сначала тихо, прерываясь, умолкая, а потом все крепче, мелодичнее, нараспев, то возвышая свой поющий голос до сладкого воркования, то понижая его до тихого бархатного рокота.

Антонина слушала молитвенные напевы, вереницы малопонятных, сладко звучащих слов, и ей показалось, что буквица ожила, превратилась в красную пушистую белку, и та полетела, заскользила по вершинам деревьев. Увидела горящие свечи, слабо отраженные в прозрачной воде, сквозящие сквозь воду цветы, и вдруг впала в оцепенение, будто тело ее лишилось подвижности, зрачки расширились, наполнились влагой, а в груди, в теплой, открывшейся глубине возникла чуткая нежность ко всем, здесь сидящим, обожание, бережение. Слушала рокоты и воркования священника, обращала ко всем теплый, невидимый, исходящий из сердца луч.

— Благословенно царство Отца и Сына, и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь! — возглашал священник, поднимая крест, обращая его на воду и свечи.

А в ней, в ее открытом сердце — желание блага Елене, Михаилу, их новорожденному сыну. Пусть ему будет хорошо, светло, любо, и пусть у него будет та большая картонная книга, где нарисованы терема, колокольни, синие далекие елки, красные березняки и осинники, как в той позабытой книге, что читала в детстве и верила — где-то есть царство, откуда все вышли и куда все вернутся.

— Миром Господу помолимся о свышнем мире, о мире всего мира, о святом храме и оеже осветитися воде сей силою и действием, и наитием Святаго Духа, Господу помолимся! — рокотал священник, кланяясь воде, горящим в ней отражениям, цветам на дне тазика.

Антонина понимала по-своему таинственные слова, не разумом, а наитием, желала блага Катюхе и Сергею, стоящим по обе стороны от воды и горящего воска. Оба с юности испытали горе и труд, едва не погибли, но нашли друг друга и спаслись. И пусть они всегда остаются вместе, и их не коснется несчастье, злая воля и жестокое слово, и будет мир всего мира, как поется в таинственном чудном песнопении.

— Оеже показатися ему Сыну Света и Наследнику вечных благ, Господу помолимся!

Тихонин, милый, робкий, безответный, с кем случилась беда, и он в своей вине и раскаянии безропотно несет наказание в разлуке с любимой женой и сыном. И пусть ему будет легче в его заточении, пусть будет благосклонно к нему лагерное начальство, и суд пусть смилуется и смягчится, отпустит его на свободу. Так думала Антонина, вслушиваясь в песнопение, понимая, что оно свидетельствует о каком-то ином, не их бытие, о какой-то возможной небесной жизни, от которой они отпали, но если оцепенеть, замереть, расширить зрачки, устремиться прозревшим сердцем навстречу словам вслед за красной парящей белкой, то можно войти в эту жизнь, в сквозящую сквозь ветки деревьев лазурь.

— Оеже быти ему воде сей банею пакибытия, оставления грехов и одежды нетленныя, Господу помолимся!

Накипелов в своей упорной неукротимой энергии, в поисках правды натолкнулся на стену, остановленный, сокрушенный. И пусть он воспрянет, пусть вернутся к нему сила и вера, не хмурый, не печальный сядет в их общее застолье.

— Оеже избавитися ему же и нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся!

Эти последние звучания Антонина обратила на себя, на Фотиева, на зреющую в ней жизнь, на ее слабое поминутное взрастание. Заключила эту жизнь в невидимый шар света, сделала недоступной злу, но открытой красоте и добру. И в этом облачении света они втроем сберегутся, будут навеки счастливы.

Отец Афанасий прикоснулся к купели, погрузил в нее пальцы, перекрестил ее трижды, пронося над тазом свои серебряные нарукавники. Дул на воду, произнося:

— Да сокрушатся под знамением образа Креста Твоего вся супротивныя силы!

Выпрямился, стряхивая с пальцев мелкие капли:

— Внесите крещаемого!

Катюха кинулась послушно за занавеску, где мелькнуло настороженное лицо Елены и послышался слабый писк проснувшегося ребенка.

Бережно, на раскрытой простынке Катюха вынесла младенца. Он попискивал, сучил кривыми воздетыми ножками, сжимал крохотные кулачки. Его голова, слабо поросшая волосами, покоилась на ла-

дони Катюхи, и весь он был на виду, окруженный взрослыми людьми, над купелью с цветами и горящими фитильками свечей.

Где-то рядом — из тяжелой материи, среди лязга и дыма возводилась станция. В стальной замурованной чаше сгорал уран. Электронные датчики следили за работой реактора, не допуская возможность взрыва. А здесь, в тесной комнатке, творился обряд освящения новоявленной жизни, приобщая ее к сокровенным мирам, откуда посылалась ей незримая хранящая сила, и душа, еще незрячая, еще без греха, сочеталась с этой таинственной силой.

— Помазуется раб Божий Дмитрий елеем радования во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь!

Отец Афанасий окунал кисточку в стеклянный флакончик, наносил маслянистый, лакированный крестик на лоб младенца, на грудь, на живот, на ладони, размыкая крохотные кулачки, которые тут же смыкались, на стопы, придерживая их за маленькие розовые пальцы.

— Оеже ходити ему по стопам заповедей Твоих!..

Перенял у Катюхи младенца, ловко, плотно положил его на ладони лицом вниз. Поднес к купели, зачерпнул воду, обрызгал спину младенца еще и еще раз, и испуганный, окропленный ребенок закричал, раскрыл алый зев, а священник держал его над рябью воды, над помутненными цветами, возглашая:

— Крещается раб Божий Дмитрий во имя Отца, аминь! И Сына, аминь! И Святаго Духа, аминь!

Передал его, улыбаясь, Катюхе, стряхивал с рук капель на подставленное белое полотенце.

— Теперь зови родителей, пусть примут окрещенное чадо и помолятся, как умеют, о его благе!

Ребенок кричал, пульсировал на белой простынке, оставляя на ней влажные, упавшие брызги. Елена взяла его, озирала, целовала, оглядывала со всех сторон, не изменился ли, не случилось ли что, показывала его Михаилу. Ребенок кричал во весь рот. Все привстали, окружили его. В это мгновение в окошко влетел луч солнца, ударился о купель, о воду, о серебряное одеяние священника. И Антонине показалось, что в комнате пронеслось крылатое лучезарное диво, оглядело их всех счастливыми очами и кануло. Только над тазом с цветами дрожало, исчезало сияние.

Глава шестнадцатая

Михаил Вагапов сидел в бригадирской комнатке, где еще недавно размещался Петрович. Стены увешены графиками и таблицами «Вектора», колпак из нержавеющей стали полон окурков. На полу жирная непросохшая грязь. Теперь он, избранный бригадиром, сидел на месте Петровича, сделав первые записи в свою бригадирскую книжку. Слушал рыжего рабочего из соседней бригады, который тряс перед ним магнитофонной кассетой:

— Сперва врубим песню, афганскую, ту, твою любимую, со стрельбой... Потом твое слово, объяснишь, как все было, как начальство нас продает... Потом прокрутим Петровича с Лазаревым... А потом ты снова скажешь про митинг: приглашается, дескать, весь рабочий класс стройки — обсудить, как жить дальше... Через час радиорубка будет в наших руках, на аппаратуру свой парень сядет... Как говорится, почта, телефон, телеграф... Через час зайду, готовься! — он выскочил, рыжий, энергичный, действующий во имя справедливости, желающий посрамить неправое, изолгавшееся руководство...

Вагапов остался сидеть, глядя на целлулоидную оболочку кассеты, где хранились полустертые афганские песни в исполнении участников злополучной войны. Туда же случайно залетел разговор двух вероломных людей, резко, нежданно изменивший жизнь Михаила.

Намереваясь выпустить кассету в эфир, он предчувствовал, что изменения в его жизни продолжатся, сулят беспокойства и хлопоты, траты душевных сил.

Он сидел, глядя на кассету, обдумывая слова, которые через час произнесет по радио.

Тихонько постучали в дверь, и в комнату вошел главный инженер Лазарев, осторожно и добродушно улыбаясь с порога, внимательно и зорко оглядывая Михаила выпуклыми глазами.

— Не помешаю? Народ отпустил?.. Ну теперь-то ты понимаешь, как работать с людьми? Нашего брата хоть немного поймешь? — Лазарев сел у стола, и глаза его остановились на кассете, быстрым блеском отметили ее присутствие и больше не возвращались к ней. Бегали рядом, вокруг, задерживались на чем угодно, только не на кассете.

Михаил близко, в упор рассматривал пришедшего человека, пытался понять, с чем явился: с прежней враждой и презрением или с желанием помочь. Изучал Лазарева — выпуклые, лиловатые незлые глаза, мягкий приветливый рот, непрерывно вращавшиеся, моющие друг друга ладони.

Лазарев стал жаловаться на чудовищные трудности, бесконечные накладки. Вагапов верил. Администрации было не просто. Они и впрямь не спали ночами, месили грязь по площадкам, обрывали телефоны в Москву, выгадывали, выкраивали, где добыть лишний ломоть, кинуть в ненасытную пасть стройки. Бригады, измученные, уходили после работы домой, а окна в кабинетах начальства горели всю ночь. И лицо сидящего перед ним человека было утомлено и измучено, веки запеклись, белки были розовые от бессонницы.

— Ты жизнь знаешь, Афганистан прошел, можешь понять человека. Иногда хочется послать все к черту и уехать сам не знаю куда! Лишь бы не видеть эту проклятую стройку! Год в кино не был, книгу в руки не брал, в гости ни к кому не ходил! Штабы, планерки, оперативки: день-ночь, день-ночь! Домой придешь, и там покоя нет. У меня ведь, знаешь, дочка больная. Не ходит, ноги у нее отнялись. Не смей нахмуриться, недовольное слово сказать, сразу расплачется, хуже ей станет. Так что, поверь, все страдают, все на пределе. На чем только держимся!

Вагапов был смущен откровенностью Лазарева. Этот умный, немолодой, начальствующий человек говорил с ним так, словно искал поддержки. Пришел не учить, не отчитывать, а искать сострадания. Вагапов был тронут, устыдился своей неприязни.

— Я знаю, у тебя есть пленка с этой злосчастной записью,— Лазарев быстро посмотрел на кассету.— Вы хотите прокрутить ее по трансляции, даже сговорились оккупировать радиоузел или захватить машину с громкоговорителем. Я все знаю. Но мне кажется,— это мой совет, если хочешь,— не стоит этого делать. Не стоит будоражить людей, а то взорвутся. А зачем нам взрыв, посуди! Давай обойдемся без взрыва! Дронов, как ты знаешь, уехал, он устал, человек, что называется, прошлого. Горностаев будет начальником строительства, полон сил, энергии, новый человек, новый руководитель. И ты — новый человек, новый руководитель. Вам, новым людям, нужно дружить, а не ссориться. «Консолидация», как пишут в газетах. Тогда мы вытянем стройку, вытянем, Бог даст, и страну. Ты меня понял, согласен?

Вагапов был почти согласен. Душа его не лежала к этой предстоящей трансляции. Он чувствовал — она породит волнение, суматоху, дополнительную злобу. Не злоба была нужна, а ум, прозорливость, терпение, готовность помогать и спасать. Он соглашался с Лазаревым — нужно согласие всех, пусть каждый забудет обиду и бросит в общий котел от своих сбережений. Только так можно вытянуть стройку, вытянуть громадную застрявшую в трясине страну.

— Знаю, тебе навязали «Вектор». Под видом спасительного рецепта от всех болезней, немедленно. Пользуются твоей наивностью, непосвященностью, тем, что все изверились, исстрадались, хватаются за соломинку. Поверь, я не первый день строю, не первую станцию. Нужна общая теория экономики, общая стратегия общества, а ее нет и не будет, поэтому все безнадежно! «Вектор» — очередное надувательство. Нельзя раздувать реактор кирзовым сапогом — будет Чернобыль. Нельзя лезть в исламский мир с вологодской психологией — будет Афганистан. Нельзя строить жизнь бригады по «Вектору» — будет полное свинство!

Умное, злое, презрительное промелькнуло в лице инженера. Сквозь мягкость, усталость, сквозь слова о всеобщем согласии колыхнулось неистребимо враждебное. Эта вражда была к нему, Михаилу, чья «вологодская психология» сунулась в Афганистан. Вражда была к Фотиеву, которого казнили и гнали, не давали дышать. Вражда к брату Сергею, который «кирзовым сапогом» затаптывал урановые угольки Чернобыля. Ему, Михаилу, предлагали отказаться от друга, от брата, предлагали предать. И он, очнувшись, собрал в узел размягченные, усыпленные чувства, вернул себе осторожную чуткость, зорко, остро смотрел на Лазарева, на его шевелящиеся мягкие губы.

— Вижу, ты не согласен, веришь в «Вектор». А ты согласись, поверь мне. Ты ведь теперь не простой монтажник, ты руководитель. Мы заодно, вместе выиграем, вместе и проиграем. Зачем тебе эта пленка? Выкинь, забудь! Станем работать вместе. Конечно, нагрузки будут большие, но мы и компенсируем тебе. Выпишем единовременное пособие, деньги тебе нужны, у тебя семья молодая. Квартиру дадим трехкомнатную, тебе нужно обжиться. Премируем тебя «Москвичом», дачный участок нарежем,— пускай корни! Не одним днем живем. Отдай мне пленку.

Его покупали, как до этого покупали Петровича. Эти умные, благородные, начальствующие люди презирали его. Презирали их всех, рабочих, настолько, что ко всем был единый подход, безошибочный, безотказный. Их покупали, веря, что им, темным, бесчувственным, алчным, нужно одно — деньги, немедленный быстрый достаток, любой ценой. Ценой разрыва с друзьями, предательства близких, разрушения машин, погубления природы. Лишь бы в руках оказался сочный, жирный ломоть.

И Вагапов очнулся. В нем возникло знакомое, незабытое чувство, когда безлюдно в горах, склоны пусты, овечья тропка мучнисто белеет, и бледное, жаркое небо без птицы, без облака, но в этом безлюдье и жаре близко за склонами, за россыпью серых камней притаилась опасность, чужие зрачки и прицелы, и ты замираешь, превращаешься в камень, в пыль, в тропу и сухую былинку, чутко ожидая, не мелькнет ли на круче слабый металлический отблеск, голубоватая тряпица чалмы. Звериная зоркость, пытливое ожидание, готовность к броску и удару — вот что чувствовал Михаил, вслушиваясь в журчащие слова инженера.

— Не подумай, что я пришел подкупить тебя, наоборот, я пришел дружить. Не сомневаюсь, мы станем друзьями. Это выгодно и нам, и тебе. Главное, выгодно делу, станции, стройке. Но ты должен знать, что с администрацией лучше не ссориться. Мне поручили взять у тебя пленку, не допустить этой дурацкой провокационной трансляции. И еще, понимаешь, не хотелось тебе говорить, но один влиятельный человек заметил: ведь квартира, которая тебе предназначена, может к тебе не попасть. Потому что, сам знаешь, очередь-то огромная, в очереди есть участники Великой Отечественной войны. Они вправе сказать, что твои афганские льготы ничем не лучше, чем льготы ветеранов войны. Тем более, что та-то война — Великая Отечественная, а эта — неизвестно какая и неизвестно за что вам льготы!

Лазарев продолжал говорить, но все тише и тише, глядя, как страшно бледнеет лицо Вагапова. Вся кровь, весь цвет и румянец превратились в белизну. Усы и волосы были белые, губы белые, скулы костяные и белые, и только ярко, страшно голубели глаза.

— Вали отсюда! — чуть слышно, металлическим шепотом произнес Михаил.— В окно выкину!

— Да что с тобой! — отодвинулся на стуле Лазарев.— Что я такого сказал!

— С кем стравить хочешь? Со стариками-калеками, которые тебя, мразь, когда ты еще сиську сосал,— они тебя заслонили! Где бы ты был, пакость, если бы они тебя не прикрыли? В какой бы печи сгорел?

— Ты слова выбирай! Я с тобой из одного стакана не пью! Соблюдай приличия!

— Ты, мразь, «афганцев» не тронь! А то они из могил встанут и тебя, падла, к себе под землю утянут! Ты свое, домашнее пачкай, а в наше грязными руками не лезь! Пообрубаем!

— Ты что себе позволяешь! Хулиганишь? Блатных набрали! Место за решеткой, за проволокой, а не в бригадирах! — Лазарев испугался, и в страхе улетучилось все его напускное простодушие, обнаружилась никуда не исчезавшая ненависть. — Блатные замашки!

— За проволоку, говоришь, за решетку? Сам в коттедж, в теплый спальник, а нас за решетку? Сам на курорт, в санаторий, а нас в Афган? Сам в загранку, в Америку, а нас в Чернобыль? Всегда так будет? Если не купишь, то упечешь? Если не упечешь, то удавишь? Сыном, женой стращаешь? А это не хочешь? — Вагапов наклонился через стол и, почти ударив Лазарева в лицо, протянул крепкий чернометаллический кулак с белыми костяшками. Остановил его у самого лба Лазарева.— А это, мразь, видел?!

— Бандит! — тонко взвизгнул Лазарев.— Заявлю на тебя! Привлекут!

— Вот она, пленка, смотри! — Вагапов хлопнул по лежащей на столе кассете.— Прокручу ее и скажу, как ты ко мне подкатывался! Всю стройку подыму, судить вас будем! Вытащим из кабинетов, из теплых нужников, из коттеджей, голых на бульдозеры поставим и будем судить! Если народ осудит, сам за рычаги сяду и в стену вас вмажу, в эту сучью станцию, разотру, как соплю! Пускай мне вышка потом, зато народ спасибо скажет!

— Бандиты, озверели от крови!.. Привыкли убивать, женщин насиловать, детей головой о стену!.. На цепь вас нужно сажать, в психушки!.. Всех вас собрать и под трибунал!.. Дали вам там по башке, выкинули из Кабула, и здесь дадут!.. Безобразничать не позволим!

Вагапов почувствовал, как надувается у него на горле жила, взбухает тромб, превращая дыхание в клекот и хрип. Тело, избитое о камни гор, простреленное стальными сердечниками, обожженное горящей соляркой, сотрясенное вольтовой дугой электричества, его молодое тело, изнуренное в непосильных усилиях, начинало дергаться, таяли, исчезали, превращались в белизну, в ничто оконце, стол, раскрытая тетрадь. Открыв беззвучно рот, выпучив синие, полные слез глаза, он рухнул вперед через стол навстречу Лазареву, сбивая на пол кассету, бумаги, пепельницу с окурками. Ударился лбом о доски стола, повис бездыханно, разбросав руки, медленно распуская кулаки.

Лазарев, потрясенный, шарахнулся от него. Подхватил с пола кассету. Испуганный, видя недвижное, с открытыми глазами лицо Михаила, выскочил наружу. Побежал напрямик через грязь, цепляясь за строительный сор, за обрезки металла, туда, где высилась станция.

Глава семнадцатая

Второй раз за неделю «скорая помощь» увезла Михаила Вагапова в больницу. Сначала он перенес удар током, спасая крановщика Ладошкина, а потом жестокий, беспощадный удар, нанесенный главным инженером Лазаревым. Его сил, растраченных на войне, в госпиталях, на сверхурочных строительных сменах, в непрерывных страхах — получит или не получит обещанную квартиру, в которой так нуждалась семья,— этих сил не хватило, и он оказался в больнице. После обморока и уколов, придя в себя, медленно брел в общежитие, поддерживаемый братом Сергеем. Лежал, забывался в крохотной комнатушке, слыша сквозь дремоту, как попискивает за занавеской сын. Осторожно наклонялась над ним жена. Шаркали у порога пришедшие навестить друзья.

Не прерывая свою дремоту, он медленно, по каплям собирал жизненные силы. Сквозь сон испытывал сладость, нежность, блаженство, благодарил кого-то за эти тихие и милые звуки — попискивание сына, шепот жены, звяканье чашки, за белый млечный свет, исходящий из окна.

«Я дома...— думал он.— Никуда не уйду...»

Не было в нем ожесточения, борьбы, а лишь желание оставаться как можно дольше в дреме, без движений, среди млечного света, знакомых звуков и запахов.

«Дома... Люблю... Никуда не уйду...»

...Застава на горной дороге, окруженная каменной кладкой с торчащими из амбразур пулеметами. Наблюдательная вышка, где мгновенный блеск окуляров, вороненый ствол миномета, тускло-зеленая каска. Наблюдатель проводит биноклем по рыжим, пепельным склонам, по далеким красноватым садам, по голубым туманным распадкам. Не мелькнет ли лучик металла, не возникнет ли цепочка стрелков. И тогда — автоматную очередь в небо, удары в висящую гильзу, крики команд и приказов. Полетят к горам трескучие бледные трассы, ударят в распадок долбящие жесткие очереди, взлохматят откос круглые рыхлые взрывы.

Ровный дремотный зной заливает заставу. Сорный, посыпанный гравием двор. Пустые зарядные ящики. Ромбовидный на стертых скатах корпус «бэтээра». Серый, в мазках резины, в метинах пролитого топлива изгиб бетонки. Все без теней, в пылающем воздухе, в бестелесном бесцветном пекле.

Трое сержантов «дембелей» сидели под маскировочной сеткой в дырявой сквозной тени, терпеливо дожидаясь прибытия замкомбата, который отвезет их с трассы в полк, а оттуда вместе с другими, отслужившими срок, их отправят на пересылку в Кабул, где погрузят в просторный, невоенный, без камуфляжа и звезд самолет, белый, красивый, как в «дембельских» солдатских альбомах, и по плавной дуге пронесут над глянцевитыми голубыми вершинами, окаменелыми снегами, опустят на долгожданную Родину, на нестреляющую милую землю.

Михаил Вагапов, сидя недвижно на лавке, чувствовал, как уже подхватила его незримая сила, повлекла неудержимо прочь от этих чужих суровых хребтов, расколотых зарядных ящиков, стертого с кручи оружия — в чудесную зелень, в траву, в студеную тихую воду, к лопухам в родном огороде, к капустнице над клеверным полем, к телятам на лугу, к уткам в пруду, к цветку на окне, к брату и матери, поджидавшим его в деревенском родимом доме.

«Домой», — думал он сладко, чувствуя эту влекущую неодолимую силу.— Домой!»

— Хрен знает, как быть! Шмон на таможне устроят, обчистят под метелку! — злился сержант Красуха, поглядывая на запястье, где золотился браслет нарядных японских часов. Его черный кейс стоял под лавкой, и там была спрятана еще одна пара часов.— Хотел братухе одни подарить, а другие дружку. Не знаю: удастся, нет — провезти! Таможники, суки, на нашем добре наживаются!

Он злился, ерзал, потный, горячий. Щерил желтые зубы, заранее ненавидя таможенников. Торопился вырваться из этого мертвящего зноя, проскользнуть побыстрей последнюю у границы преграду, за которой ждала его желанная жизнь, воля, гульба.

Красуха был с соседней заставы, Вагапов с ним встречался не часто. Иногда проносились мимо их «бэтээры», и они, прижатые к горячей броне, успевали кивнуть, скосить друг на друга глаза. Пару раз встречались в бою, когда на трассу, подстерегая колонны, выходили душманы, и бетонка превращалась в длинный трескучий пожар, в скопище горящих машин с фонтанами жидких взрывов. Вагапов помнил, как его «бэтээр» пробирался вдоль застрявшей колонны, молотил из пулемета по склону, а с другого «бэтээра» Красуха кинулся к горящей, загородившей трассу машине, втиснулся в кабину с убитым шофером, крутился в пламени, заводя КамАЗ, вытащил на обочину пылающий смоляной наливник. Красуху знали на трассе как смельчака. Знали также, что он нечист на руку. Потрошит подбитые контейнеры, сбывает духанщикам награбленное добро.

— На ногу их, что ли, надеть! — Красуха задирал порточину, оглядывая грязную, с выступающей костью щиколотку, выворачивал стертую, с пролысинами подошву.— Доберутся, черти! Догола разденут! Их бы, сук, сюда на сопровождение послать. А то в тылу на наших слезах наживаются!

Второй сержант, Головнев, был «здешний», хозяин заставы. Сюда, на эту маленькую площадку у трассы, окруженную валунами и ящиками, прикатили Вагапов с Красухой. Здесь дожидались оказии в полк. Отсюда всех троих заберет замкомбата. Сливовый сад с глянцевитой листвой, зеленая, близкая, под самыми амбразурами река делали эту заставу самой привлекательной и удобной. Головнев уже сдал хозяйство преемнику, передал оружие и технику, и его черный кейс, вещмешок с шинелью, отутюженная, аккуратно сложенная «парадка» лежали на лавке рядом с вещами Вагапова.

— Мне бы дневничок домой провести. Неужели отберут? — он вертел в руках записную книжку в клеенчатой обложке, замусоленную и зашлепанную, где в пожелтелых страничках мелким бисером жили записи. Бумага блокнота была в разводах воды и грязи.— С первого дня веду. В госпитале не бросал. Хочу дома подробно все расписать. Может, книга получится.

— Тебя самого в книгу запишут на таможне! А блокнотик твой в мусор! — Красуха липко сплюнул сквозь желтые зубы.— А я бы их, сук, в горящем наливнике покатал!

И с Головневым Вагапов не был близко знаком. Виделись мимолетно на трасе, слышали друг о друге, как и о всех и о всем, по беспроволочному солдатскому телеграфу. Однажды, когда жгли колонну с авиабомбами, и скалы трескались от взрывов, а кабины грузовиков отскакивали и улетали высоко на склоны, трасса была закупорена, завалена раскаленными скелетами машин, бронегруппы пытались защитить остатки колонн, но сами оказались отрезаны. В тот день «бэтээр» Вагапова с простреленными скатами, с клочьями горящей солярки заскочил на эту заставу. Головнев дал им пристанище, накормил обедом. Вот и все их знакомство.

Вагапов слушал сержантов, не желая вступать в разговор. Чувствовал, как подхватывает его, овевает незримая бестелесная сила. «Домой!» — звучало в невидимых воздушных потоках, летело за голу-

бые хребты. «Домой!» — чудилось в дуновениях жара, текущего вниз по бетонке.

— Последние две недели не совался на трассу,— Красуха не мог усидеть, ерзал, сплевывал, торопил минуты.— Все, говорю, я с войной завязал! Вы теперь повоюйте! Дембелей жалеть надо, чтобы они напоследок пулю не сцапали. Не ходил в сопровождение, только спал, загорал. Ротный не пикнул. Пусть он, ротный, с мое повоюет, тогда и пищит! — Красуха щерил презрительно зубы, показывая свое превосходство над ротным, недавно прибывшим на трассу, над солдатами, которым еще предстоит мыкаться на проводке колонн, избегать засад, раскупоривать горящую, брызгающую бензином бетонку, с которой таики сдвигают жаркие груды железа. А он, Красуха, с избытком все это хлебнул. Хватит, больше не желает, закончил войну.

— А я вчера с бронегруппой ходил. Четыре «нитки» нормально спустили,— сказал Головнев.— Мне ротный говорит: «Не ходи! Дембельское право — останься!» А я ему: «Я, говорю, заколдованный. Меня ни разу не зацепило, только спину раз обожгло».— Головнев достал из кармана металлический рубль, подбросил щелчком, и монета звонко просверкала в воздухе, шлепнулась ему на ладонь.— Я уходил, мне братишка подарил. «Ты, говорит, его подбрось, загадай, и все по-твоему будет». Вот я и загадываю, чтоб не убило. Кругом убивают, а меня ничего! — и он снова подбросил рубль, и монета прозвенела, улеглась блестящим кружком на его темную, в грязных мозолях ладонь.

Вагапов смотрел на соседний сливовый сад, на близкую реку. Зеленая, в белых венчиках вода мчалась, ниспадала от высоких тающих ледников в голубую долину, где вились дымки кишлаков, желтели спелые нивы и крестьяне в разноцветных накидках молотили зерно на токах. Белая, как пух, мякина овевала броню «бэтээров».

— Вернусь, мне дружки банкет устроят. У меня двое дружков официантами в ресторане работают. Пишут: «Приезжай, мы для тебя полресторана откупим! Оркестр для тебя одного будет весь вечер бацать. Заказывай, что желаешь! Икорка, балычок, заливные! Коньяк, наливка! Ленка-певичка из ансамбля — твоя, всех ее хахелей распугаем!»... Эх, только бы таможников, сук, обмануть, а там заживем! — Красуха крутил сильной короткой шеей, гневался, что другая, вольная, уготованная ему жизнь не является немедленно, отделена ожиданием замкомбата, дорогой в полк, сидением в «пересылке», досмотром таможенников.

— А я приеду, немного отдышусь, и за учебники. В институт буду пробовать. Все позабыл, что помнил. Нужно репетитора брать. У меня соседка, Верой зовут, может, она поможет. Она поступила, я — нет, на сочинении срезался. Обещала помочь. Правда, последнее время что-то писать перестала. Должно, занятий много. Тяжело в институте учиться! — Головнев смотрел на белый начищенный рубль, и его тонкое лицо, покрытое загаром, шелухой, несмываемой коростой пыли и копоти, было печальным и нежным.

Вагапов слушал, не слушал. В нем самом была тревога и нежность. Неверие в возможность снова увидеть любимых и близких и жадное, страстное требование немедленно, сию минуту увидеть.

«Домой!» — думал он, глядя на зеленую реку. «Домой!» — повторял неслышно, стремясь заглянуть за далекие белые шатры ледников.

Дорога пустынно светилась. Утром в долину спустились четыре колонны с топливом и боеприпасами. Не было стрельбы и подрывов. Резервные группы, готовые по тревоге оседлать «бэтээры», кинуться к месту боя, оставались на ротных заставах. Ближе к вечеру вверх по трассе ожидались пустые колонны, разгрузившиеся в гарнизонах. Облегченные, порожняком, пойдут через перевал в Союз за следующей порцией груза.

Теперь же бетон, в бесчисленных липких каплях, в мазках резины и копоти, отшлифованный протекторами, металлически блестел на солнце. Прокатил автобус, покосившийся, осевший на рессоры, разукрашенный цветными наклейками. Сквозь пыльные стекла виднелись пассажиры в чалмах, черные и белые бороды, настороженные, взиравшие на заставу глаза. Следом протарахтела, продымила колясочка, похожая на елочную игрушку. И навстречу ей с рыком и фырканьем изношенных двигателей вынесся транспортер. Шумно затормозил у заставы. Часовой в бронежилете и каске кинулся открывать ворота, впускать машину. С брони, не дожидаясь остановки, спрыгнул замкомбата. Шмякнул, хрустнул подошвами, согнул в прыжке нескладное длинное тело.

Пошел к казарме, принимая на ходу доклад ротного. В саманной, прохладной глубине казармы слышался его скрипучий голос, его хрип и кашель.

Следом за командиром из люка спустился «водило», известный на трассе Клубничкин. Маленький, верткий, с коричневым родимым пятном во всю щеку. Его «бэтээр» несколько раз на день проносился взад-вперед по дороге, успевая туда, где начинали гореть бензовозы,— крутился в огне, выныривал из-под взрывов. Клубничкин трижды напарывался на мины. Оглушенный, на пяти колесах, добирался кое-как на заставу. Отлеживался, и через день опять был в бою. То ли от многих контузий, то ли от вечного рассматривания дороги глаза его косили и дергались, а руки постоянно двигались, хватались за что попало, успокаивались только на баранке «бэтээра».

Соскочив с брони, он тут же засуетился, вступил в общение с солдатом-таджиком. Что-то передавал ему осторожно, из полы в полу, издали были видны его родимое пятно на щеке и быстрые беспокойные руки.

Из казармы появился замкомбата. Разболтанно, выбрасывая вперед длинные ноги, приблизился, плюхнулся на лавку под маскировочную сеть.

— Ну что, дембеля, в Союз намыливаетесь, а мне тут без вас отдуваться! Ну, звери, ну, дембеля, ну, лиходеи, растуды мозги! — он беззлобно ругался, и его долгоносое с вислыми черными усами лицо было в маленьких оспинах. И в каждой лежала пыль — недавняя, от проезда по трассе, и несмываемая, въевшаяся в кожу, смешанная с металлической пудрой и копотью. — Ну, дембеля, а я думал, мы еще повоюем, растуды мозги! Еще погорим, покоптим, а вы сматываетесь! Нехорошо!

— Мы, товарищ капитан, закопченные на всю жизнь. Нас можно отреза́ть, как балык, и с пивом! — дерзко, весело ответил Красуха. При слове «пиво» капитан облизнул под усами пересохшие губы.

Он был пьян, несильно, тем быстро исчезающим похмельем, что выветривается от скорой езды, жарких шлепков воздуха, чуткого вглядывания в мелькание склонов. В последние месяцы его часто видели пьяным и прощали. Ибо он, замкомбата, был самый воюющий, храбрый офицер на дороге. Не в пример своему командиру, комбату, который умудрялся отсиживаться в самые жестокие кровавые дни. Длинный, остроносый, вислоусый капитан, обвешанный гранатами, магазинами, с плоской рацией на боку, с длинным фонарем на шнурке, появлялся в самом пекле. И от его появления, от его команд, от его матерщины становилось легче. Рассасывались пробки, сбрасывались в пропасть сгоревшие наливники, переставали стрелять душманские пулеметы, меньше было потерь в колоннах и бронегруппах. Но эта работа на трассе отнимала у капитана все силы. Сил не хватало, и он высыхал, худел, глаза его становились красными от бессонницы,

в оспинах копилась пороховая сажа и пыль, и он все чаще пил среди бела дня.

— Растуды мозги, Кровяка, интенданта, убило! Пуля, дура чокнутая, нашла кого выбрать!— капитан скалился под усами, и казалось, что он улыбается, что ему смешна эта смерть.— Я его раньше на трассе никогда не видал, только в полку, в пищеблоке. А тут приперся, дурак, какие-то матрасы приходовать, какие-то койки железные списывать. Вышел из казармы помочиться, а по заставе из пулемета и дали с дальней дистанции. И пулька-то одна, небось, долетела, прямо Кровяку под сердце. Раздели, рану едва видать. Он ведь жирный, Кровяк, здоровый. Две капельки красные под соском. Труп с военторговской машиной отправил. Пуля, дура чокнутая, растуды мозги,— капитан скалился, мотал черными липкими усами. И Вагапов вспомнил, что час назад по трассе промчалась под прикрытием «бэтээра» военторговская машина, и фары у фургона дико, воспаленно светились при солнечном свете.

Представил, как на дне фургона среди ящиков с минеральной водой, упаковками сигарет, консервами с тушенкой лежит толстый интендант Кровяк, голый, без рубахи, и на его трясущейся жирной груди запеклась метина крови.

И тут же прогнал видение. Запретил себе думать о мертвом. Не желал знать о смерти, еще об одной из многих, окружавших его. Эта, сегодняшняя, его уже не касалась. Он был уже не здесь, не в ущелье. Его подхватила и несла бестелесная необоримая сила, прочь от этих стреляющих склонов, воспаленного свечения фар, зловонного морга в полку. Уносила туда, где тишь, благодать, обкладной летний дождь шелестит по крыше, и он на сене слышит непрерывное рокотание дождя, грезит сквозь сон: луг, темный блестящий пруд в свинцовых разводах ветра, и в малиново-серебристом клевере недвижно стоит корова.

«Домой!» — звучало, дышало в нем.

— Головнев, растуды мозги! А ну давай быстро организуй ведро слив! — замкомбата кивнул на близкий, за каменной оградой сад, где высокие сливы темнели корявыми стволами и бежала, зеленела река.— Ты покуда еще здесь прописан! Ступай к моему водиле, он тебе даст ведро!

Головнев послушно пошел к транспортеру, и водитель Клубничкин достал из люка мятое жестяное ведро, передал сержанту. Тот свистнул. На его свист из кухни, из закопченной тесной пещеры выскочил повар-таджик, голый по пояс, в закатанных до колен штанах. Сержант передал ему ведро, кивая на сад, и таджик засеменил за ограду, мелькая среди сиреневых стволов. Клубничкин о чем-то говорил с Головневым, и родимое пятно на его щеке казалось тенью.

Вагапов знал, кому предназначались сливы. Это был подарок медсестре из госпиталя, к которой наезжал капитан. Маленькая, пухлая, в рыжих кудряшках, она встречала капитана счастливым смехом, не стесняясь, обнимала его на виду у солдат. И бывало, бронегруппа подолгу ожидала на трассе у госпиталя, солдаты успевали сбегать в полковой военторг, выспаться в машинах, пока замкомбата пропадал у своей сестрички. Через час-другой она провожала его в наспех застегнутом халатике, в мягких тапочках на босу ногу. Ей-то и собирал сливы таджик, тряся корявые деревья, подбирая с земли фиолетовые в восковой дымке плоды. Сад обильно плодоносил, питал заставу. Хозяева, его насадившие, не появлялись после того, как кишлак за горой был подвергнут бомбо-штурмовому удару. В кишлаке закрепился душманский отряд, спаливший тридцать наливников. Прилетевшие самолеты уничтожили базу мятежников.

Теперь таджик набирал в саду сливы, и все ждали, когда он вернется с ведром и можно будет ехать в полк. Три сержантских кейса,

одинаково черные, с блестящими замками, стояли под маскировочной сеткой. Вагапов смотрел на свой, отмеченный красной ниткой. Синие джинсы «монтана» для себя. Цветастый индийский платочек для матери. Складные ножички с перламутровой рукояткой для брата. Вот и все, что он вез с войны.

Другое, добытое на войне, что присутствовало среди разрушенных кишлаков, искореженных металлических груд, что тревожило, зажигало зоркостью зрачки часовых, оставляло в полуденном небе белые мохнатые струйки, а в небе ночном — красные жгучие линии, то беспощадное, что вспыхивало на тусклой броне, мерцало в окулярах прицелов,— это он не хотел забирать. Оставлял здесь.

— Вагапов, а ты что скучаешь? Пойди водички из речки черпни,— капитал протянул ему флягу.— Холодненькой хочется, а то нутро жгет, растуды мозги!

Принимая флягу, Вагапов видел, как мучается жаждой замкомбата, какие липкие, вислые у него усы, и в провалившихся усталых висках блестят мелкие капельки пота.

Он прошел краем сада, обходя плоды, раздавленные солдатскими каблуками. Придерживался тропинки, зная, что в стороне, окружая заставу, тянутся минные поля. И случалось, в ночи раздавался глухой одинокий взрыв. Подрывался архар, желавший проскользнуть под звездами затихшую бетонку, или злополучный крестьянин, пробиравшийся к своему наделу, к пересохшему арыку, к неубранной ниве.

Река струилась, зеленая, яркая, пахнущая свежестью. Зажигала прибрежные камни, зеркально слепила. Вагапов присел у воды, развинчивая флягу. И на мокром плоском камне среди мелких радужных брызг увидел птицу. Маленькая, желтогрудая, с черными бусинками глаз, с колючим клювиком, она упиралась в мокрый камень хрупкими лапками. Смотрела на Вагапова, чуть вздрагивала хвостом.

Он замер, перестав развинчивать флягу, боясь спугнуть птицу. Она, обитательница этих камней и зарослей, фруктового сада и брызгающего потока, смотрела на него, явившегося в ее владения. Ему показалось вдруг, что она, бессловесная, с крохотным сердцем, с немигающими черными глазками, угадывает его мысли и чувства. Знает, что он уезжает. Знает все об этой придорожной заставе, населенной чужаками. Все эти годы наблюдала за ними, за их дымными машинами, строительными работами, громыхающими боями и усталыми трапезами. Видела, как уносятся с заставы, крутя пулеметами, транспортеры, возвращаются обратно с лежащими на дне убитыми и ранеными. Видела, как катят, блестя лобовыми стеклами, колонны КамАЗов, пронося толстые масленые цистерны. И как взрываются, брызгают эти цистерны жидким огнем. Видела легкие бесшумные цепи стрелков в шароварах и просторных накидках, пробегавших над речкой в свечении звезд. Знала все о боях и страданиях. И когда пришельцы уйдут, утянув с собой зловонное железо, и вернутся земледельцы, отстроится заново, заклубится дымками кишлак, и все позабудется среди цветущих деревьев, она, молчаливая, с желтой грудкой, будет помнить его, Вагапова, присевшего у потока.

Птица вспорхнула и волнисто улетела вниз по реке, бросив в воду малую каплю.

Вагапов наполнил флягу, видя, как серебряной воронкой втягивается в горловину вода и тяжелеющая фляга уходит ко дну. Завинтил крышку, положил флягу на камень. Медленно, по локти опустил руки в воду, чувствуя холодное скольжение струй, плотное давление потока.

Река, рожденная от чистых вершинных льдов, протачивала ущелье, изливалась в долину, растекалась по бесчисленным рукодельным каналам, выкопанным арыкам и руслам. Поила нивы, дома, сады.

Превращалась в сок яблонь и слив, в молоко, виноград. И он, Вагапов, держал ладони в потоке между синими заоблачными ледниками и янтарными виноградными лозами.

Он шевелил руками в потоке. Смывал с них пот, нагар, застарелую, въевшуюся в мозоли и царапины грязь. Смывал с них засохшую, заскорузлую кровь, свою и чужую. Прикосновение оружия, бинтов, пластмассовых шприцев. Смывал с них запахи паленых волос и жареного мертвого тела. Зловонье солярки и убитой, раздувшейся на солнце скотины. Смывал с них проблеск вертолетных винтов и тусклые дымные взрывы. И тот наливник, что летел под откос, цепляясь за скалы, перевертывался в падении, оставляя в воздухе красные пузыри. Он смывал с рук войну, все прожитые на войне дни и ночи, отдавал их реке, и она растворяла, уносила, ввергала в бесконечное круговращение воды, превращала в лепесток, зерно, росинку.

«Домой!» — думал он облегченно, вынимая из реки мокрые руки. Взял флягу, двинулся обратно к заставе.

Ведро слив стояло у колеса транспортера. Капитан глотал сливы, выплевывал косточки, и они со стуком ударялись о броню.

— А ты говоришь, насквозь пробивает! — показывал он Клубничкину прилипшую к железу косточку.— Ты в своей коробке, как у Христа!

— Если бы, товарищ капитан, духи косточками стреляли, мы бы с вами всегда со сливами были. В госпиталь не с пустыми руками являлись! — ответил Клубничкин, любимец командира, знавший о нем всю подноготную, прощавший ему все слабости.

— Давай заводи, растуды мозги! А то по кумполу заработаешь! — беззлобно ругнулся замкомбата. Вынул изо рта косточку, кинул в Клубничкина и промахнулся.

Головнев прощался с заставой. Провожать его вышли немногие, те, что бодрствовали в этот полуденный час. Другие отдыхали после ночных нарядов, полуголые, разбросавшись на железных койках. Третьи дежурили на выносных постах вдоль дороги,— только к вечеру, после провода последней колонны, их привезут на заставу.

Головнев пожимал руки солдатам, кого-то хлопнул по плечу, кого-то легонько ткнул в бок. Обнял ефрейтора, стоявшего перед ним в расстегнутой рубахе.

— Теперь будешь спать на моей койке, Андрюха,— услышал Вагапов.— Одеяло тебе оставляю, а под матрасом — фонарик.

Солдаты смотрели на отъезжающих с завистью, почти с укоризной. И одновременно радовались за них, напутствовали добрым словом.

— Вперед! — замкомбата, шмякнув о броню худым телом, взгромоздился на транспортер.— Слюни пускать кончай!

— Разрешите, товарищ капитан! Разрешите попрощаться с горной страной! — Красуха, не дожидаясь ответа, взял у часового автомат и, крутанувшись, приседая на месте, выпустил длинную, веером, очередь по окрестным горам, по реке, по близкому саду, далекому разоренному кишлаку, по синему леднику, покрывая пулями эту проклятую, ненавистную землю, мстя ей напоследок за все мучения и горести.

— Чтоб во сне тебя не видать!— зло и яростно сплевывая, он вернул часовому оружие.

— Давай, дембеля, вперед! Головнев, за пулеметчика! — приказал капитан.

И все трое, побросав в люки кейсы и вещмешки, вцепились в уступы и скобы отъезжавшей железной машины.

Они мягко катили вниз по трассе, притормаживая на крутых поворотах, плавно вписываясь в просторные петли. Замкомбата свесил ноги в командирский люк, подставлял остроносое лицо горячему воздуху. Встречный ветер иссушал его, выдувал остатки хмеля, прижимал к щекам высыхающие усы. Чуть виднелась из люка макушка водителя. Головнев, невидимый, сидел под броней, переводил пулеметный ствол слева направо, если слева открывался откос с рекой, а справа возносилась гора,— вел стволом по вершине. Красуха вцепился в крышку заднего люка, щурился, скалил желтые зубы, мычал, высвистывал бессловесную песню. Вагапов прижался боком к броне, подстелив под себя промасленную телогрейку, чувствуя виражи и изгибы спуска, встречное, сквозь телогрейку, давление железа. Вцепился в скобу, следя за мельканием склонов.

Дорога была пустынной. Прошли навстречу две «татры» с серебристыми цистернами. Прохрипел на подъеме встречный «бэтээр» в черной выхлопной гари. Прошествовали обочиной четыре верблюда, ишачок с понурым погонщиком.

Посты вдоль дороги провожали их взглядами. Было солнечно, душно. Солдаты на постах были без касок, дремали под броней машин, в чахлой тени откосов. Последние бои прошли две недели назад, когда несколько душманских групп вышли на засады на среднем участке ущелья. Их сбивали с позиций огнем минометов, вызывали из полка артиллерию, звенья штурмовых вертолетов. Сейчас, по донесению разведки, в окрестностях трассы было спокойно. Отряды душманов отошли к другому ущелью, где начиналась крупная операция войск. Стягивались подразделения из других гарнизонов, совершались налеты авиации, удары реактивной артиллерии. Все силы повстанцев ушли в район операции. Минировали подходы, подстерегали в засадах колонны, нападали на посты и заставы. Там, далеко, шли бои. А здесь было тихо, пустынно. Мелькнул на пепельном склоне куст репейника с красным пышным цветком.

Вагапов чувствовал на поворотах притяжение гор, твердое давление брони, жаркие воздушные струи. Знал, что в потоке ветра, в скорости накаленных моторов, в ниспадающем скольжении трассы присутствует невидимая могучая сила, влекущая его к дому.

«Домой!» — повторял он беззвучно.

Транспортер резко затормозил, прошипев по бетону резиной. Вагапов больно ударился о скобу.

Дорогу заполонило стадо овец. Толстобокие, с пыльной серокурчавой шерстью, овцы толпились, блеяли, шарахались от «бэтээра». Старый пастух в рыжей грязной чалме и мальчик-подпасок в красной тюбетеечке метались среди животных, кричали, старались согнать их к обочине.

— Ну ты, бабай-раздыбай! — вытянулся из люка Клубничкин.— Сейчас давану барана, опять побежишь жаловаться! А ну пошевелись, бабаище! — кричал он на старика, и родимое пятно его побагровело от гнева.

— Ну и дoff ванул бы! — ухмыльнулся Красуха.— Шашлычка бы на прощанье заделали!

— Как бы из нас шашлычок не заделали! — зло огрызнулся Клубничкин.— Заставили остановиться, и бей спокойно в борт! Гранатой или безоткаткой!

Старик и подпасок разогнали блеющее бестолковое стадо. «Бэтээр» медленно, тесня овец, прошел сквозь отару, набирая бег. Мелькнула красная ковровая шапочка мальчика, рыхлый ворох ткани на голове старика. Вагапов сладко вдохнул исчезающий запах скотины. Красуха с брони погрозил пастухам кулаком.

Они миновали предпоследнюю, перед спуском в долину, заставу. Ротный, узнав по связи о приближении замкомбата, вышел к воротам, козырнул командиру.

Теперь они приближались к горе, на которой находился высотный пост. Однажды Вагапов несколько недель сидел на этом посту, куда подымались полдня, втаскивали на вершину запас еды и питья, боекомплекты и оружие. На вершине была сложена из камней маленькая округлая крепость. В норе стояли деревянные нары. В бойницы были выставлены пулеметы и гранатометы. По склонам в камни были вживлены мины. На пост вела узкая, протоптанная солдатами стежка, над которой, почти невидимые, были натянуты минные струнки-растяжки. С этой горы виднелось ущелье, колонны на трассе, долина с зелеными, белыми, черными клетками хлебных полей. Отсюда же просматривались подходы душманов, подавались сигналы тревоги.

Ночью на посту, кутаясь в бушлат, глядя, как лунный свет круглится на стволе гранатомета, он видел загадочное, поразившее его зрелище. Из-за гор, где колебалась, дымилась, белела луна, протянулись к тропе слабые млечные лучи, и в этих зыбких лучах шел человек. Он был огромного роста, голый, двигался, едва касаясь земли, словно отталкивался от камней, плыл в воздухе. Вначале Вагапов подумал, что это душманский разведчик, нацелил в него автомат. Но голый великан был почти прозрачен, как призрак. Прошел невредимо по минным полям, спустился по тропке, не задев растяжку, и канул, погрузился в ущелье. А Вагапов стоял, сжимая оружие, не понимая, что это было — играющий в горах лунный свет или таинственный дух местных гор, озирающий свои владения.

Проезжая эту гору теперь, он вновь испытал то тревожное, неясное чувство, порожденное дивным видением.

Красуха заерзал, скользнул в люк, шмякнулся на лежащие кейсы, и Вагапов, досадуя на Красуху, отвернулся: тот, отложив два кейса, навалился на его, с красной ниткой. Внутри «бэтээра» курили, из люка тянуло табаком. Замкомбата, получив снизу прикуренную сигарету, затягивался, заслонялся от ветра. Струя летящего воздуха сжигала сигарету, высасывала из нее полосу огня и дыма.

Они приближались к месту, которое всегда волновало Вагапова, к трем горам, выраставшим одна над другой. Передняя была голубая, почти синяя у вершины, с бледневшим, терявшим яркость склоном. За ней шла золотая с острой вершиной. И третья, розовая. Когда проезжал эти горы, всегда казалось — на вершинах стоят вазы, полные разноцветных напитков. Напитки истекают из ваз, пропитывают горы голубым, золотистым и розовым.

Они проехали синюю гору, двигались вдоль желтой, и Вагапов, заглянув в люк, увидел, что Красуха запихнул под бок его, Вагапова, кейс, оперся на него, продавливает локтем. Хотел было свеситься вниз, толкнуть, ругнуть Красуху.

Мимо пролетала розовая гора, за которой открывалось сухое русло ручья в черном безлистом кустарнике, и ниже под обочиной сочно сверкала река.

Он нагибался в люк к кейсу с красной ниточкой, в который уперся локоть Красухи, был готов окликнуть сержанта. Боковым зрением увидел — из-за черных кустов ярко метнулась к дороге молния, ударила гулко в борт «бэтээра», в квадрате люка стала многократно взрываться, метаться, отражаясь от стен. Треснуло, хлопнуло наружу сквозь люк мощным горячим ударом, столкнуло его с брони, и он, отделяясь от «бэтээра», рушился на лету под откос. Ударился, потерял сознание.

Очнулся, увидел близко у глаз шов бетонки, набитый песком и пылью. Дальше, в стороне, вывернутый, ребристый скат «бэтээра», пыльный борт, башню с номером, вялый, подымавшийся из люков дым. В дыму мелькали редкие искры. В стальном коробе что-то урчало, жалобно стонало и всхлипывало.

Вагапов, ожидая взрыва и выстрела, кувырком, не поднимаясь, скатился под откос, где открывалась река и пропадала бетонка с подбитой чадящей машиной, в этом неистовом стремительном кувырке опять потерял сознание.

Пришел в себя и, прижимаясь к земле, словно ящерица, растопырив руки и ноги, дышал, слыша, как бухает сердце, а за кромкой обочины, невидимый, звучит транспортер — булькающими слабыми стонами. Розовая гора возвышалась над срезом дороги, и гарь «бэтээра» туманила небо.

Своим помутненным сознанием он понимал, что случилось. В мелких колючках распадка засел гранатометчик врага. «Бэтээр», огибая гору, замедлил ход, подставил борт под удар. Граната прожгла броню, ворвалась в машину, побила, порезала сидящих под броней, подорвала боекомплект, а он, Вагапов, сидящий сверху, уже нагибавшийся к кейсу, подставлявший голову под удар, чудом спасся — был сорван волной с брони. Теперь лежит вблизи от подбитой машины, и враг неушедший смотрит сквозь прорезь прицела. Пустит из трубы гранатомета вторую, добивающую гранату. Расстреляет из автомата пораненый экипаж.

Он лежал, медленно приходя в себя, чувствуя боль от ушибов и вывихов, слушая звуки в невидимой близкой машине.

Звуки были стонами, тонкими всхлипами. Человеческий голос в страдании не выговаривал слов, а слабо стонал и охал. За гравием и пылью обочины было не узнать, чей голос. Розовела гора, струился чад и голос, прорываясь, стонал.

Вагапов был оглушен. Близко из-за обочины только что ахнул взрыв, опрокинул его, проволок по камням. Руки его были содраны в кровь, и пыль на ладонях налипла, как молотые сухари на котлете. Он лежал, не в силах подняться, взглянуть на «бэтээр», узнать, чьи стоны долетают с дороги. Ждал, что грохнет новый выстрел гранаты, выдерет в бортовине дыру, пронесет над его головой сорный, горячий вихрь.

Он не мог подняться, не мог вернуться к машине. Его война была кончена. Он отцепил от себя войну. Но она не отпускала его, настигла у розовой кручи. Он обманул войну, не нагнулся к кейсу с красной ниткой. Коммулятивный заряд гранаты прожег броню, просверкал внутри транспортера, истребил сидящих внизу. А его пощадил. Теряя мощь ударной волны, дунул из люка газами, сметая его на дорогу. Он больше не пойдет туда, под новый удар гранаты, под точную автоматную очередь. Его война завершилась.

«Домой!» — слабо прозвучало в нем. Как ни страшно было ему, как ни болели, ни кровоточили руки, он вернул себе это суеверное чувство — стремление к дому, остановленное жутким ударом, но не прерванное, влекущее его по кювету, ползком, огибая смертоносное место, к берегу, по реке, по воде, по зеленым солнечным вспышкам дальше, вперед, к дому. «Не пойду! Мне домой!..» — повторял он, вжимаясь в землю.

Что-то хрустело, трескалось там, где стоял «бэтээр». Стоны смолкали и вновь начинали звучать.

Он не мог одолеть свой ужас, не мог подняться. Уговаривал себя: «Сейчас придет бронегруппа!.. С высотного поста заметят!.. Просигналят на заставу!.. Подъедут, и тогда поднимусь!..»

Послышался рокот двигателя, ближе, громче. Он встрепенулся. Наверное, шел «бэтээр». Сейчас подскочит, продолбит пулеметом по розовым склонам, по зарослям черных колючек. Солдаты спрыгнут с брони, займут оборону, другие кинутся к горящей машине. И тогда он встанет, качаясь, держа на весу растопыренные окровавленные ладони, выйдет на трассу.

Звук двигателя приближался, и он понял, что ошибся. Это не был мощный гул сдвоенных моторов «бэтээра», а надсадный, надтрес-

нутый. Афганский грузовик «борбухайка», высокий, расписной, яркий короб, приблизился, возвышаясь над обочиной размалеванным бортом. Близко сверкнула кабина, лицо водителя, бородатое, в серой чалме, испуганные, оглядевшие его глаза. Над кабиной в деревянной люльке сидели старик и женщина в парандже, торчали козлиные рогатые головы. Грузовик не остановился у горящего «бэтээра», водитель и пассажиры не поспешили на помощь, а лишь надсадней завыл перегруженный двигатель. «Борбухайка» прошла над его головой, брызнув сухой галькой, струей зловонного дыма.

Он опять остался один. Слабо хрустело, чадило на трассе. Раздавались стоны.

И чувствуя, как страшно всем его клеточкам, всем жилкам и косточкам, как все они разом, каждая на свой лад, сливаются в единый протестующий хор, который голосит: «Не хочу!.. Не мое!.. Не надо!» — он отрывался от земли, от спасительной лунки, вырывал из нее свое тело, отдирал с корнями. Вскочил и кинулся на бетонку.

Он увидел косо вставший, уткнувшийся в кювет «бэтээр». Из люков тянуло туманно-стеклянным чадом. Задранный вверх торчал пулемет. На броне, свесив вниз руки, слабо шевелясь, повис капитан. Волосы его болтались, язык был высунут, изо рта выдувался и втягивался липкий пузырь. Он открыл невидящие, полные слез глаза, мычал, стонал, хлюпал, перебирал узловатыми пальцами по броне.

Вагапов, крутя глазами, зыркая во все стороны, готовый упасть, схорониться, кубарем вернуться обратно,— подбежал к транспортеру. Хватаясь за скобы, оставляя на них жижу и кровь, вскочил на броню. Заглянул в люк сквозь душный горячий смрад.

Тлели огоньками брошенные на днище матрасы. Среди черных клочьев тряпья, рассыпанных и раздавленных слив, сине-желтых гильз лежали Головнев и Красуха. Головнев опрокинулся навзничь, и вся его одежда была в вырванных мелких клочьях, сквозь которые виднелись раны, множество рассеченных мышц, белых разодранных сухожилий. Красуха уткнулся лицом в тлеющий матрас, рука его загребала к себе кейс, и на спине чадил, дымился без огня ком рубахи. Водитель Клубничкин отпал затылком назад, вцепившись руками в баранку. Родинка на его щеке казалась синим кровоподтеком, а другой щеки не было. Не было глаза, скулы, виска. Все было срезано раскаленной струей. Голова его, попавшая под огненный луч, была рассечена. Одна половина исчезла, а в другой одиноко смотрел глаз и синела, чернела родинка.

Все это моментально увидел Вагапов. Схватил живого мычащего капитана, сволок с дороги. И видя его ботинки и брюки, мокрые от мочи и крови, поволок, потащил прочь с бетонки. Слышал, как стучат, задевая за бетонные швы, пятки замкомбата, шелестят по гравию. Вносил вислое, тяжелое тело в лунку, где только что сам лежал.

Отдыхал, прижимаясь колотящимся сердцем к земле. Вглядывался в кромку обочины, в розовую гору. А рядом топорщились мокрые порточины капитана, и за ними сверкала река.

«Домой!» — повторял он бессмысленные, застрявшие в горле слова, уже не спасаясь ими, а лишь отмеривая удары загнанного, запаленного сердца.

Капитан стонал, уткнувшись губами в землю. Вагапов повернул ему голову, уложил щекой на щебень, вытер его окровавленные с приставшими песчинками губы.

Не было бронегруппы. Не было солдат охранения. Высотный пост молчал. Либо дремал наблюдатель, либо сели в рации батареи. «Борбухайка», миновав «бэтээр», шла без остановок мимо застав и постов, и никто в ней не смел, не желал сообщить о подбитой машине.

Он больше не пойдет к «бэтээру». Бессмысленно к нему возвращаться. Струя огня распилила голову Клубничкина, и ее уже не собрать, не склеить. Сдетонировал боекомплект пулеметов, и пули, брызнув из цинков, порвали во многих местах тело Головнева, поразили насмерть Красуху. И незачем идти к «бэтээру», некого спасать и вытаскивать.

Но он знал, что пойдет. Еще полежит минутку, отдохнет, успокоит дыхание и снова пойдет к «бэтээру». Ибо, может быть, жив Красуха, лежащий на горящем матрасе. Может, не убит Головнев, лишь истерзан и ранен пулями.

«Домой!» — повторял он, готовясь к броску, не желая его и страшась.

Он вскочил и тем же неровным, ковыляющим бегом, пугаясь пустоты дороги, оглядываясь в обе стороны, стал приближаться к подбитой машине. Чад все так же валил из отверстий. Он подумал, что откроет бортовой люк и выволочит на дорогу обоих сержантов, а потом по очереди перетащит их за обочину.

Он приближался к транспортеру, и из-за кормы навстречу ему возник человек. Он тоже бежал к подбитой машине. На голове его была голубоватая повязка. Из-под короткой безрукавки вольно выпадала, пузырилась рубаха. Шаровары мотались в беге, и были видны гибкие, голые щиколотки. Лицо — молодое, смуглое, в черной овальной бородке, и сквозь полупрозрачные усы дышали розовые свежие губы. В руках у него был автомат, и на ложе, на цевье глянцевито серебрились наклейки — какие-то птицы, цветы. Он выбежал навстречу Вагапову, и тот, ужасаясь этой встречи, вороненого ствола оружия с ромбовидной мушкой и черной маленькой скважиной дула, оцепенел,— и весь облик афганца: тонкие, золотистые нити на перевязи, медные пряжки стоптанных, тяжелых туфель, цветные ярлычки на автомате, приоткрытые под усами дышащие губы, черные, с белыми точками испуга и ненависти глаза, весь его облик отразился в Вагапове, отлился, воссоздался в нем, вытесняя из тела его собственную душу и суть.

— Не надо!.. Не стреляй! — запинался Вагапов, выставляя навстречу стрелку израненные ладони, понимая, что не погасит белые точки в ненавидящих черных глазах.— Мне домой!..

Увидел, как вздулся на конце автомата красный прозрачный шар с крохотной пустой сердцевиной. Пули вошли в него, дырявя грудь и живот. И сквозь пробитые пулями раны пронеслась и исчезла невесомая светоносная сила, устремляясь к дому, одна, без него.

Он очнулся от холода, от ледяного озноба. С трудом разомкнул глаза. Была тьма, и все его тело начинало сотрясаться от конвульсий. Его бил колотун, и эта дрожь отзывалась тупой болью в животе, в груди, в плечах.

Он попробовал крикнуть и услышал слабый хрип — так вырвалось его дыхание, и этот звук вызвал боль в легких. Он не мог понять, где находится. Старался вспомнить, что с ним было. Бег по солнечному горячему шоссе. Возникший душман в повязке. Прозрачный пузырь огня на стволе автомата.

Он снова попытался крикнуть. И снова тихий свистящий хрип вызвал тупую боль в груди.

Сотрясаясь от холода, щупал вокруг себя холодные твердые предметы, понимая, что лежит в помещении на досках. В стене прорублено малое квадратное оконце, и в нем — белая круглая луна.

Попытался приподняться и тут же рухнул от боли, ударился подбородком о доски. Лежал с пробегавшей дрожью, пытаясь подтянуть к животу колени, но эти движения причиняли режущую боль в животе.

Он лежал щекой на шершавой доске и при свете луны видел, что рядом лежат другие. Различал их головы, кулаки, босые ноги. И сам он был гол и бос.

Глаза его, слипшиеся от засохших слез и крови, теперь увлажнились, раскрылись, и он при голубоватом свете луны начинал различать лежащих рядом людей.

По одну сторону лежал водитель Клубничкин. Голые руки его отливали напряженными мускулами, маленькая голова плоско прижималась к доскам, на щеке темнело родимое пятно.

Еще дальше, на спине, прижав к животу кулаки, лежал Красуха. Рот его был открыт, и луна отсвечивала на зубах, на выпуклых остекленелых глазах.

По другую сторону, близко от Вагапова, лежал Головнев, голый по пояс, и все его длинное тело было в черных мазках и кляксах, а из темных брюк выглядывали худые белесые ноги, и луна слабо светилась на ногтях больших пальцев.

За ним высокой грудой лежал тучный, голый человек со вздувшимся животом и толстой, как у женщины, грудью. Его лицо было повернуто к оконцу с луной, поблескивали волоски на усах и пышных бачках. Вагапов узнал интенданта Кровяка, убитого на заставе.

Он почувствовал запах распиленных еловых досок, дух формалина и пряного терпкого тления. Понял, что находится в морге. Лежит на дощатых нарах в саманном строении среди убитых, и те волнистые, неосвещенные луной, пропадающие во тьме, словно спящие вповалку люди — тоже мертвецы, собранные в морг со всех застав и дорог, из ущелья, где идет операция, и завтра здесь начнется работа. Трупы станут потрошить, взрезать, закачивать в них заморозку, запаивать в цинковые гробы с малыми стеклянными оконцами, заколачивать в струганые белые ящики. Отвезут к самолету, и «гробовщик», набитый тяжелыми ящиками, улетит за хребты.

Он понял, что он в морге, и жив, и сейчас потеряет сознание. Его, живого, замуруют, запаяют, и он больше никогда не оживет, навеки исчезнет во тьме.

Эта мысль показалась жуткой. Не морг, не трупы, не сладкое тлетворное зловоние, а мысль, что он потеряет сознание и его заколотят в гроб.

— Помогите! — позвал он. Но вместо зова опять был слабый свистящий клекот, отозвавшийся резью в груди.

Он понимал, что ранен, истек кровью и может в любой момент умереть. В его исстрелянном теле, среди болей и хрипов, там, где в груди пролетели пули, возникла, слабо забилась, стала крепнуть, пульсировать живая сила и страсть.

«Жить!.. Домой!.. Не умру!..»

Опираясь на перебитые руки, он стал перебираться через твердое холодное тело Головнева, задевая голой грудью его локти, плечи, растопыренные пятерни. Карманы брюк Головнева были вывернуты, и на досках при свете луны блестел кружок. Вагапов угадал в нем рубль, что служил Головневу амулетом, спасал от смерти.

Он стал карабкаться на жирного огромного интенданта, и жир был твердый, застывший. Вздутый живот под тяжестью Вагапова медленно, неохотно вдавился.

Вагапов упал с нар, ударился о земляной пол, но сознание не потерял. Сознание становилось ясней, содержало в себе единственную, упрямую, двигающую его мысль: «Не умру!.. Домой!..»

Он подполз к двери и лбом толкнул створку, открыл ее, выполз наружу.

Небо было белесым, беззвездным. Луна недвижно светила, окруженная голубоватым сиянием. На сорном дворе что-то мерцало, поблескивало, то ли камни, то ли осколки стекла.

Он увидел у саманной стены какие-то банки с жидкостью, брошенные резиновые перчатки, корытце с оловом, прислоненный к стенке паяльник.

Полз, цепляясь за бугорки и неровности, повторяя: «Мне жить!.. Мне домой!..»

В одном месте ему попались на дороге носилки с чем-то липким, скользким. На брезенте, мерцая под луной, застыли сонные мухи. И он, оползая носилки, устремляясь к воротам, чувствовал невидимую, проведенную кем-то впереди него линию: «Домой!..»

Солдат-узбек стоял на посту у госпиталя, там, где кончались палаты и за прачечными, кубовыми в отдалении тянулось низкое строение морга. Караульный, тоскуя, прятался в тень от сухого дерева, смотрел на мертвенные кольца луны, вдыхал тревожный, мучающий запах распиленного леса, вслушивался в ночь, где редко, одиноко звучали случайные выстрелы. Солдат был новобранец, еще не участвовал в боях, ждал, что его пошлют на операцию и там убьют.

Он увидел, как через пустырь с бугорками, окруженными тенью, кто-то ползет. Вначале он решил, что это собака, но, вглядываясь, узнал человека. Человек был голый, припадал к земле, замирал, опять начинал ползти. Караульный взвел автомат и, нацелив на ползущего, ждал, когда тот приблизится, чтобы разрядить магазин в голову душмана. Он дождался, когда человек выполз на открытое место, замер, бледный, белесый под луной, что-то слабо бормоча и высвистывая.

Прежде чем выстрелить, часовой крикнул цифровой пароль: «Четыре!» Человек на земле поднял на его крик голову и опять уронил.

Часовой крикнул: «Стой! Стрелять буду!» И в ответ с пустыря прозвучал слабый умоляющий стон.

Часовой, держа на весу автомат, осторожно пошел к лежащему, и, когда приблизился, голова снова приподнялась, на бледном, освещенном луною лице открылся черный рот и слабо, чуть слышно прозвучало:

— Домой!..

И потом он не приходил в себя целые месяцы. Его переносили с операционных столов под капельницы. Он бредил, чувствовал свои раны, как огромные пропасти, черные, пробитые в горах туннели. В эти туннели въезжали дымные, груженные боеприпасами колонны. Сквозь них неслись «бэтээры», крутя пулеметами. В них врывался огненный, осевший на покрышки наливник. Сквозь раны пикировали вертолеты, проходили караваны с оружием. Шли лишенные крова толпы, голодные погорельцы и беженцы. Сквозь его раны проносилась война, и он хрипел и мычал, стараясь вырвать иглу из вены, выплюнуть липкий, накрывавший губы намордник.

Сквозь ужас и бред, утягивающий его в черно-красную преисподнюю, вдруг возникало что-то белое, неясное, заслоняя от близкой, готовой его поглотить бездны. И он, в бреду, среди команд и проклятий, тянулся на эту белизну и спасение, повторяя неслышно: «Домой!..»

Он очнулся через несколько месяцев в палате. Было светло, безлюдно. За окном была белизна, шел снег. Близко от стекла тянулась черная корявая ветка дерева, и на ней во всю длину лежал снег. И он смотрел, не мог наглядеться на зимнюю, покрытую снегом ветку.

Теперь, после обморока, он лежал в своей комнатке, дремал. Чуть открывал глаза, когда над ним наклонялось белое большое лицо жены. Чувствовал ее запахи, шелесты, узнавал в ней ту белую, спасающую и щадящую силу, что послала ему избавление, вывела снова на свет,

Глава восемнадцатая

Клуб был переполнен. Втиснулись в кресла в телогрейках и робах, хлопали шапками по коленям, гудели, выкрикивали, стучали крышками кресел, колотили подошвами. От жарких дыханий было душно, словно парная ливневая туча повисла в зале. Сквозь металлическую дымку давнишние вислые кумачи выстреливали, как хлопушки: «Слава труду!», «Народ и партия — едины!», «Пусковые объекты в срок!»...

На сцене в президиуме, где мутный графин, изогнутый стебелек микрофона, сидели бледный, похудевший Вагапов, сумрачный, толстолобый Накипелов, беспокойный, порывавшийся говорить Фотиев, рабочие, прорабы. Сдвинулись за столом, поворачивая головы к деревянной сусально-золоченой трибуне с полуотбитыми резными колонками.

Антонина сидела в первом ряду, стянув с головы платок. Лица в президиуме размывались, выпадали из фокуса, будто она смотрела на них в театральный бинокль. Приближались к ней, словно она поворачивала колесико бинокля, а потом бинокль перевертывался и лица удалялись в бесконечность. Она пугалась этого душного, зыбкого, пульсирующего пространства.

Маленький, с рыжими клочками волос монтажник, казалось, выпрыгивал из трибуны, стискивал кулаки, захлебывался яростной речью:

— Они нам врали, врут и врать будут! За людей не считают! Мы для них скоты, нам можно кусок на землю кинуть, с земли сожрем! Они Вагапова до смерти хотели замучить, на улицу под дождь с малым ребенком выкинуть! Если не по-ихнему, на все пойдут, от домов отопление отключат, электричество вырубят, чтобы нас наказать! Сколько терпеть, мужики! Предлагаю объявить забастовку, завтра на работу не выходить! Пусть без нас второй блок пускают! Пусть министр едет, с ним говорить, а с местными не желаем! Пусть с местными прокурор говорит!

Антонина видела: голубоглазое, в рыжем обрамлении лицо монтажника увеличивается, приближается, так что видны капельки пота на лбу, разводы румянца на скулах, золотые искорки щетины на подбородке. А потом лицо удалялось в длинный раструб света, почти теряло черты.

Она слышала клокочущую ненависть, обиду, желание мстить. Что-то совершалось вокруг, грозное, неостановимое, сдвинулись, закачались невидимые опоры, зашевелились громадные плиты, из которых состояла земля. И она старалась удержаться на этих громадных платформах, не ударить, не сжать свою горячую дышащую сердцевину, где притаилось ее нерожденное чадо.

На трибуне грохотал, глушил микрофон темнолицый парень в распахнутой робе, под которой виднелась тельняшка:

— Я, конечно, в Афгане не был, потому что на лодке плавал. К Америке ходили, и тоже, как говорится, лицом к лицу. Они нас травят теперь, особо тех, кто с Афгана. Стравливают друг с дружкой, старика с молодым, фронтовика с «афганцем», рабочего с мастером, чтоб мы грызлись, а им легче нас было накалывать. Кому орден, кому корка с солью, кому квартиру, а кому клопы в бараке! Может, хватит, натерпелись? Предлагаю — уволить к чертям начальство, сами управляться будем! Станция — наша, стройка — наша, магазины — наши, квартиры — наши, машины — наши! Берем под контроль, а начальство — гнать!

И в этом была ненависть, последнее отчаяние. Антонине казалось: от его отчаянных слов плиты раздвигались все больше, в плотной кладке земли разверзались провалы и трещины, и под плитами двигалась, хлюпала безликая, бесформенная тьма. Она прижимала к животу свой цветастый платок, пытаясь им защитить сокровенную робкую жизнь, которая прорастала в этот мир, в этот свет, где сдвигались с основ материки, пульсировало готовое к взрыву пространство, и ей было страшно.

Выступал неизвестный ей лысоватый человек с бородкой в джинсовой курточке, стискивая в кулаке кожаную кепочку:

— Товарищи рабочие, вас обманывают ваши партийные боссы, вам лгут ваши профсоюзные функционеры, вас морочит ваша прогнившая администрация! Сколько же можно терпеть, товарищи! В других городах, на других заводах и стройках рабочие консолидируются с демократическими силами! Долой партократов! Долой профдельцов! Шлите телеграммы правительству! Возьмите под свой рабочий контроль атомную станцию, и все ваши требования немедленно выполнят! Вас поддержат рабочие Урала, Кузбасса, Москвы, демократическая интеллигенция! Забастовка — ваше оружие!

Умное лукавство, злорадное веселье чудились Антонине в призывах лысоватого человека. Подземные толчки нарастали. Вчерашний устойчивый мир, нарядно построенный город шатались и рушились. Среди падающих стен, проваливающихся полов она искала, как защитить свое чадо. Охватив живот, накрывала его тонкой тканью платка, матерчатыми цветами и листьями. Беззвучно, одними глазами звала Фотиева — пусть взглянет на нее, увидит ее страх и бессилие. Но он не видел, слушал оратора, порывался что-то сказать, что-то быстро записывал в книжицу.

Выступала вдова Ладошкина, рыдала на трибуне, истошно захлебываясь:

— Мужа верните!.. Не живого, так мертвого!.. Зачем его там держат, на льду!.. Всего изрезали, сердце и печень вынули! Живого убили, а теперь после смерти мучают!..

Зал гудел, возмущался. Люди вставали, выкрикивали:

— Душегубы!

— Силой возьмем, похороним!

Антонина смотрела на Фотиева, искала его взгляда, умоляла, чтоб он заметил ее. Но он наклонился к Накипелову, что-то жарко говорил, а ее не замечал и не видел.

Выступала женщина из бригады наладчиков, простоволосая, с круглым деревенским лицом:

— У нас, у баб в бригаде, у всех голова болит, руки-ноги ломит! Уже у второй рак груди открылся! Значит, вода отравлена, воздух отравленный! Почему не скажут, где какой атом содержится! Нас, как мух, травят, а в аптеке таблетку не найти, чтоб голова не болела! Пусть завезут лекарства, пусть женщинам в реакторном цехе молоко выдают!

Антонине казалось, пространство кругом распадается на прозрачные осколки. Воздух наполнен незримыми секущими лучами. Невидимые, они проникают ей в чрево, жалят, убивают. Она натягивала плотнее платок, звала Фотиева: «Ну взгляни же, взгляни на меня!» Но тот не видел, писал в свою книжицу.

Накипелов ухватился за борта трибуны, раскачивал ее, как шлюпку, и волны катились по залу:

— Рабочего человека гнут, как проволоку, а он не понимает, кто гнет, куда. Его держат в потемках, глаза затмевают! У русского человека глаза замазкой замазаны! Почему метод Фотиева, его «Вектор» отовсюду изгнали? А потому, что он, этот метод, замазку с глаз отколупывает и рабочему видно, кто и как его гнет и ломает, и как его обворовывают! И рабочий скажет: «Стоп!»

Из зала кричали:

— Фотиев!.. Пусть скажет Фотиев!

— Пусть расскажет, как его заклевали!

Фотиев поднялся, прошел к трибуне. Антонина оглядывала его

высокую, плечистую, знакомую в каждом жесте фигуру. Думала: вот сейчас он ее заметит, обратит к ней лицо, увидит ее страх и страдание, и слова его будут о ней, о хрупкой, драгоценной, созревающей в ней жизни, на которую все должны оглянуться, заметить, пощадить, остановиться в своей ненависти. Сейчас он скажет об этом, мудрый, сильный, любимый.

Но Фотиев говорил о другом, не видел ее, обращался через ее голову в бурлящий негодующий зал; говорил о «Векторе»...

Зал клокотал. Среди блеклых, линялых кумачей летали грозные вихри. Врывались в ряды, выхватывали из них кого-нибудь в робе, в подшлемнике. Тот вламывался в золоченую сусальную трибуну, бил в нее кулаком, и от этих ударов летели в зал новые вихри, врывались в ряды.

Вышел на трибуну секретарь профкома, длинный, узколицый, с язычками блестящих маслянистых волос. Ему было неуютно, он извивался, струился, словно обжигался о накаленные стенки трибуны.

— Товарищи, дорогие, профсоюзная организация заверяет вас, что уже в текущем году вдвое увеличились средства, отчисляемые на соцкультбыт...

Но ему не давали говорить, свистели, хлопали, стучали ногами:

— Прихлебало!

— Где колбасу берешь?

Вышел секретарь парткома. Четко, ясно, останавливая ладонями шумящий зал, говорил:

— Товарищи, вы знаете, партия обратилась к народу с просьбой проявлять выдержку, сознательность в этот решающий переходный период. Товарищи, партийный комитет стройки призывает вас не слушать отдельных крикунов и демагогов!

Ему из зала неслось:

— Надоело!

— Сам демагог!

— Устали от вранья!

— Без партийных погонял обойдемся!..

Он выставил в зал белую запрещающую ладонь, но это еще больше ярило зал. Ряды ревели, свистели. Евлампиев, бледный, оскорбленный, сбежал со сцены, выскользнул из зала.

Антонина защищалась платком, ситцевыми розами, страшилась, что ярость и ожесточение достигнут сокровенной глубины, где теплилась, дремала нерожденная жизнь, ранят ее, причинят вред, коснутся ядом и горечью.

Взбежал на трибуну Горностаев, с белым, заострившимся от волнения лицом. Дожидался, когда зал утихнет, трогал чашечку микрофона. Антонина вдруг подумала: быть может, он, этот красивый, измученный умный человек, с которым была когда-то близка, казалось, любила его, была им любима, который преследует ее по сей день, добивается возвращения любви,— быть может, он увидит ее сейчас, поймет ее испуг, обратится к ней со словами успокоения, утешения. Смотрела, ловила его взгляд, привлекала к себе. Но он не замечал и не видел.

Речь Горностаева подействовала. Плотные разрушительные вихри, летавшие по залу, вырывавшие людей из рядов, стали стихать, укладывались куда-то незримыми свитками. Антонина изумлялась этой одинокой целенаправленной воле, одолевшей сопротивление зала.

Избрали комитет для подготовки списка требований рабочих, голосовали, тянули вверх темные ладони, валили на сцену, хлопали по столу ушанками, тыкали пальцами в лист бумаги. А надо всем этим клубящимся человечеством висели линялые, дряблые лозунги, умоляюще, жалобно взывали: «Народ и партия — едины!», «Слава труду!», «Наш труд тебе, Родина!»...

Глава девятнадцатая

Шершавый громадный цилиндр реакторного зала уходил к клубящимся тучам. Бетонный кожух, опоясанный сталью, стискивал глухое пространство, где в бессчетных отсеках притаились насосы и трубы, пролегли водоводы и кабели. Вмурованный в толщу, как драгоценная, спрятанная от глаз начинка, покоился реактор. Ожидалась загрузка топлива. В стерильном зале с голубоватым свечением ламп все реже появлялись люди. Замуруют, завинтят наглухо входные люки, накалится уран, взбурлит и засвищет пар, качнет и погонит турбину, и в далеких весенних полях, на проводах и на мачтах взлетят испуганно птицы.

Бетонная шершавая башня была выкрашена снаружи в розоватый цвет. Оставалось незакрашенным размытое серое пятно, напоминавшее медведя, поднявшегося на дыбы. К пуску реактора ожидался приезд министра, стройка приводилась в порядок, убирался строительный мусор. Малярам был отдан приказ закрасить пятно. К медведю тянули леса, свинчивали железные трубы. Трое рабочих подымали вверх на лебедке металлические кипы опор, сооружали шаткую, прилегающую к башне конструкцию.

— Ты, Чеснок, совесть имей! Четыре трубы ложь, а уж пятую на пропой! А ты три ложишь. Эдак держаться не будут, завалятся! Маляры шею сломят! — Гвоздь, тощий, синий от холода, хватал ржавое железо исцарапанными руками.— Совесть надо иметь!

— Ну ты, сука совестливая! — огрызнулся Чеснок.— Тебя же к вечеру колотун бить будет! Стакан станешь искать! Для тебя, Гвоздь гнутый, стараюсь. Сговорился с одним пентюхом на садовых участках. Свезем трубы, будет водка!

— Я думаю, где у Гвоздя совесть? А у него в шляпке! — загоготал Лошак, открывая легированные тусклые зубы, натягивая трос лебедки.

Все трое были перепачканы ржавчиной, мокрые от моросящего дождя. Мерзли на ветру у громадной выпуклой башни. Медведь на стене воздел над ними когтистые лапы.

— Да мне-то что! — оправдывался Гвоздь.— Навернется кто-нибудь с высоты, костей не соберешь. Сами загремим, если что!

— На тебе портки болтаются, как парашют, ветер ловят. Спланируешь!

— Говорят, Ладошкин, которого током убило, на парашюте хотел летать.

— Да не на парашюте, лудило, на воздушном шаре! Он резину в аптеке купил, хотел надуть, а та лопнула, Ладошкина и убило. Ты, Гвоздь, осторожней, ты — острый, не проткни резину!

Чеснок с Лошаком хохотали, а Гвоздь, мучаясь от холода и похмелья, сутулился, втягивал мокрые руки в короткие рукава телогрейки.

Они свинчивали крепи, обдирали ладони о железо. Под ними по липкой тропинке проходили редкие монтажники, опасливо огибали их неверное, шаткое сооружение.

— Цыгане у вокзала совсем озверели, водку в долг не дают! Сколько мы им, черномазым, переплачиваем, грабят русского человека, лохматые! — Гвоздь с отвращением глядел на ржавые трубы, на мокрую шершавую стену и черно-серую плывущую в дожде панораму стройки.

— Собак пропили, шашлыков нажрались, водкой глаза залили! Говорил — экономьте! Нет, «гуляем»! Кооператоры хреновы! — Чеснок с презрением смотрел на товарищей.— Опять мне на бутылку вам доставать? Чего ж ты о совести вспомнил? — пихнул он Гвоздя. — Или пьяный, или честный! Сейчас подгоню колымагу, грузим трубы и толкнем их по трояку!

— До сих пор из зубов шашлыки выковыриваю,— Лошак открыл свои синие воспаленные десны, из которых торчали стальные клыки.— Шашлыки-то, небось, из тех же собак!

— Кавказцы на шашлыках наживаются! На наши копейки себе дворцы у моря настроили. В душегубку их, трубу выхлопную в пасть, и весь разговор! — Гвоздь ежился, сырость пропитала его телогрейку, тощие ноги дрожали в мокрых порточинах.

— А у меня вот что есть! — Лошак вытащил из-под робы женские шерстяные рейтузы.

— С бабы снял? — оживился Чеснок.

— Да нет, с веревки! Иду — висят, я и сдернул. Можно загнать!

— Если б с бабы, сказал бы тебе «молоток», а с веревки, так «хрен собачий»!

— Чеснок, а Чеснок!— Гвоздь не находил себе места.— Надо бизнес придумать. Собак переловили, на мелочевку живем. Придумай бизнес, Чеснок!

— Уран привезут, укради и продай. Израиль уран покупает,— ответил Чеснок.— Прямо на водку меняет.

— Израиль богато живет,— заметил Лошак.— Евреи везде богато живут.

— Ну и стань евреем, будешь богато жить,— посоветовал Гвоздь.

— У нас здесь есть, которые не евреи, а богато живут,— сказал Чеснок.— В коттеджах пошуровать, много чего найдешь. Меня Горностаев раз к себе зазвал, стакан налил. У него камин, статуэтки резные, иконы, вот бы грабануть!

— А как?

— Станцию подорвать, как в Чернобыле. Все разбегутся, заходи, бери, чего желаешь. Я в Чернобыле шуровал по домам, золотишко брал, барахло. Полгода жил!

— Эх, мать твою, рвануть бы эту станцию, чтоб земли не осталось! — взвыл Гвоздь, ударил кулаками о стену.— Жить не хочу!

— Заткнись, Гвоздище! Кто-то идет, кажись, знакомый!

Они затихли, перестали греметь железом, прижались к шершавой стене. Смотрели, как Фотиев пробирается внизу по тропке.

Фотиев торопился, огибая башню реактора. Под недостроенными лесами, на узкой, протоптанной среди грязи дорожке столкнулся с Горностаевым.

— Куда-то пробираетесь? — Горностаев щурил на Фотиева серые веселые, злые глаза.— По заданию стачечного комитета? Подпольщики, нелегалы? Подпольная организация «Вектор»? Подпольная кличка Артем?

Фотиев молчал, жалко улыбался, всматривался в красивое, тонкое лицо Горностаева, читал на нем неприятие, отвращение, не испытывал ответной вражды, а лишь недоумение: неужели они, столкнувшись на этой тропинке, были сдвинуты чьей-то грозной таинственной волей, и их вражда, неприятие угодны кому-то.

А Горностаев уже говорил, говорил ему что-то, бросал в лицо Фотиеву оскорбительные, полные ненависти слова. Фотиев почти не слышал, не понимал этих слов. Видел — все безнадежно. Безнадежны его откровения и стремления к истине. Бессмысленна вся его жизнь, потраченная на поиски знаний. Устами этого недоброго, умного, властного человека произносится правда о нем. Их всех окутывает мгла, поглощают печаль и уныние, тихий мглистый туман всеобщего небытия.

— Есть такие незваные гости, чистенькие, скромненькие, бочком-бочком, с протянутой ручкой, встают на твоем пороге. Просятся в дом на один лишь денек, переночевать, обогреться. Их пускают, сажают за стол. Они выпьют твой чай, съедят твой хлеб, влезут в твою шубу,

уведут твою женщину, осквернят твой порог, наплюют в твой очаг. После них — мерзость, смерть, запустение! Вы — такой гость!

Горностаев захлебывался, наступал на него, был готов ударить. А Фотиев, окаменев от прикосновения башни, последней, еще живой, некаменной клеточкой мозга думал: «Так в чем же есть высшая цель, если все мы друг друга терзаем?!»

Горностаев был белый. Казалось, силы покинут его и он рухнет тут же, на тропе, у подножия башни.

— Ненавижу вас!.. Вы — враг!.. Олицетворение всего, что я ненавижу!

— Вы не правы,— Фотиев слабо шагнул к Горностаеву.— Мною движет не зло... Сейчас не могу говорить... Мне плохо... И вам... Нам плохо обоим...

Он протянул к Горностаеву руки, но тот отшатнулся:

— Не прикасайтесь ко мне!.. Ненавижу!..

Фотиев, не опуская рук, повернулся и, как слепой, щупая перед собой мглистое пространство, пошел по тропе, слыша, как звучит ему вслед ненавидящий стон.

Горностаев удерживал в горле стон ненависти, смотрел, как удаляется Фотиев. Услышал над головой звяк металла. Сверху со строительных лесов свесилась голова.

— Здравствуйте, Лев Дмитриевич!

Горностаев узнал Чеснока, его ухмыляющийся рот, прыщавое, с голубоватым отливом лицо, красный замызганный шарф.

— Слышал? — обратился к нему Горностаев.— «Века торжество»!

— Да что вы, Лев Дмитриевич, на него тратитесь! Это же мразь, гнида!

— Мразь! — повторил Горностаев.

— Он втерся в доверие и гадит, гадина, вор!

— Вор! — вторил Горностаев.

— Его проучить, и поймет! Такие, Лев Дмитриевич, только кулак понимают!

— Проучить! — яростно соглашался Горностаев.

Смотрел на удалявшегося Фотиева, на хитрое, злое, готовое услужить лицо Чеснока. Соединял, замыкал их взглядом. Развернулся, пошел прочь.

— Понял вас, Лев Дмитриевич,— Чеснок зорко, хищно следил, как удаляется Фотиев.

— Лошак, сука, давай рейтузы! Давай, морда, давай! — Чеснок выдернул из-под робы приятеля рейтузы, достал нож, схватил ткань зубами, рассек рейтузы в промежности.

— Ты что, Чесночина! — сопротивлялся Лошак.

— Молчи, морда! — огрызнулся Чеснок.

Он дырявил рейтузы, прорубал в них дыры. Напялил на голову трикотажную кишку, так что в смотровые щели выглядывали одни его беспокойные злые глаза.

— Гвоздь, бери чехол!.. А ты, Лошак чертов, тянись следом за нами!

Схватив обрезок трубы, Чеснок по-обезьяньи цепко спустился на землю. Все трое направились вслед Фотиеву.

Фотиев чувствовал, как разгорается в нем больной жар. Он был несчастен, виноват, не сумел объясниться с человеком, который его ненавидит. Упустил возможность раскрыть ему смысл своих поступков и дел, показать, что нет в нем корысти, а одно стремление к добру.

Он достиг пустыря, где высился ржавый огромный бак, вмороженный в грязный лед. Круглились обрезки водовода с ошметками

оборванной изоляции. Валялась тяжелая расколотая шестерня от башенного крана. Он услышал сзади шаги, обрадовался, подумал, что это Горностаев кинулся искать примирения. Оборачивался, скользил глазами по выпуклой поверхности бака, по зубьям шестерни. Страшный удар в голову оглушил его, будто взорвалась ртутная лампа. Он упал на тропу, ударившись гулко о бак.

Открыл глаза, и новый удар, страшнее первого, ослепил его, залил глаза кровью. Теряя сознание, сквозь липкую горячую красноту, видел, как скачут над ним, прыгают на него ногами какие-то черные чучела, наклоняют к нему угольные глазастые морды.

Чеснок, отбросив обрезок трубы, бил ногами лежащего Фотиева, яростно, страшно дышал:

— За что?.. Не надо!.. Не надо!..— выкрикивал он, а сам бил в живот и под дых.— Пожалейте!.. Ведь он человек!..— а сам бил по ребрам, по хрустящим костям, в хлюпающую мякоть.— Он же хороший!.. Он вам ничего не сделал!.. Люди вы или нет!..— а сам бил в голову, в лицо, в раскрытый, окровавленный рот.— Ну вот и ладно, и правильно, оставьте его, он не будет! — а сам вгонял наотмашь ботинок в пах, в почки, в печень.

Лошак и Гвоздь схватили Чеснока, отдирали от лежащего.

— Убьешь!.. Вышку дадут!.. Уйди!

Оттянули его от бездыханного, скрюченного на тропинке Фотиева. Чеснок успокаивался, мелко дрожал:

— Да пустите вы, суки!

Подошел к лежащему Фотиеву и стал мочиться на него — в лицо, в залитые кровью глаза, в открытый расплющенный рот.

Тихонин после того как закрыли вагончик Фотиева, где можно было чертить разноцветные графики «Вектора», а выполнив ежедневный чертеж, раскрыть альбомчик и на память, легким касанием карандаша в сотый раз повторять портрет жены; после закрытия «Вектора» Тихонин вернулся на стройку, в бригаду разнорабочих, состоявших из расконвоированных колонистов. Вместе с другими «неосторожниками» уходил из зоны, весь день разгружал арматуру, переносил тяжелые ребристые хлысты, рулоны вибрирующей жести. Уставал, тосковал по карандашам и краскам, к концу смены плечи и колени его болели, руки были содраны в кровь, и он едва добирался до автобуса, отвозившего колонистов обратно в зону.

Но как ни было ему тяжело, как ни мучился он без любимого альбомчика, все искупалось ожиданием близкого помилования. Близилась половина срока, отбываемого им после той злополучной ночи, когда отвозил из гостей жену и малого сына и сбил во тьме женщину. И все два года своего заточения, ужасаясь, винясь и раскаиваясь, он ждал, что его помилуют. Скостят срок вдвое. Безупречно работал, выполнял малейшие предписания режима, был примернейшим из осужденных.

Он верил, что жена не оставила его навсегда, вернется, когда он, отстрадав, искупив свой грех, станет свободным. Повторится их чудная жизнь, благоденствие. Заживут в мире, согласии, растя сына. Он представлял свое скорое избавление, когда обнимет любимых, увезет их к морю, и в белом дворце с колоннами среди лазурного моря и цветущих гор будут неразлучны. Сын станет брать из белой тарелки глянцевитые вымытые ягоды черешни, пачкаться соком, ронять на отцовскую ладонь розовые мокрые косточки.

Тихонин работал на стройке, хватал холодные корявые прутья железа, а сам думал о море, о черешне, о любимом лице жены.

До отхода автобуса оставалось время, и он решил не мерзнуть на остановке среди бушлатов, телогреек и кирзовых сапог, а заглянуть в вагончик, надеясь — а вдруг туда заглянет и Фотиев, или братья

Вагановы, или Накипелов, друзья, с кем виделся в последнее время редко. Он отделился от темной, бредущей к остановке толпы, зная, что успеет в зону к вечерней поверке, заторопился к вагончику.

Он увидел на тропе у железного проржавелого бака лежащего человека. Тот шевелился, корчился, пытался подняться, падал. В окровавленном изуродованном человеке Тихонин узнал Фотиева.

— Кто вас так, Господи!

Фотиев хрипел, плевался красными слюнями.

— Помогите! — едва выговаривали разбитые губы.

Тихонин оглядывался беспомощно в разные стороны по безлюдному пустырю, усыпанному ржавыми балками, трубами, мотками проволоки. Не было ни единой души, только станция смотрела исподлобья угрюмыми глазами, как один слабый тщедушный человек наваливал себе на плечи другого, шел шатаясь, и ноги избитого скребли, цепляли тропу, кровавые слюни стекали из бормочущих губ:

— Помогите!.. Я во всем виноват!..

Они достигли бетонки, и Тихонин рухнул, уронил Фотиева. Оба они лежали в грязи, в нефтяных мутных пятнах, пока не подскочил «уазик» диспетчера.

— В город!.. Пожалуйста! — умолял шофера Тихонин.— В больницу!.. Он умирает!..

— К Антонине!..— Фотиев мучился, с трудом раздвигал губы, выталкивал слова.— К Антонине!.. Ключ в пиджаке!..

«Уазик» подбросил их в город. Тихонин, надрываясь, дотащил Фотиева до дверей. Но Антонины не оказалось дома. Отомкнув дверь, он вволок Фотиева, уложил на кровать.

— Надо к врачу!.. Проверить кости!.. Кто же вас так?.. Печень проверить!.. Надо в милицию!.. Что с вами сделали!..

— Никуда!.. Здесь!.. Антонина!..

Фотиев забывался, приходил в себя. Тихонин стягивал с него пальто, одежду. Бежал с мокрым полотенцем в ванную. Стирал с лица кровь и грязь. Прикладывал мокрую ткань к слипшимся кровавым волосам.

— Пить!.. Умоляю!..

Тихонин бежал на кухню, нес чашку с водой, осторожно вливал в распухшие губы.

Он понимал, что опаздывает в зону. Все расконвоированные уже прошли турникет, показали на вахте свои жетоны, разошлись по баракам, вымылись, сменили одежду, собрались в столовой на ужин. Его отсутствие уже замечено, о нем уже знает строгий капитан-воспитатель. Но Тихонин не мог уйти, оставить Фотиева, поминутно терявшего сознание.

— Пить!.. Антонина!.. Я во всем виноват!

И снова Тихонин мочил полотенце, прикладывал к ушибам и ранам, понимая, что на него самого надвигается несчастье. Его опоздание, его проступок вызовут гнев воспитателя, выговор, крик, быть может, помещение в карцер, в штрафной изолятор, чей бетонный угрюмый блок, обнесенный колючей проволокой, пугал его своей тупой безнадежностью.

— Тихонин, милый, спаси!..

Тихонин спасал, перевязывал раны, вливал в дрожащий рот холодную воду, понимая, что он сам погибает. Суд, готовый через несколько дней начать свои заседания, не помилует, не оправдает его. Не отпустит к жене и сыну.

Лишь к ночи, когда пришла Антонина, ахнула, увидев избитого Фотиева, перехватила у Тихонина полотенце, кинулась к шкафчику доставать йод, бинты, лишь тогда Тихонин ушел.

Он добрался на автобусе до поворота, где ответвлялась дорога к зоне. Бежал во тьме по бетону, видя, как в мокром тумане начинает

ртутно светиться зона, в черное небо подымается зеленоватая плазма света, размытыми лучами бьют желтые прожектора, проступают угловые вышки, гирлянды огней над колючей проволокой, и темным тупым бруском выступает штрафной изолятор. Приближался к зоне, умоляя невесть кого: «Пусть простят... Я ведь друга спасал!..»

Зона поворачивала к нему рыжие прожектора, тянула щупальцы жестокого света, влекла к своим баракам и вышкам.

Глава двадцатая

После избиения Фотиев медленно исцелялся душой и телом. Не покидал дом. Пока не было Антонины, лежал недвижно часами, погруженный в созерцание. Рассматривал свои руки, форму ногтей и пальцев, волоски на запястьях, прислушивался к своему дыханию, к биению сердца. Удивлялся странной тождественности с самим собой, тому, что ум, чувства, сознание заключены в телесную оболочку, навязанную природой, вмененную от рождения. От этой оболочки и формы не избавиться. Рассчитанная на земную жизнь, на гравитацию, на трехмерное пространство, на атмосферу, на семь цветов радуги, эта форма таит в себе бестелесную, вневременную, внепространственную сущность. Точку света, центр жизни, ведающий о всем мироздании, будто эта точка залетела в тело из бесконечности, из бессмертия. «Искра Божия!» — думал он, нащупывая в себе эту точку.

Когда возвращалась Антонина, он был счастлив. Помогал ей по хозяйству, ухаживал за ней, накрывал ей на стол, вслушивался не в новости, которые она приносила, а в сам ее голос, в то, что присутствовало в ее голосе, сокровенное, безымянное, «искра Божия», из которой должно было родиться дитя.

Он не желал думать о том, что с ним случилось. Не желал гадать, что было причиной жестокого избиения. Берег себя — свое израненное тело, свою сотрясенную душу, давая им исцелиться. Сосредотачивался на безымянной мерцающей точке...

Ночь, туманные водянистые звезды, зеленоватое глубокое зеркало, в котором, как рыбы в аквариуме, плавают флаконы духов, лакированная шкатулка, бусы и колечки на столике. Он чувствует, как скользят по его голому плечу сквознячки, струится в грудь мягкое тепло от ее руки. Она говорит:

— Так хочется тишины! Так тишина нужна! Чтобы он взрастал в тишине!.. Пусть будут стены деревянные, смуглые, с коричневыми сучками. Пусть будет куст за окном, летом на нем белые розочки, а зимой белый снежок, птичка-синичка. Я буду в школе работать, учить деревенских детишек, а ты лесником, или егерем. Ты ведь из лесной стороны. Разве это невозможно для нас?

— Возможно. Поедем в деревню. Пусть растет на природе.

— Неужели не проживем? Много ли нам нужно? На хлеб заработаем, крышу над головой раздобудем. Мне не нужно ничего, ни нарядов, ни украшений, ни городских развлечений. Пусть будет только природа, простые добрые люди, тишь, красота. Ведь это самое главное!

— Самое главное. Пусть будет тишь, доброта.

— Будем книжки друг другу читать, Пушкина, Есенина, Пришвина. Беседовать с тобой, философствовать о чем-нибудь простом, немудреном. Какая-нибудь старушечка деревенская станет к нам в гости захаживать,— ее говор, шуточки, поговорочки, какая-нибудь песня старинная. А за окошком елки, заря. И он все это слышит и чувствует — и зарю, и елки, и нашу любовь. Разве этого мало?

— Я готов. Мы поедем. Доступно и просто.

Он верил в доступность этого идеального бытия, которое она

предлагала. Надо было отказаться от страстей, азарта, путаницы людских отношений, и жизнь, освобожденная и очищенная, откроется вечной, неисчезающей глубиной, красотой.

— Знаешь, мне говорили,— он коснулся ее плеча, заскользил по ее теплой белой руке, до локтя, до запястья, до длинных пальцев, лежащих у него на груди, почувствовал грудью двойную тяжесть — своей и ее руки.— Мне говорили, отсюда к северу, верст за пятьдесят кончаются все дороги, все тропы, начинается сплошной лес, озера, непролазные гущи, безымянные реки, в лесах, на озерах, на реках безымянные брошенные деревни. Добротные дома, каменные церкви. В домах печи, на улицах колодцы, только улицы заросли лесом, церкви скрылись в елках, а на крышах домов трава. «Русь сокровенная», о которой говорил отец Афанасий. Поселиться бы нам с тобой в такой деревне. Починить дом, обкосить усадьбу, обмазать печь, на лодке по рекам привозить два раза в год муку, соль, гвозди, а остальное время жить, как беглецы, староверы. Ты права, я крепкий мужик, крестьянскую работу знаю, лес валить, дрова пилить, рыбу ловить, зверя лесного бить. Ты летом — по ягоды, по грибы, на зиму в бочках замачивать. Я — рыбу вялить. Прожили бы, как ты считаешь?

— Еще как бы прожили! — она счастливо прижалась к нему, и он чувствовал ее всю от виска с нежной, душистой прядкой волос до теплых пальцев ног.— Проживем, как староверы!

И это казалось возможным. Бочки в сенях покрыты ледком, полны красной моченой брусники. Белки в стылых осинах, как легкие, голубые завитки. Верша из прутьев, полная грохочущих серебряных рыбин. Толкаясь шестом, он подплывает к вечерней, малиновой от солнца деревне, и она, его милая, полощет с мостков белье, высматривает его среди закатного блеска.

— Как староверы,— повторила она.

Они лежали в тишине, в темноте. В согласии помыслов, в совпадении малейших ощущений и чувств. Он поражался этому драгоценному совпадению, когда у него не оставалось ничего своего, отдельного от нее, оба они сочетались в чем-то невидимом, еще несуществующем, но обнимавшем их, возвращавшем.

— Всегда мечтала, что у меня будет когда-нибудь сад. Сама его посажу. Не имела клочка земли, кустик-то не могла посадить, а мечтала о саде. Пока наш мальчик не родился, давай осенью сад посадим. Пусть вместе растут.

— Посадим, — сказал он. — Посадим сад. Завезу в нашу деревню яблоньки, груши, сливы. Обязательно вишню, малину, крыжовник. Над каждым деревцем загадаем желание.

— Обязательно одну яблоньку посажу в память о папе. Мне все кажется, он тоскует, зовет меня. Ему там одиноко. Пусть душа его поселится в яблоне в нашем саду.

Сад казался возможным, достижимым, единственно важным из того, что сулила оставшаяся жизнь. Синее весеннее небо и белый цветущий сад. Глянцевитый блестящий снег и черные корявые яблони. Осенняя сырая заря и малиновый отблеск на ветках. Постаревший, усталый, он проходит по саду, поднимает с мокрой земли тяжелое яблоко.

— Столько в жизни всяких соблазнов,— сказала она.— Столько искушений. Столько разных путей, перепутий. Но вот родим сына, вырастим сад, сохраним нашу с тобой любовь, искренность, большего и не нужно. Все остальное мельче, согласен?

— Да,— сказал он.

Они лежали, и на мгновение стало так тихо, что смолк за окном ветер, летевший из сырых полей, и перестали стучать колесики в настенных часах. Тишина стала огромной, высокой, поднебесной, и в

этой тишине что-то беззвучно, бестелесно летело, овевало их дуновениями. Пронеслось, и опять стали слышны стуки их сердец, шелест колесиков в часовом механизме, порыв весеннего ветра.

— Ангел пролетел,— сказал он.— Так бабушка моя говорила, тихий ангел пролетел.

Она испытывала такую сладкую усталость и нежность, доверие к нему и свою от него зависимость, свое господство над ним и долгожданный покой, спустившийся на них наконец после всех тревог, огорчений. Они заслужили этот покой. Не для себя, а для сына, который ими будет рожден.

Она прижималась к нему, дремала, старалась думать о безмятежном и светлом, погружала эти видения в свою дышащую глубину.

Она представляла себя в море, в теплой, плещущей, искристой воде. Не видно берегов, все в голубоватом тумане. Омываемая упругой, звонкой водой, она подныривает под зеленую, распластавшуюся на волнах ветку, касается губами ее листвы, прижимает ее к груди, целует в открытом, безбрежном море свежую зеленую ветку.

Еще ей казалось, она идет в снегопаде, в легкой прохладной млечности. Под ногами белизна, из неба медленно опадают пушистые хлопья. Далей не видно, а сплошное бесшумное движение небес. На плечах у нее белое, на бровях и губах белое, и ей кажется, что она, не касаясь земли, перемещается в чистейшем веществе, изначальном, дающем происхождение всему.

Еще она представляла раскрытый цветок шиповника, малиновый, горячий, душистый, с золотой сердцевиной, с бессчетными желтыми тычинками. Она приближает лицо к цветку, к лепесткам, вдыхает сладость, сама уменьшается, а цветок увеличивается, принимает ее в себя, окружает огромным соцветием. Она в цветке, в его малиново-алом свете, в растущей живой сердцевине.

Она заснула, и сон ее был сладок, бесцветен, беззвучен, лишен видений. Но потом в бестелесности стали возникать какие-то тени, уплотнялись и множились. Она стала тревожиться, не хотела этих теней, отступала от них. Теней становилось все больше, они двигались на нее колоннами, среди них возникали вспышки огня, и она не желала быть с ними, бежала от них, а они настигали. И спасаясь от их гулких, грохочущих, бегущих шагов, она падала, срывалась, рушилась в бездну мимо отвесной скользкой стены, и в стене, мимо которой она пролетала, открывались на мгновение лица, кричащие рты, глаза. Она рушилась мимо этих замурованных, кричащих из толщи лиц.

Проснулась, оглядываясь, искала его в темноте. Он сидел в кресле, спиной к ней, и казалось, вокруг его головы свечение.

— Ты где? Почему встал? Мне сейчас приснилось...

— Я должен ехать в Москву,— сказал он.— Поставить точку. Понять, в чем я ошибался. В чем дефект «Вектора».

— Но ведь мы же хотели... Ты сказал, уедем в деревню...

— Если я потерпел поражение, и вся моя жизнь — прах, я должен понять, где ошибка. Где ошибка в конструкции «Вектора».

— Но мы же хотели сад!.. В леса, на озера!..

— Поеду в Москву. Там работают ученые, чьи мысли для меня драгоценны. Они одобрили «Вектор», хотели, чтобы я его испытал. Я должен им рассказать, что «Вектор» потерпел поражение. А они мне должны объяснить, в чем огрехи.

— Нет, не уезжай! Обещаю, ни разу не вспомню о прошлом, ни разу не оглянусь. Только ты. Только сын. Только сад.

Он сидел, не оборачиваясь, лицом к окну. Она боялась к нему подойти, боялась прикоснуться к нему. Ей казалось, от его головы исходит зеленоватое водянистое свечение.

Камера штрафного изолятора была выкрашена грязно-белой шершавой краской. В потолке, зарешеченная, светила голая лампа. В углу стояла железная, привинченная к полу кровать, переносная параша. Железная, обитая листами, дверь была приоткрыта, и в нее заглядывал немолодой, жилистый и костистый охранник в ремнях с пистолетом.

Посреди камеры на железном стуле сидел Тихонин. Парикмахер, такой же «зэк», как и он, стриг ему голову наголо.

Тихонин сидел, оцепенев, чувствуя, как щиплет, дерет волосы ручная машинка, как становится холодно обнажаемой, лишенной волос голове, как скользят по лицу, падают на колени выстригаемые клочья.

Парикмахер, лысый, с землистым, прыщавым лицом, щелкал машинкой, ухмылялся, обнажая рот с гнилыми зубами. Тихонин ощущал исходящее у него изо рта зловоние.

«Я за друзей...— думал он, оцепенев, отдавая себя во власть лысого, ухмыляющегося человека.— Я за друзей...»

Он понимал, что с ним случилось несчастье. Суд не помилует, не оправдает его. Ему предстоит остаться в этом страшном, угрюмом месте, в постылой зоне еще долгих два года. Мечта, которая поддерживала его и спасала,— увидеть жену и сына,— эта мечта разрушена, а вместе с ней окончательно разрушена жизнь. Не будет синего теплого моря, белой тарелки с черешней, розовых косточек на ладони. А будет жилистый, в ремнях, с пистолетом охранник, проволока по забору, ночные прожекторы, сутулые спины идущих с работы бригад.

«Я за друзей,— думал он,— за друзей...»

Его голый, освобождаемый от волос череп чувствовал холод камеры. Лампа сквозь железную сетку освещала парашу, бетонный пол, клочья его серых упавших волос. Тихонин сидел и слушал лязганье машинки.

Антонина провожала Фотиева в Москву с утренним ранним автобусом. Стояли на остановке, он прижимал ее к себе, старался быть веселым, шутил. Она смеялась, поправляла ему шарф, снимала с пальто соринку. Он повторял ей в который раз, что скоро вернется, и они решат, куда им отправиться,— подальше от всех тревог и напастей.

Подкатил автобус, старинный, шаткий, облезлый. На ранний рейс почти не было пассажиров: какой-то парень в ушанке, какая-то старушка с кульком.

— Пора,— он поцеловал ее.— Береги себя. До свидания.— Вскочил на подножку, прошел вглубь автобуса, сел, прижался к окну. Она стояла на остановке, смотрела на него умоляюще, жадно. И он вдруг почувствовал такую боль, такой страх за нее, за себя, что захотелось вскочить, выбежать из автобуса, обнять ее и остаться. Но двери со стуком закрылись, автобус тронулся, поплыло назад ее лицо, цветастый платок. Таяли, уменьшались, скрывались. И уже тянулись печальные перелески, талые поля, голые, в ветреных лужах обочины...

Глава двадцать первая

Фотиев брел по Москве среди туманных серых огней, и город казался расплывчатым, нереальным, выпавшим из фокуса. Двоились лица, фонари, витрины, двоилась его собственная, расщепленная мысль.

В каком-то полутемном сквере он втиснулся в густую ночную толпу, разбившуюся на плотные сгустки. Люди стояли кучками, о чем-то говорили, судили-рядили. Перебираясь от одних к другим, он

слушал их разговоры. Какие-то измученные, желтоглазые армяне распространяли воззвание, показывали снимки убитых. Светлобородые люди с двуглавыми орлами в петлицах изобличали масонов. Старый беззубый еврей, показывая мокрые десна, говорил о трагедии мирового еврейства. Бранили политбюро, требовали отставки правительства. Фотиев пробирался сквозь их плотные сгустки, словно сквозь валики с краской, и каждый оставлял на нем невнятный отпечаток идей, и все вместе они сливались в неразборчивый, грязно-размытый слой.

Туманно-блестящая Манежная площадь, в которую стекались глянцевитые, лакированные потоки, рябили поверхность, как озеро. На углу отеля, у отвесной, стеклянной, как черный дождь, стены стояли проститутки, яркие, словно синтезированные из химических веществ, жадно смотрели на проезжавшие автомобили, тянулись глазами, плечами за проходящими мужчинами. Те заглядывали в их размалеванные лица, в красногубые синеглазые маски, смеялись, прицениваλись, уводили с собой. Хвост такси медленно двигался, подбирая проституток, и Фотиев успел заметить, как у одной, садящейся в салон, обнажилась нога, мелькнул белый кружев. Манеж в тумане белел и светился, как застывший на воде корабль.

В длинном подземном переходе дул ровный тугой сквозняк. Фотиев чувствовал, как улетучивается из тела тепло, леденеет кровь. У стены перехода, прижимаясь к кафелю, стоял слепой, играл на аккордеоне. Мелодия «На сопках Маньчжурии» подхватывалась сквозняком, уносилась наверх, в город, летела по Москве, по сырым бульварам, по предместьям, по черным мокрым полям, где истаивало, превращалось в ледяной пар, в моросящий дождь время зимы. Проходя мимо слепого, Фотиев кинул в шапку пару монет, уловил зрачком отсвет перламутровой клавиши.

Он вынырнул из перехода наружу, пробрался вверх по брусчатому крутому проезду мимо красно-кирпичного, морщинистого Исторического музея, вышел на Красную площадь.

И возникло чувство, что он вдруг оказался на вершине горы, на полюсе мира, на куполе земного шара, куда сходились земные меридианы, подобно железным обручам и крепям. Падали, кренились за горизонт в разные стороны соборы и башни. Он стоял на каменном темени планеты, золотистые луковицы, ребристые цветные купола распадались, как лепестки цветка, раздуваемые ветром. Черные камни под ногами светились, как куски железных метеоритов.

Он стоял на площади. Ледяной космический ветер дул на него с высоты, гнал мимо каких-то пестрых, бумажных, пустых внутри иностранцев,— их шубки, клетчатые платки, шляпки, смеющиеся лица,— сдувал их прочь, как конфетти. Площадь металлически, угрюмо блестела, покрытая чешуей, словно корпус космического корабля, обугленного ударами о Вселенную.

Он стоял, натыкаясь глазами то на круглое золотое яйцо, плавающее в небесах, то на колючий, многоцветный репейник, расцветший в черноте, то на красную, с протуберанцем звезду, напоминавшую комету. Он был один, выпущенный в открытый Космос, на клепаную, чешуйчатую поверхность среди загадочных, населяющих мироздание светил. И вдруг глаза его остановились и замерли на огромном кристаллическом теле, пульсирующем среди тьмы. «Ленин» — значилось на кристалле, название орбитального корабля, врезанное в бортовину.

В каменной глубине под стеклянным колпаком в красно-багровом свете с недвижным желто-лунным лицом лежал умерший астронавт. Все, что осталось от человека. Напоминание человека. Рыжие редкие волоски на висках, капельки бальзама у запавших век, склеенные, сухие губы, пергаментная рука с костяными пластинками ногтей. Желтая голова на шелковой малиновой подушечке.

Не человек, не мертвец, не статуя человека, не мумия человека, а чёрт-те кто лежал в этом прозрачном кристалле, в желтоватом

бруске янтаря, прилетевший из других галактик, основавший на месте России свое государство, покоривший народ, заставивший его воевать и работать, верить в ослепительное, невозможное на земле бытие, обманувший его, не пустивший в свою сокровенную тайну, унося эту тайну в смерть.

Умерший не был предан земле. В его могилу был доступ живым. Многие люди, поколение за поколением, входили в его могилу, смотрели на мертвое тело, на лунно-белое лицо, унося на своих лицах голубовато-лунный холодный отсвет. Разъезжались по огромному, созданному мертвецом государству, и на всех городах и весях, на пажитях и дорогах лежал чуть видимый, голубовато-желтый отсвет его лица.

Так чувствовал Фотиев гранитные грани мавзолея, их астрономический холод и блеск.

Мертвое тело, бывшее некогда Великим Вождем, лежало на застекленном одре. Рядом, вмурованные в кирпичную стену или в земле под тяжелыми плитами, покоились горстки пепла, оставшиеся от соратников. Теснились к вождю, окружали его пепельным строем. Другие, убитые этими испепеленными соратниками, лежали в безвестных могилах на тюремных дворах, на откосах холодных сибирских рек, в оврагах и рытвинах, скрепляя своими костями всю огромную конструкцию созданного государства. Все могилы тайным рисунком и образом, таинственным законом и смыслом сходились к могиле Вождя. Главная могила притягивала их своей гравитацией, и все вместе они повторяли чертеж таинственной, запредельной галактики, из которой прилетел основатель.

Государство, построенное мертвецом, умирало. Живые бродили среди могил, мучились, проклинали, молились, старались выбраться из их лабиринта, не могли. Путь был утерян, чертеж лабиринта забыт, тайна строительства хранилась в желтой, костяной голове, лежащей на малиновой подушечке.

Фотиев стоял на площади, видя, как наползает туман, скрывает башни и главы, укутывает золото и белый камень. «А я? Мне как жить? Куда мне деться?» — вопрошал он, тоскуя.

В тумане, под хрустальный перелив часозвона возник караул. Мерно, плавно плыл по воздуху, неся на плечах штыки. Двигался в небытие, отсвечивая лучиками синеватых штыков.

Фотиев плутал по ночной Москве, блуждал в завитках тумана, под утро в моросящем дожде забрел в полутемный двор. На мокром газоне стояло дерево, одинокое, безлистое, с круглой упругой кроной, с протянутыми волнистыми ветками, на которых набухли мохнатые почки.

Дерево беззвучно его позвало. Продрогнув, без сил, с неясной мольбой он приблизился к дереву, ожидая нового зова. Но оно молчало. Он коснулся пальцами глянцевитого, мокрого ствола, взял в ладонь ветку, осторожно пожал. И вдруг почувствовал, как дерево откликнулось чуть слышным пожатием. Он снова погладил ветку, провел ладонью по шершавой коре, по мягким мохнатым почкам, дерево, без глаз, без лица, без губ, откликнулось на его пожатие. В древесном ответе было сострадание, нежность, словно дерево ожидало его в этом глухом уголке, дождалось наконец.

Он стоял перед деревом, держа в руках ветвь, испытывал благодарность, вину за то, что оно, беззащитное, чьей-то волей принесено в этот каменный двор, и ему до скончания дней расти в этой каменной нише, вдали от лесов, опушек, вольных зверей и птиц. Но оно, обреченное на одиночество, откликнулось на его мольбу, утешало его.

Окончание следует

ПОЭЗИЯ

ОЛЕГ ИГНАТЬЕВ

ПЕРЕЛЕТ

* * *

Пьет деревня и пригород пьет,
И деревня под выдох лихой
Опрокидывает зелье в рот
Со святыми и за упокой.

Русь гуляет, шумит — будь здоров!
Только что-то, ей-богу, не так,
Если мы и родительский кров
Превратить умудрились в кабак.

Доигрались, что каждый не мил
Сам себе, и карманы пусты.
Скоро, скоро с родимых могил
На продажу потащим кресты.

И не счесть, сколько мух в голове
У того, кто не помнит обид,
А вприсядку идет по избе
И плечами не в лад шевелит.

* * *

...Галечник волною загребая,
Хищный обрывая перемет,
Мчит река туда, куда кривая
Вынесет — и ухом не ведет!

Родины речные перекаты!
Ветра неустойчивый челнок!
Севера кедровые палаты!
С вами я уже не одинок.

ИГНАТЬЕВ Олег Геннадьевич родился в 1949 году в поселке Ловецкий Южно-Сахалинской области. Окончил Ставропольский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Автор пяти поэтических книг. Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Слово», «Сельская молодежь», «Юность», альманахе «Поэзия». Член Союза писателей СССР. Живет в Железноводске.

Я затем тут, может, вырастаю,
Чтобы, жизни таинство храня,
Маховым пером гусиной стаи
Осень одарила и меня.

Город, город! Зонтики и шляпы!
Знали б вы, что в северной глуши
Волны, как медведи, косолапы,
Ходят, загребая голыши...

Пейзаж с Бештаугорским лесом и горой Медовой

А бывает, стою у окна,
Где меж стекол пылится оса,
И тогда неизбежно видна
Леса дымчатая полоса.

А над ней — сухоребрый гранит,
Аммоналом разъятой горы,
Что следы человека хранит,
Словно все на земле до поры.

Под присмотром огня, так и быть,
Будем думать: авось не сгорим.
Жаль, забито окно — не открыть:
Всюду грипп. Карантинный режим.

Но об этом не хочется знать,
Если перистые облака
Начинают кромешно сиять,
Освещенные издалека.

* * *

Нехорошо я приснился закату,
Словно кричу за какой-то забор:
— Кто там садовник?
Возьмите лопату.
Кто дровосек? Одолжите топор!

Словно торгуюсь на рынке с рябою
Бабой-солохой, забыв о цене:
— Райские яблочки?
Да, с червобоем?
Яблоки вам, червоточины мне.

Нехорошо я приснился... Да, ладно!
Вспомнила лошадь,
что конюх забыл.

Если в подлеске осеннем прохладно,
Пустим валежник сырой на распыл.

Сплюнем, забудем,
что нету капризней
Страхов закатных, и дыма глотнем.
Видимо, страх — выражение жизни,
Если его укрощаем огнем.

Если не молкнет гусиное племя,
Чувством утраты за горло беря,
И за пространство цепляется время
Чуткими крыльями нетопыря.

* * *

Пошла дорога вниз...
Когда не станет сил,
Признаюсь, что всю жизнь
Мучительно любил
Заката желтый дым,
Гусиный перелет...
А был ли сам любим,
Береза разберет.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

ШЕСТЬ ЛЕТ ПО ДОРОГЕ К ОТЧАЯНИЮ

БЕСЕДА НИКОЛАЯ ДОРОШЕНКО С ТАТЬЯНОЙ ГЛУШКОВОЙ*

Н. Д.: Татьяна Михайловна, когда я читаю беседы на политические и прочие серьезные темы, то у меня всегда складывается впечатление, что участники этих бесед в поисках истины используют свои научные знания, привлекают логику но не собственные чисто человеческие мотивы. И вот я хочу для начала произнести несколько необычный монолог.

Знаете, я всего лишь через шесть лет после войны появился на свет, да еще и в крестьянской семье. Но свое без преувеличений трудовое детство всегда вспоминал как самую счастливую пору, потому что жил в родительском доме, со всех сторон был этим защищен. В шестнадцать лет я уехал из дома, чтобы многое повидать и стать писателем. И хлебнул всего — пьяных рабочих общаг, одиночества, разочарований, беспомощной правоты... Но все познается в сравнении. Все же тогда я знал, что не пропаду, что живу я в *своем* государстве, как в *своем* доме. А сейчас, имея профессию, семью, крышу над головой, я себя уверенным в завтрашнем дне не чувствую. Собственное государство стало для меня той чужбиной, где я уже не имею права оставаться самим собой, иметь личные интересы. Да, раньше нельзя было публично ругать главу правительства, но можно было стать выше этого главы — стать Рубцовым, Вампиловым, Шукшиным, Беловым... И ведь был у государства тот механизм, который помогал алтайскому или вологодскому юноше реализовать свой талант. А кому теперь нужны молодые писатели и литература вообще? Даже роман о проститутках сможет сегодня стать конкурентоспособным лишь в том случае, если написан он автором, стоящим в своем нравственном развитии на одном уровне с несчастными героинями. И не приведи Бог вступить, как Солженицын, в конфликт с господствующими политическими доктринами. Независимые издания, такие, как «Наш современник» и «Молодая гвардия», могут не выдержать конкуренции с официальной, то есть демократической печатью, которая получает поддержку и со стороны правительства, и со стороны обслуживаемых ею миллионеров. И что: думаете, на Западе вас издадут? Нет, Солженицына у нас уже не будет, потому что мир становится беспощадно единообразным. И вот этого единообразия я боюсь больше всего. Мы еще не понимаем до конца, сколь примитивной будет наша жизнь. Пожалуй, даже перевертышей Коротичей уже не будет, ибо они, не встречая нашего сопротивления, станут рядовыми «героями» унисона... Это сегодня еще слышен голос Михаила Лобанова, Эдуарда Скобелева, Игоря Шафаревича и других независимых мыслителей. Прежняя система вольно или невольно позволяла им приобрести необходимую известность, а для новой системы они попросту нерентабельны, и продолжения этого достойного списка именами более молодых людей попросту не будет.

И ведь деться от всего этого некуда! У меня уже нет даже облаков. На облака смотрю и вижу, как плывет по небу моя тревога. И в кронах деревьев шелестит мой страх.

Те, кто не книги пишет, а машины делает, скоро смогут меня понять. У них ведь все еще грубее будет выглядеть, поскольку для них запланирована обыкновенная безработица.

Мне скажут, это монолог слабого, неприспособленного к настоящей жизни человека. А может быть, я не хочу быть сильным по-волчьи! Может быть, я хочу ощущать себя *человеком*?

Короче говоря, я только теперь понял, что значит жить в крепком государстве, быть его частью. Не нравится тебе оно, — даже твою ненависть к нему купит за большие гонорары радиостанция «Свобода», а уж если ты, как Белов, ни от кого не хочешь зависеть, то никто тебе в этом желании всерьез не помешает...

Я, когда перестройка только начиналась, так и решил для себя: вот возникнут демократические процессы в компартии, снизу поднимется свежая волна, смоет махровых аппаратчиков, появятся и другие партии, станут они между собой спорить, как лучше *обустроить* страну, как дать народу волю на предприятиях, на земле. Но что мы голову потеряем, развалим все, пойдем побираться по миру, станем распродавать страну по дешёвке — этого я предположить не мог...

Т. Г.: Да, действительность превзошла все, даже и самые худшие ожидания.

Однако что до последних ваших слов — о распродаже страны, о том, что «мы» голову потеряли и развалили «всё»,— я избежала бы этого, столь принятого ныне, привычного и непременного «МЫ». Это «мы» неспроста настойчиво прошивает политические речи с высоких трибун, газетную и журнальную публицистику: ведь оно чохом виноватит *всех*. Всех нас. Получается, что виновны в преступлениях не те, кто действительно, непосредственно и непреложно виновны, ибо полномочны несчет всяких преступных действий и «инициатив», а *все* мы. Словно бы это *нашу*, всеобщую, всенародную волю выражают наделенные чрезвычайными полномочиями разрушители... А, иными словами, выходит, что виновных — нет. Ибо если *все* виноваты — это равносильно тому, что *никто* не виноват!

Нет, Николай Иванович, в большом ряде случаев я считаю себя вправе говорить не «МЫ» (включая сюда нас с вами), а «ОНИ». *Они* распродают, *они* развалили... Вовсе не спрашивая у *нас*, у народа, о *наших* чаяниях. Не стыдясь ни предков, ни потомков... «МЫ», то есть массы, виновны разве что в доверчивости к глашатаям перестройки, злоумышленникам и авантюристам, посулившим стране возрождение... Об этой святой и трагической доверчивости нашего народа, позволившего увлечь себя демагогическими обещаниями в начале перестройки, я довольно подробно писала в статье «Хищная власть меньшинства», опубликованной в апрельском номере «Нашего современника». Но даже если иметь в виду эту чрезмерную доверчивость, то и тут всеобъемлющее «МЫ» оказывается слишком огульным... Да, я помню массовое воодушевление идеей обновления и КПСС, и страны в целом. Когда «обновление» понималось людьми не в произвольном смысле *любой* новизны, но именно в возвышенном: как улучшение или *возрождение*... Но все-таки и тогда, в 1985—86 годах, это «МЫ» (ликовавших, приветствовавших, обольщенных) не было поголовно-всеобщим. Я имею в виду вовсе не слой своекорыстных приверженцев застоя — я имею в виду просто не потерявших голову. А такие были... В самом деле, разве не настораживали или не способны были насторожить уже самые первые лозунги «перестройки»? Как, кстати, и само это слово, словечко, которое, между прочим, если перевести его на язык древних эллинов, звучит знаменательно: КАТАСТРОФА. Что же до первых лозунгов «нового мышления», которое является на деле попросту перевернутым *старым*,— разве не настораживала, например, «мысль» о «приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми»? Причем «узкоклассовыми» («узко»!) объявлялись ценности самых многочисленных, созидательно трудящихся классов — рабочих, крестьян...

Теперь-то уж многим ясно, что демагогические «общечеловеческие» ценности полностью сводятся к «золотому тельцу». Как ясно и то, что спущенная сверху «перестройка» вопреки простодушным мечтаниям обманутого народа предполагала именно *катастрофу* на одной шестой части земного шара. Всестороннюю катастрофу. в орбиту которой должен был попасть и зарубежный славянский мир, и Восточная Европа в целом...

Ну а «МЫ» — это широко-множественное слово-понятие — я употребляла бы лишь имея в виду массовость нынешнего страдания, массовые бедствия и чувство обреченности. Да, «МЫ» — применительно к нашей стране — это те (огромное большинство!), кто назван может быть не вершителями, но *жертвами* перестройки. А распродают родину, проливают кровь наших братских народов, развалили страну — ОНИ. То хищное меньшинство, что обладает реальными рычагами власти, превращаемой при нужде,— то есть для нужд *разрушения*,— хоть бы и в безвластие! Все мы знаем, что и обнаружившаяся вдруг, а одночасье (в пору Сумгаита), «слабость центра» была притворной, нарочитою слабостью. Право на которую могла иметь лишь воистину неограниченная власть. Получившая «чрезвычайные полномочия»— в том числе и на преступную слабость!..

Н. Д.: Да это так. Невольно вспоминаешь: и татарское иго не раздавило Русь; и Наполеон не сокрушил нашу державу... Даже из революции и гражданской войны мы вышли все-таки, не рассыпавшись на осколки. И Гитлер не сумел разбудить до опасного предела сепаратизм в нашей стране, хотя и надеялся на это, ставил именно эту цель... А сегодня мы растерянно, зачарованно, как бы даже остолбенело наблюдаем картину разрушения нашего государства, которое создавалось тысячи лет и не позднее конца XVIII века выросло в мировую державу... Принято проводить аналогию между сегодняшним днем и Смутным временем — эпохой великой разрухи. Что это было? Коллективное безумие? Массовый добровольный путь к бездне?.. Вы согласны с бытующим определением перестройки как Смутного времени? Точное ли это определение? Как вы охарактеризовали бы Смуту?

Т. Г.: Да, совсем не случайно в массовой памяти всплыл этот термин, этот *образ*, лучше сказать,— «смутное время». Кстати, он всплывает не впервые в XX веке: точно так же пытались определить происходящее многие русские люди в 1917—1918 годах, в ходе гражданской войны, вспыхнувшей после низвержения «старой России»...

Вообще говоря, «смутное время» заведомо имеет границы: это время переходное, похожее на «черновик» Истории, если бы только История имела черновики... Во всяком случае оно, в ощущении людей, похоже не столько на явь, сколько на сон. Дурной сон, страшный сон. И ведь многие нынче, словно вдруг окунувшись в фантастический мир, «не верят своим глазам». И так и говорят — что не наяву как будто те события, что катятся с каждым днем, не давая простора, не оставляя времени ни всерьез воспринять их, ни обдумать, ни привыкнуть... «Смятенные люди смутного времени» — запомнился мне один из газетных заголовков... Однако следует учесть весь трагизм всякой подобной — переходной *к чему-то* — «смутной» эпохи.

Скажем прямо, что это — очень грозное время. Ибо в ходе его неизвестно, окажется оно «предпоследними временами», о каких повествуют древнейшие писания, или оно — полное испытаний преддверье к очищающей *новой* эпохе, к «тесным вратам спасенья», так сказать. И даже: трагическая, напряженная эта неизвестность является, пожалуй, *единственно оптимистической* чертою смутного времени. Ведь неизвестность допускает надежду...

Итак, смутное время — это время распада, разлада, разрыва всех исторических связей. Это время «междуцарствия», безвластия, узурпаторства. Хаоса, замешанного на братской крови. Это время анархии... «Распалась связь времен», то есть распался,

---

* ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Эта беседа состоялась в июле 1991 года и не могла быть опубликована ранее ноября (именно таков — четырехмесячный — «цикл» издания журналов). С тех пор многое изменилось. В частности, сегодня естественно ожидать от пришедших к власти людей, называющих себя демократами, самого решительного перехода от *разрушительной к созидательной* деятельности в сферах государственного, экономического и культурного творчества, — деятельности, которую патриотические силы России готовы всемерно поддерживать. Публикуемый диалог, в сущности, и призывает перейти к созиданию, немыслимому (что вполне понятно) без постоянной опоры на вековые традиции отечественной государственности, экономики и культуры.

утрачен самый смысл жизни,— можно, как Шекспир в «Гамлете», сказать о смутном времени. Я думаю, мы переживаем сейчас вполне с м у т н о е время, время сбивающего с ног шквала, а также душного и ледяного «мусорного ветра»... Политические признаки новой Смуты налицо. «Утром страшно развернуть лист газетный...» — вспоминается мне стихотворная строка И. Бунина. Но я отметила бы сейчас не политический, не экономический даже признаки, а самый, может быть, страшный — признак моральный. Смутное время непременно характеризуется таким тяжким явлением, как массовое ренегатство, или, по-русски, предательство, измена... То есть крайнее разложение личности, позорная утрата достоинства, чести, самоуважения. Отказ от внутреннего суда совести. Отказ от духовного измерения — в приложении к себе, человеку... Смутное время — это время тьмы. Духовной тьмы. Когда хаос, неправда, нечистый дух агрессивного самоутверждения, вирус разрушительности поселяются в самого человека. И человек в лучшем случае — мечется. Но чаще всего — мародерствует. Словно бы полагая, что поскольку будущего — нет (так затянут, обложен горизонт в смутное время!), то воистину в с ё позволено на содрогающейся земле...

Н. Д.: А может быть, ренегатство, предательство, моральное разложение — это та лошадь, на которой смута въехала в нашу страну, а не результат смуты?

Вот, смотрите, Д. Гранин написал о предателе — генетике Тимофееве-Рессовском — восторженный роман, и многие сделали вид, что в цивилизованном обществе на это не надо обращать внимания. И тут же на нас — въяве, в нашей жизни, а не на страницах книги — обрушилась лавина предательства, нравственного релятивизма, вседозволенности. Одни и те же люди воспевали этот позорный роман — и судили, а по сути, казнили Осташвили и помогали Гамсахурдиа создавать жутковатую «Грузию для грузин»...

Т. Г.: Есть большой соблазн сказать попросту о закономерности, неизбежности происходящего ныне — с непреложностью «закодированного» в недавнем, вчерашнем дне. И многие так и рассуждают... Это вроде бы вполне правдоподобно, убедительно. К тому ж, нас обычно и учили строгой исторической детерминированности событий, внушали нам жесткость причинно-следственных связей. Это, как известно, предполагалось марксистским, материалистическим взглядом на историю...

Но что-то противится во мне такому прямолинейному, однозначному толкованию. Такой прямолинейно-роковой заданности вещей... Подобное толкование, пожалуй, слишком у д о б н о! Ведь отсылка ко вчерашнему дню как к единственному источнику нынешних бедствий с н и м а е т вину и ответственность с дня сегодняшнего, представляет его п р о с т ы м производным прошлого — в частности, недавнего прошлого... Но история все-таки не механистична. Как не механистически развивается и жизнь души, особенно когда мы говорим о состоянии общества в целом, о моральном состоянии тысяч, сотен тысяч, пожалуй, и миллионов людей. Я не верю в неотвратимое разворачивание худших потенций в столь многих — очень все-таки разнообразных! — душах. При всех правах «исторической обусловленности» это было бы, кажется, упрощением, да и заведомым очернением самого рода людского! При всех правах «исторической неизбежности» я верю и в к у л ь т и в и р у е м ы й фермент разложения. Культивируемый определенным слоем общества. Верхним, управленческим, и «культурным» слоем, куда, несомненно, относится и немалая часть современной интеллигенции... Тем, например, «образованным» слоем, что поднял на щит роман Гранина «Зубр» с его пафосом аморализма или, скажем, обеляет власовцев.

Да, несовершенны многие тенденции нашего прошлого — семи, столь поносимых ныне, десятилетий. (Многие, но, конечно, отнюдь не все!). Но я совсем не уверена в естественности стремительного злокачественного роста именно худших из них. Тут несомненно, в годы перестройки, имело место сознательное поощрение, ускоренное взращивание общественных пороков; под видом свободы, «права на свободу» или «прав человека» — разнуздывание темных, низменных интересов и побуждений; народу, нашим соотечественникам внушался одновременно и комплекс неполноценности, и «право» на безоглядный индивидуальный эгоистический «реванш» — за счет государства, за счет общества в целом. Это культивирование зла, эта черная пропаганда шла — и идет — как через средства массовой информации, так и через новейшее законодательство разрушительных Верховных Советов, безответственных Съездов народных депутатов, которые буквально на глазах отступали от своих созидательно-государственных задач. То есть, при всем сознании прошлых грехов, «доперестроечных», печальных тенденций в нашем обществе, которые так соблазнительно — а иным прямо в ы г о д н о — представить непобедимой причиной нынешней Смуты, я хочу указать на явный момент и с к у с с т в е н н о с т и чрезмерных сегодняшних бед. На их очевидную в последние годы целенаправленную о р г а н и з о в а н н о с т ь с привлечением мощных катализаторов общественного кризиса — как экономического, политического, так и морального. А иными словами — я бы не абсолютизировала самочинность хода современной истории, ибо налицо также и п о д т а л к и в а н и е событий, сталкивание исторического нашего движения на опасную, заболоченную, окутанную миазмами тропу. Такое подталкивание вполне под силу и верхушечно-управленческому, и интеллектуально-культурному слою (в специфическом понимании бездуховной современной «культуры»). И все мы свидетели этой жестокой деятельности, выдаваемой за неотвратимо-исторический, якобы безальтернативный процесс.

А чтобы до конца прояснить соотношение органичного и нарочито привнесенного, природного и рукотворного в состоянии общества, людских душ, в нынешнем ходе событий, привлеку такую аналогию. Это объективная истина — что люди смертны, что они подвержены болезням, как, впрочем, наделены — самою природой — и средствами защиты от болезнетворных веяний. Сегодня, однако, человеческая смертность повышена за счет спида, и прогнозы в связи с ним, как известно, устрашающие. Спид ведь означает разрушение самой имунной системы человека... Нас пугают последствиями этого в мировом масштабе таких последствий. Но при этом «скромно» не напоминают о том, что было признано, засвидетельствовано при первоначальном появлении этой губительной болезни. А именно: что вирус спида — это и с к у с с т в е н н ы й вирус. То есть специально, лабораторно выведенный, выпестованный, выращенный, а затем распространенный по миру для массового вымирания людей... Вот вам и «объективная», природою заданная смертность человека!

Примерно такие же факты имеют место и в общественной (не в одной лишь физической) жизни. И когда думаешь о нашем экономическом, политическом (внешнеполитическом, в частности!), морально-психологическом состоянии сегодня,— невольно просматриваешь здесь как момент объективной исторической обусловленности, так и не менее внятный момент диверсионности, энергичной злой рукотворности...

Н. Д.: То есть вы не верите в полную и строгую безвариантность истории? Не придерживаетесь фаталистического взгляда на нее — и, в частности, на случившееся в нашей стране в последние годы?

Т. Г.: Именно.

Н. Д.: Значит ли это, что можно говорить о заговоре политически наиболее активных или государственно наиболее полномочных сил, которые были заинтересованы как раз в разрушительном варианте из всех возможных путей и вариантов нашего «послебрежневского» бытия?

Т. Г.: Что до мысли о з а г о в о р е против нашего будущего,— слишком известно, что фактами заговоров, хитроумных злокозненных сговоров спокон века богата мировая история. И, конечно же, нет никаких оснований полагать, что это средство в реальных международных отношениях, этот фактор во внутренней жизни государства может быть принципиально упразднен. Разве что антинародный и антигосударственный заговор не всегда следует представлять себе в той простой, осязаемой форме, как изображается то, например, в жестко-сюжетных криминальных романах с четко означенным, так сказать, «приютом разбойников», на который возможна, стало быть, полицейская облава.

Я бы толковала политический, экономический, антинациональный заговор в современном, густо прошитом коммуникациями мире т а к ж е и как гибко, порой и вовсе незримо координированную систему, которая учитывает, «стягивает» для своих целей интересы разнообразных групп, сил, лиц, зачастую и не ведающих о своей «мягкой», вроде и недисциплинарной подчиненности некоему глобальному плану, стороннему замыслу... То есть заговор — это т а к ж е и некий учет и использование интересов, вольно, но и невольно вписанных, вписываемых в общую систему разрушения, дирижеры которой невидимы, а периферийные служители которой могут вовсе не ведать о своей структурной роли... Таким образом, речь тут о сочетании сознательных и бессознательных воль, скрытой активности и беспечной пассивности. Речь о сложной и во многом как будто свободной или «нечаянной» о р г а н и з а ц и и, а вернее — незаметной о р г а н и з о в а н н о с т и ради глубоко продуманной, но неафишированной разрушительной цели... Если иметь в виду многих «периферийных» или н е ч а я н н ы х работников широкого дела разрушения, которые оказываются на службе его не в силу сознательной воли, то злоумышленный заговор в современном мире выглядит как бы абсурдом, сплошь и рядом лишен единого «пароля», строгих «заговорщицких» черт. И все же, даже избегая этого сакраментального слова, приходится говорить о п л а н е — плане разрушения: слишком уж последователен наблюдаемый нами процесс, чтобы быть непроизвольным, природным, сугубо органичным!

Н. Д.: Но каковы бы ни были причины того, что все у нас ныне перевернулось вверх ногами, зло получило имя добра и увенчивается высшими международными наградами; как бы ни выясняли мы причины и следствия, которые, и правда, в сознании многих часто меняются местами, — мы с вами констатируем большую степень общественного разложения, которое, к сожалению, оказалось итогом послебрежневской, послезастойной с в о б о д ы. Демократических свобод, начисто сметающих какую-либо моральную дисциплину... Давайте подробнее разберемся, что же произошло с людьми в наши дни. То есть попробуем конкретней измерить ту бездну, в которую катятся человеческие души. Ибо как может быть спасена страна, когда разрушается человек?

Т. Г.: Беспредельное «раскрепощение» человека, чем нередко теперь у нас хвастают, противопоставляя его внешние свободы положению в прежние десятилетья,— это ведь тот же п л е н. Когда безвозбранно-свободно — раскрепощаются все низменные инстинкты, слепые эгоистические страсти...

Почему я сказала о крайнем разложении? Потому что предательство, измену, корыстное отступничество, перебежчество, скандальное площадное попрание вчерашнего своего символа веры, измену естественному долгу верности и лихорадочное поклонение всему, что — вчера еще — сжигали, у нас горделиво называют п р о з р е н и е м.

Я имею в виду отступничество от огромного ряда ценностей. Не только от советской морали, но вместе с тем и от глубоко традиционной, народной... Когда проповедуется с телеэкрана, с газетных страниц циничный культ д е н е г, словно живем мы в каком-то диком краю, где люди теряют человеческий облик в алчной погоне за наживой, которая преподносится как высшее призвание, священное назначение человека... Я имею в виду измену множества граждан своему государственно-патриотическому долгу. Долгу сбережения, безусловной защиты той — великой — страны, которая досталась им от предков, созданная многовековым подвигом труда, творчества, осмысленной, благородной жертвенности

«Нам должно помнить, что наше государство есть дело не просто национального эгоизма, а мировой долг. Мы занимаем пост, необходимый для всех»,— писал о миссии русских наш философ Лев Тихомиров. И не так давно еще эта мысль была абсолютно понятна всем. До эпохи отступничества, о которой я говорю...

Наконец, я имею в виду измену коммунистов — своей партии и самой социалистической идеологии, кризис которой в нашей стране ясен им был задолго до так называемой перестройки, но покидают они свою партию, «разрывают» с нею, дружно оплевывая все заветы,— споро и в одночасье — именно сегодня, когда партбилет утратил значение «заборной книжки» (как его называли порой в народе), то есть удостоверения на право льгот, возвышения, выгоды...

Я имею в виду беззастенчивое отступничество множества народных депутатов от своих предвыборных обязательств-программ...

Впрочем, Отступник набирает силу, влияние во всех без исключения областях жизни. И не только на светских уровнях ее, в светских структурах и идеологии... Так, помалкивает «большая пресса» о современной трагедии Русского Православия, о том, что нынешнее «возрождение» Православной Церкви в стране имеет реальной ценой весьма широкое духовное отступничество — разъедание ее изнутри экуменизмом. Что священник-экуменист теснит в наших храмах православного пастыря, верного святоотеческим заветам, самобытному духу и древней традиции православной веры. И даже высокие иерархи, отступившись от интересов отечественной Церкви, бодро хлопочут подчас об «осуществлении экуменических программ» — о подчинении Православной Церкви и Риму, и даже иудаистскому Иерусалиму...

Н. Д.: Газета «Московский литератор» писала об этом — может быть, самом разительном отступничестве, еще мало осознанном в обществе, часто — потаенном, но действительно нарастающем...

Т. Г.: Я помню об этом. Но едва ли не был то голос вопиющего в пустыне. Ибо — Смутное время!.. И дошло уже до того, о чем сообщает столь же малотиражный выпуск газеты «Родные просторы» (№ 5, 1991), когда от имени Христианского патриотического союза призывает осудить «иудейское богослужение в Московском Кремле, имевшее место 19 января с. г., после проведения международной конференции по охране природы, открытой М. С. Горбачевым. Привлечь к ответственности лиц, допустивших это богослужение в сердце Русской святыни, которое явилось осквернением и превращением в синагогу иудейскую... Московского Кремля...»

Н. Д.: Это и впрямь уж триумф, апофеоз отступничества, предательства всей русской истории, сокровеннейших национальных святынь — под «незримой» эгидой самого главы государства!..

Т. Г.: Я думаю, не будет ошибкою подытожить, что ренегат — это вообще герой нашего времени. Смутного времени... Обратите внимание: только отступники, перебежчики, по сути, стоят сегодня у власти. И сдается даже: чем больше стаж их прежнего служения — прежним богам, тем больше шансов у них стать апостолами новой политической веры — демократии... Я думаю, один из верховных образчиков «героя нашего времени», яркий типаж эпохи Смуты — Ельцин. Плоть от плоти партократии, всю жизнь проживший как коммунистический феодал — областного, а затем и столичного масштаба, еще столь недавно просивший политической реабилитации как коммунист, он превратился сегодня в ярого гонителя коммунистов! Вместе с тем возвышение и популярность этой фигуры — не случайны. Это воистину, безо всяких кавычек, ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Показатель морального духа нашей эпохи (да и ее интеллектуального градуса)... Во всяком случае весьма знаменательно, что в роли «могильщика коммунизма», «прокурора» над компартией, упраздняющего ее структуры, выступает не последовательный и прирожденный диссидент, а именно Отступник, и «десоциализирующееся» общество приветствует, выдвигает на первый план, выбирает своим главой не какого-нибудь испытанного борца с коммунистической идеологией, а именно Отступника. И видит тут благородное, так сказать, превращение Савла в Павла...

Сообразно с этим следовало бы добавить, что «антигероем» нашего времени является всякий «невольник чести» (Пушкин).

Такие принципы общественных симпатий и оценок составляют, я сказала бы, формулу Смутного времени... И заодно подчеркнула бы, что Б. Н. Ельцин, в свете всего этого,— фигура не просто политическая, но, глубже того,— историческая. Которая не только «войдет в историю», но — вышла из нашей истории: возникла не на поверхности партийно-политической борьбы (то есть более или менее случайно), но из самых недр нашей общественной жизни со всею нигилистичностью одушевляющей ее идеологии...

Н. Д.: То, что вы говорите, похоже на правду. И все же я бы не торопился не доверять Ельцину. Мне, например, хочется думать, что такие превращения возможны. Не зря же мы поем: совесть Господь пробудил! И Евангелие не отрицает подобных превращений..

Т. Г.: Совесть... А не кажется ли вам, что когда совесть решительно отделяется от чести, это не слишком-то служит полноте ее проявления?.. Что ж до Евангелия, то, видите ли, Савл пошел не в Иисусы Христы, но только в ученики, смиренные ученики новой веры. И лишь весьма постепенно, путем всестороннего самоотречения и духовного подвига, а не простой декларацией об отступничестве достиг права проповедовать учение Христа. У нас же неофитство зачастую неотделимо от новой стремительной карьеры. И я, простите за резкое сравнение, вижу нынче не Павлов, но все больше «тушинских воров», «калужских воров», лжедмитриев всех мастей — то есть подобья фигурам того Смутного времени, что случилось в России в начале XVII века.

Но вообще-то мы пошли дальше наших соотечественников той поры. Тогда, в том историческом смерче, люди тоже, забыв свою душу, присягали и самозванцам, и польскому королю Сигизмунду, и королевичу Владиславу, и всякому «вору», кто посягал на Московское царство, и переходили в католичество, и рвали тело великой державы на «самостийные» воровские «республики», и мародерствовали, и брат доносил на брата, требуя его крови, и призывали латинян (разве что не было в ту пору ООН с ее космополитическими войсками), и сносились с папским престолом, и попирали наследье отцов... Но все-таки, сколько помнится из документов эпохи, в этом стремительном хаосе, сумасшедшей смене картин меньше, куда менее говорили притом о прозрении. Менее «философствовали», по-бесовски кружась, «точно листья в ноябре», под смутным, жестоким и мусорным историческим ветром... То есть, неутомимо деятельные, подвижные в повальном отступничестве, лихорадочном «крестоцеловании» разных, в том числе перевернутых, крестов, «людишки» (как обычно зовет их летописец) не столько уж занимались моральным самовозвеличиванием...

Кстати, среди коммунистов мы увидели и особый тип «прозревших». Это те ренегаты, которые именовали «социалистическим выбором» практический выбор капитализма, капиталистического рынка, запланированной многомиллионной по ее жертвам безработицы и т. д. Которые называли «социалистическим выбором» господство частной собственности при «приоритете» иностранного капитала и легализации криминального капитала здешних «теневиков»...

Но главное, что я хотела бы сказать: прозрение естественно предполагает — затем — очищение. Очищение не может произойти без того, чтобы принять ответственность за пройденный тобою путь. Ответственность, например, за то, что ты, пребывая в обмане (допустим на миг действительную слепоту), обманывал и других и, собственно, понуждал этих других тоже к обману... Как правду, как истину преподносил ложь — с высоты своей должности, поста, своей профессии, осведомленности и образованности...

Прозрение, следовательно, непременно предполагает покаяние, то есть полное и честное признание своей вины. Со всеми возможными последствиями для себя, из этой вины вытекающими... Виноватый, дискредитировавший себя, но устыдившийся, прозревший, то есть готовый принять возмездие, понести наказание, пусть хоть в форме общественного осуждения,— может ли тут же предлагать себя в вожди, главари, руководители, народные депутаты?... Тут воистину некая нравственная абракадабра.

Н. Д.: То есть, здесь прозрение скорее дьявольское, тут как бы хитрая мысль: мол, ах, бестолковый я! Думал, надо вот так всех одурачивать, а теперь прозрел, понял, что есть куда лучшие способы одурачивания...

Т. Г.: Да. И разве не печально само по себе то, что приходится так долго разъяснять, что такое прозрение? Что оно — духовный подвиг, трагическое, глубокое переживание, поглощающее всего человека, не оставляя даже и сил споро пристраиваться к новой стезе, к новой и большей выгоде... Что прозрение — это суд не только над эпохой, над другими людьми — современниками, но прежде всего над самим собою... А между тем наши «прозревшие» восходят не на Голгофу, а исключительно к новым вершинам власти и славы... Я не только не верю прагматическому прозрению циников, уклонившихся от возмездия, тех, кто был не столько обманут, сколько прямо подкуплен в прежние времена господства «старого верования»,— я, сверх того, не считаю, что всю их взрослую (ведь не младенцами были!), сознательную деятельность в предшествовавшие четверть века можно простить. Даже если б они и раскаялись — более или менее искренно, бескорыстно и мужественно. Нет, нельзя простить академиков — всех этих арбатовых, заславских, аганбегянов, александровых, — которые вольно, невольно ли, но непреложно, последовательно вели к тупику нашу экономику,— «работали» на экологический кризис, на провальную для престижа и выгод страны внешнюю политику и т. д. Нельзя прощать столь великие грехи! Великие и неукоснительно выгодные для личного благосостояния этих ныне «прозревших»...

Н. Д.: Но все-таки разве это не противоречит истинно христианскому отношению?

Т. Г.: К сожалению, именно на вершинах власти мы видим сегодня множество таких преступников, о прощенье которым не мог бы молиться даже тот святой старец, что описан Гоголем в «Страшной мести». Помните: «Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул и в ужасе отступил назад и выронил книгу: «Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования!.. Не могу молиться о тебе!» Ибо буквы в священной книге стали наливаться кровью... И когда нам говорят о «прозревших» из верхнего эшелона несменяемой с брежневских времен в своих лицах власти, я знаю, что буквы в книге истории нашей страны наливаются кровью. Кровью народа. Ограбленного. Споенного. Физически вырождающегося. Облученного тайными и явными чернобылями. Обманутого и неустанно эксплуатируемого в его доверчивости и долготерпении.

Н. Д.: Татьяна Михайловна, вы нетерпимы к верхушке КПСС, и я вас понимаю: она выращивала в своей среде мафиозные образования; она же, эта верхушка, взяла курс на развал страны, дабы в катастрофе, в анархии развала дать возможность теневым капиталам выпорхнуть на свободу, легализироваться и стать правящей силой. Но те, кто вступал в партию не для карьеры?.. Разве не сложна, не трагична их судьба? Скажем, бывших фронтовиков? Или бывших целинников? Или коммунистов-афганцев? И т. д. Парадоксально, но сегодня они в чем-то нашли общий язык даже с монархистами... Некоторым такой симбиоз: коммунисты и монархисты — кажется просто курьезом. Так ли это странно, на ваш взгляд?

Т. Г.: Отчего оказались рядом некоторые бывшие коммунисты и монархисты? Это те, кого объединила мысль о сохранении государства, его силы, величия, целостности. Забота о сохранении или возрождении не просто формального, формально-юридиче-

ского государства (такое — всегда призрачно!), но о сохранении или возрождении самобытной государственности, то есть *своеобразной* национально-исторической системы политического, экономического, социального, духовного бытия...

Ведь не все народы, имеющие сегодня государство, обладают государственностью. Это — особый дар, присущий не всем народам, и порой не на всем протяжении их истории. Но способность к государственности — это залог всемирно-исторического значения, мирового влияния того или другого народа.

«Государство» какого-нибудь Ландсбергиса, например, и понятия не имеет о государственности, и ему дано остаться призраком, сколько бы — предположим, в будущем — членов «мирового сообщества» его торжественно ни признали.

Великая государственность была у литовцев в прошлом, в средние века, например. Скатившись до безнадежно подражательного «цивилизованного» «кабинета Ландсбергиса», они едва ли не утверждают утрату своего исторического дара, свою деградацию как народа-государственника. .

Что же до коммунистов в их неожиданной «солидарности» с ново-монархистами, то это, конечно, незначительный слой... Это именно те, кто воспринял традицию государственности — по крайней мере государственную традицию КПСС, которой она обладала в 40-е, 50-е, еще и в 60-е годы. Эти люди, которые каким-то образом, генетически, чутьем, подсознательной исторической памятью — понимают, что в Божественной иерархии государство — это нечто более высокое, священное, чем человек; право государства священней «прав человека». Этому учит мудрость веков...

Эта иерархия ценностей — в крови великого народа. Она была до сих пор и в крови русских. Вспомните, как обращался к соотечественникам Кузьма Минин, этот великий гражданин: «Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей закладывать и бить челом — кто бы вступился за истинную веру и был у нас начальником».

Били челом — «служивым людям». По нынешнему — Армии. Били челом воеводе князю Пожарскому. Составляли народное ополчение — на подмогу служивым..

Но тут интересно и другое: неотрывность «настоящего государства» от «истинной веры». То есть, вообще говоря, от определенной, духовно скрепительной идеологии. Национальной, конечно, а не умозрительно «общечеловеческой»...

Н. Д.: И значит: «деидеологизация», к которой у нас призывают как к великому благу, — это ловушка?..

Т. Г.: Это — разрушение государства, а не просто разрушение конкретной идеологии. Это торжество новой, антигосударственной идеологии. Ибо неидеологизированных обществ на свете не существует.

И тут я скажу нечто, может быть, парадоксальное: человек не всегда, разумеется, может быть счастлив в государстве; но человек не может быть счастлив без государства... Нормальный человек. Духовно не изуродованный человек... если иметь в виду, разумеется, светский пласт человеческой жизни. Мне вспоминается наблюдение, которое я сделала, читая «Нобелевские дни» Ивана Бунина. Бунин не был вполне счастлив в час наивысшего своего торжества — получения Нобелевской премии. Потому что он оказался в Стокгольме единственным из лауреатов, ради чествования которого не мог быть поднят государственный флаг, как и не мог быть исполнен государственный гимн. За его плечами — эмигранта, изгнанника, беженца — не было той великой, высокоорганизованной общности, которая символизируется его государством. Государством как народом, как формой исторической жизни народа... Об этом своем одиночестве Бунин, свободнейший из художников, говорил с затаенной болью: она ощущалась даже в час высшего его торжества...

А быть сыном великой страны, могучего государства — это своего рода коронованность человека. И мы все — коронованы были от рожденья! Что это значит, заблудшие люди поймут лишь когда будет поздно, когда вместе со всеми «правами человека», на которые возлагают они сегодня столько ребяческих надежд, ощутят себя жалкой, мелкоистолченною пылью на безжалостной «мировой арене». Где не только американец, но и китаец, и немец будет перед ними — словно наследный принц... Кстати, защитить на деле человека — и притом в любой точке земного шара — может только его государство, если оно действительно сильно. Даже деньги, вопреки мнению многих, не являются таким безусловным гарантом, как властный, весомый голос государства, способного отстоять своего гражданина, а тем самым — свою честь... Да и кто, кроме сильного государства, способен обеспечить права человека внутри страны?

Н. Д.: Тут вы солидаризируетесь с тем, с чего я начал свой диалог с вами, вспоминая свое детство, юность, годы становления? Годы трудные, небезбедные, но все же светлые...

Т. Г.: Да, я держу в уме ваш первоначальный, автобиографический рассказ...

Да, мы, граждане нашей великой еще в ту пору страны, при всех тяготах, выпавших на нашу долю, при всей своей неизбалованности не ощущали себя бедняками или же пасынками в мире. Может быть, у нас были малые запросы? Я думаю, они были у нас и малыми и большими — разом. И если мы даже были нищими (с точки зренья чужих, зарубежных материальных стандартов), то были в то же время и принцами — позволю я себе обыграть название известной книжки Марка Твена... Ореол великой страны и в горе сиял все-таки над нами... Он придавал нам гордости, он питал нашу веру в будущее — в личное будущее, в том числе... Наше гражданское сознание с годами, естественно, росло. Возрастал критицизм, нарастала и боль — мы всё острее видели горькие стороны и в советской истории, и в современной жизни, но не уходила и гордость, ибо все же *стояла* страна к удивлению мира, и даже ярые враги ее, ненавидя ее, не решались, однако, *не догадывались* смеяться над ней и.

предлагать ей подачки... Заметьте: при любых трудностях наш народ был лишен того абсолютного комплекса неполноценности, который растерянно, подсознательно, полусознательно, но неотвратимо испытывают теперь люди, когда рушится их государство и сама географическая карта, точно шагреневая кожа, тает у них в руках...

Странное дело: историческая, даже всемирно-историческая трагедия распада СССР, традиционно великой, уникальной по государственной форме, по духовной структуре страны, затмилась в сознании многих соотечественников явно второстепенными политическими заботами — о форме правления, об — иллюзорных (простите за этот прогноз) — местных суверенитетах, странными (чтоб не сказать круче) хлопотами о приоритете *части* перед *целым*... Чего стоили хотя бы страсти по президентству в России, достигшие накала после всероссийского референдума и особенно — на 3-м внеочередном съезде народных депутатов РСФСР! Лишенным государственного чутья словно и невдомек, что это президентство, экстремальный этот «суверенитет» — ключевое звено в неостановимой затем уже цепной реакции распада страны, самоликвидации российского государства.

Н. Д.: Трудно оспорить, что российский суверенитет, увенчанный президентством, — пружина полного, окончательного распада Союза. Но если понимать российскую государственность в узком смысле этого слова — не как державную, а только как республиканскую, федеративную, в пределах РСФСР, то справедливо ли предрекать «самоликвидацию российского государства»?

Т. Г.: Российская государственность не знала подобных «пределов»! Тех, что отмечены на картах советского времени границами РСФСР. Произвольными, суженными — в пользу прибалтийских республик, в пользу Казахстана, Молдавии и т. д. — границами... Российская государственность не знала и федеративности: она утверждала единое и неделимое государство, а не фарс суверенитетов, расторгающих устойчивую структуру... Так что, по строгости, надо бы ныне говорить не о российской, но о какой-то *иной* государственности. Может быть, «РСФСР-овской» — по названию и вовсе иной, в сравнении с российской, по своей устремленности... К тому же, принцип президентской демократической республики лишен надежной подстраховки против дальнейшего распада, членения — уже самой РСФСР. И будущее, опасаюсь, покажет, что цепная реакция распада не остановилась, не заморожена, отнюдь не предотвращена суверенитетом президентской России... Принцип национально-административного деления внутри РСФСР ничуть не менее удобен для дробления на «суверенитеты», чем принцип деления былого СССР на союзные национальные республики. К тому же, наивно думать, что та бешеная антигосударственная пропаганда, что шесть лет не смолкает в нашей стране, нацеливалась лишь против государства «имперского», то есть Союза ССР. Она скажется, сказывается и на судьбе РСФСР — этого более «узкого» государства, нахлобучившего на себя шапку былой *России* и тешащегося ее крылатой символикой...

Н. Д.: Именно ненависть к государству и впрямь вроде испытывают люди...

Т. Г.: Это, может быть, самая крупная, самая существенная морально-политическая и национально-психологическая диверсия, предусмотренная перестройкой. Превратить народ-государственник — как русский народ — в носителя антигосударственной идеологии, а иными словами, превратить народ-созидатель в народ-разрушитель — вот «демократическая» цель нынешней пропаганды. В результате гибнет, конечно, не только государство, но и сам народ. Ибо что такое народ-разрушитель? При таком своем пафосе, при таком «идеале», при таком своем «амплуа» он утрачивает признаки *народа*, лишается духовного значения, приобретая исключительно деструктивные функции. Он решительно отвлекается от *творчества*, ничего положительного не внося в мир, ничем не обогащая человечество. Такой «народ», собственно, выпадает из истории. Носителю анархического, разрушительного начала, ему, собственно, нет места в мире, ибо служит он Хаосу, всемирному Хаосу, «работает» на опасный крен мира, выламывается из сил гармонии...

Но дело не только в русском народе, не в его лишь катастрофической судьбе, неизбежной, если он и впрямь окончательно изменит своему традиционному облику великого созидателя, государственника, творца масштабных и мощных форм жизни. Разрушение государственного сознания у граждан нашей страны тяжко отражается, как видим мы уже это, на судьбе *всех* ее народов. Отринув то общее, скрепительно-общее, что было у них, чем являлось для них их *общее* Отечество, наши братские недавно народы поляризуются во взаимной вражде, пытаются национально самоутвердиться по признакам своих подчеркнутых отличий друг от друга, на основе взаимной розни. Это шаткая, рискованная, ибо нарочито однобокая «основа». Абсолютизируя национальную несхожесть и даже такую крайность, как национальная *несовместимость*, высокомерно, мстительно отчуждаясь друг от друга, народы утрачивают возможность необходимого для всех них сотрудничества. Утрачивают навыки такого сотрудничества. И, по сути, отрицают взаимосвязанность мира... Это — ущербное, узкое, убого-провинциальное и можно сказать — внеисторическое сознание, при котором нереален никакой национальный расцвет. Тщательно закупоренная, «очищенная» национальная колба, над которой хлопочут сегодня в Литве, Молдавии или Грузии,— никак не залог серьезного национального возрождения. Не говоря уж о политическом благополучии — прочной политической независимости отчленяющихся от былого государственного единства республик.

Итак, антигосударственное сознание, воспитываемое в годы перестройки в нашей стране, ведет к национальному *утопизму*. А уж о крови, пролитой в нынешней борьбе против Союза, против

единого многонационального государства, о бессчетных человеческих жертвах в различных регионах нашей «разногосударствляющейся» страны напоминать, кажется, не надо: ведь страна залита кровью, алые пятна разбросаны ныне по всей ее карте. А «премии мира», которые предназначены «мировым сообществом» тем, кто допустил у нас многонациональное кровопролитие,— эти почетные премии, обеляющие титулы или поощрительные награды приводят на память ситуацию в шекспировском «Макбете». Ведь это та же попытка генеральных убийц отмыть руки от несмываемой крови.

Н. Д.: Заслуживает внимания, наверное, и механизм современной антигосударственной пропаганды. Страшно подумать, как просто это оказалось — изменить национальную психику, так сказать — духовную корму народа, народов нашей страны в их отношении к государству — единому и могучему, обнимающему их всех и защищающему их от враждебного и по крайней мере вовсе не сентиментального и им зарубежного мира.

Т. Г.: Это очень большая тема. Она включает в себя весьма сложную, развитую технологию пропаганды, возможную именно при сегодняшних средствах массовой информации, а собственно — дезинформации масс. Она включает в себя разговор о современной «науке» манипулирования массовым сознанием. Правда, рядовой человек, так сказать — среднеарифметический объект манипулирования человеческим сознанием обычно не верит в свою роковую несамостоятельность. Он забывает, например, что, включая телевизор,— хоть бы и программу «Время», весьма далекую от строго-бесстрастной, беспристрастной информативности,— получает не натуральный, «сырьевой» жизненный материал для размышления, оценок и выводов, но заведомо препарированный, обработанный, эмоционально заряженный конкретным диктором или ведущим, режиссером и автором-журналистом... И что даже сами факты, предлагаемые его вниманию, пусть они порой и правдивы каждый в отдельности, подобны разрозненным картам, выдернутым из колоды...

Но, оставив в стороне саму технологию нынешней антигосударственной гласности или перестроечной официальной пропаганды, укажу на ее идейные истоки и аргументацию. Как ни странно покажется на первый взгляд, эта демократическая пропаганда восходит, в частности, к марксизму с его теорией государства и прогнозом насчет постепенного отмирания последнего. Аргументация или исходные посылки наших демократов достаточно убоги, коренясь в механистической, плоской теории государства. Так, вольно или невольно колеблясь между анархизмом и марксизмом, наши разрушители внушают всем нам, будто государство — это машина. Машина подавления и принуждения, исходно враждебная личности. Чтобы доказать это, они одноглазо читают историю, и дореволюционную, и советского времени, выбирая и подчеркивая в ней лишь самые жестокие страницы и строки, вырывая эти страницы из целостной картины и стремясь убедить, что суровость иных государственных мер была самоцельной, не имела ни объективных причин, ни перспективных, осмысленных целей. Этот метод чтения тысячелетней русской истории — чтения слепыми от ненависти глазами — слишком известен, чтобы приводить примеры. Но главная слепота, предвзятость или духовная ограниченность таких «толкователей» состоит в том, что они не хотят или не могут понять, что в действительности государство лишь отчасти, лишь одною из своих функций — машина. А вообще-то оно — космос, живой организм, создаваемый народом и человеком и вместе с тем создающий и человека (личность), и народ. Это дело глубоко творческое, а не плоско-политическое. Дело духовное. Я говорю, разумеется, не о примитиве, каким является анонимное, трафаретное, упрощенное на западный лад «правовое государство», но о государстве самобытном, национальном, исторически укорененном. О таком настоящем, великом государстве, каким была, например, наша Россия... Каким в своем, достаточно уникальном роде смог стать СССР при всей, к сожаленью, повышенной машинной функции в нем...

Уверения в том, будто бы государство сводится лишь к суровой, безжалостной к человеку машине подавления, легко позволяют затем заклеймить патриотизм как чувство рабское. И эта лживая «логическая» цепь неутомимо разматывается сегодняшней пропагандой.

Н. Д.: Я-то думаю, что идеологи распада и всемирного единообразия чаще всего как раз сознают, что они лгут. Но, создавая однобокие теории, используя их для уничтожения нашего государства, они, чтобы оправдать себя, обвиняют в ограниченности каждого патриота. То, что Пушкин был патриотом, Гоголь, Толстой, Достоевский, — это их только бесит. Их пугает великая, необоримая сила патриотизма. Традиционного русского патриотизма. И вот, наряду с каждым из нас, глумлению, «остроумному» принижению подвергаются самые святые фигуры нашей истории, культуры. Вспомним хотя бы недавно выплеснутую нам в лицо пошлейшую «синявщину». «Абрам-Терцовщину». Этот «пушкиноведческий» шабаш... Эти новейшие «пушкиноведы» пытаются и следа не оставить от Пушкина-государственника и патриота... С другой стороны, воспевая, идеализируя перед нами антигосударственную «свободу», они, огромная часть нашей прессы, откровенно обслуживающая Запад, придумали пропагандистское клише об «имперском» сознании русских. Об опасном русском «имперском чувстве». «Рушится последняя в мире империя», — злорадствуют и улюлюкают они на страницах отечественных изданий.

Т. Г.: Это очень напоминает злорадство социал-демократов и, конечно, большевиков в 1917 году. Как и тот ребяческий восторг, что охватил тогда всех, даже непартийных, российских либералов, готовых плясать на гробе Державы Российской...

Н. Д.: А сейчас выясняется, что плясали-то зря? Что империя не погибла вплоть до нынешнего дня? Ибо русские — имперцы даже и без императора. Такой, мол, народ — с ненасытным имперским аппетитом!

Т. Г.: Я не удивлюсь, если «империей» объявят и нынешнюю президентскую РСФСР: «империей», подлежащей расчленению во имя «свободы и независимости» каждой из наций, населяющих Российскую Федерацию... Нарекут ее, скажем, «малой империей» — сравнительно с великим погибшим Союзом...

Н. Д.: А Президенту нынешней России не избежать, стало быть, обвинений в «шовинизме», как и русским, проживающим в нашей Федерации, — обвинений в неискоренимой «великодержавности»?

Т. Г.: Кажется, такие обвинения сохранятся, сколько бы мы, русские, забыв о своей исторической миссии или «мировом долге», ни сжимали податливо свои государственные границы...

Происходит, конечно же, грубая подмена понятий. Назначенье которой — облагородить преступную работу по расчленению нашей страны. Ведь то, что именуют нашим «имперским чувством», следовало бы назвать просто естественно-патриотическим сознанием, которое куда историчней, выше, здравомысленней, чем современные этнократические идеалы в наших демократизирующихся республиках. Где утверждается в лучшем случае именно этнократическая демократия. Националистическая, иными словами.

Наконец, под «империей» в данном случае подразумевают все-таки не что иное, как государственный союз духовно сращенных народов, в частности — и прямо родственных. Так что разделение тут не может быть безболезненно-механическим — как в чертеже, на бумаге, при картографических прикидках: этот распад воистину равен тому, как если резать по живому телу страны и народов.

Ведь у нас никогда не было империи в классическом, или иностранном, значении слова. Ибо не было юридически господствующей нации. Не было национального угнетения в пользу — экономическую или какую другую — самого многочисленного и структурно организующего русского народа. Так, даже столь тяжкая для украинского народа имперская мера, как введение в Малороссии, при Екатерине II, крепостного права (касавшегося лишь коренного населения, а не евреев, оказавшихся в границах Российской империи после третьего раздела Польши), не имела национально-дискриминационного характера «в пользу русских». Выгода тут была не национальная, а общепомещичья: в пользу польского, малороссийского панства в том числе, да еще столь характерных для северо-западного и юго-западного края евреев-управителей господских имений... Вообще же нетривиально-«имперская» политика царского правительства, что до разнообразных присоединяемых к короне российской земель и народов, неизменно состояла в даровании льгот новоподданным — начиная с освобождения от всеобщей воинской повинности неправославного населения и кончая правовыми преимуществами для туземного населения при судебном разрешении спорных вопросов... Не существовало и никакой обязательной экономической дани «центру» (как теперь бы сказали). А такой факт, как отсутствие крепостного права во всей огромной, мирно присоединенной Сибири, не говорит ли о льготах разом великому числу народов, сохранявших и свой экономический быт, и местное самоуправление, и внутреннюю социальную структуру, и религию?.. И случайно ли: ни один народ российских окраин не исчез с лица земли под русским владычеством, а собственно — патронажем. Вещь уникальная в истории мировых империй! Связанная именно с отсутствием расового, этнического, национального угнетения и с благожелательной, веротерпимой заботой и снисходительностью ко множеству разнонациональных граждан страны..

Что касается «советской империи», это и вовсе абсурдное понятие. Ведь ленинско-сталинский принцип подавления больших народов — прежде всего русского, а также украинского — известен всем и каждому. Это была практика откровенной экономической эксплуатации и правовой дискриминации русских в пользу слаборазвитых национальных республик. Об этом теперь достаточно откровенно пишут, приводя головокружительные цифры оброка, каким облагалась РСФСР (а с нею и Украина), в сравнении с вкладом в «общий котел» прибалтийских или, например, кавказских республик... Вся социально-экономическая, социально-правовая статистика — по всем параметрам — ясно обнажает картину 74-летней дискриминации русских в «русской империи», как еще называют СССР люди, отлично ведающие порой, что они отчаянно лгут и клевещут. Не для того ли, кстати, делается это, чтобы «замазать», вычеркнуть из сознания то непрекращающееся национальное преступление, что,— быть может, с завистливой мстительностью? — совершается против великого, псевдоимперского народа?

Н. Д.: И при этом, заметьте, русский народ долгое время назывался «старшим братом». Чтобы другие народы подразнить? Ведь в царской «тюрьме народов» подобного наименования для русских не было. Хотя они гораздо ясней сознавали свою великую государственную культурную роль.

Знаете, иногда мне кажется что события нашей перестройки начали тщательно готовиться определенными силами уже с октября 1917 года... Вроде бы интернационалистами слыли большевики, а национальные республики в единой стране — создали. И притом уповали стереть различия между разными национальностями! Прямо бред какой-то...

Т. Г.: При всей диковатости большевистской «логики» в национальном вопросе я заметила бы, что имя «старшего брата» — для русского народа — родилось неслучайно. Возникло оно, уточним, в сталинскую эпоху, закрепившись в Великую Отечественную войну, и, сколько помнится, не вызывало у братских народов страны особых возражений. Если мыслить традиционно, то есть помнить историю нашего государства, тут и не может быть серьезных возражений. Но сегодня у самих русских в отношении к понятию «старшего брата» проступило то, что назвать можно комплексом демократической неполноценности. Русские словно стесняются этого своего имени, бытовавшего не так давно, отказываются от него, точно бы это знак их шовинистичности, их обидного для других народов главенства, понимаемого как преимущество или, по-нынешнему, «приоритетность». Но если отвлечься от ложных самолюбий, а с другой стороны, от чрезмерной русской щепетильности, рус-

ский народ, как доказывает история, был действительно в государственном отношении именно старшим братом, хотя преимущества этого статуса заведомо весьма сомнительны, а на практике выливались в свою противоположность — особые тяготы для старшего брата. Почетное имя означало на деле тяжелейшую судьбу. Но имя это, повторю, всплыло не случайно. Ведь посудите сами: ужели под руку м л а д ш е г о брата упорно просилась Грузия или Армения, та же Украина, ища защиты от турок, поляков или персиян? Кто ж просит помощи у младших, прибегает под заслон младших? С т а р ш и й тут значило — сильный, способный сберечь, помочь, защитить и в этом смысле вызывающий доверие... Русская государственность, русский народ были действительным оплотом для множества наций, по разным историческим причинам утратившим свою государственность или не обретшим ее, так или иначе, но неспособным в одиночку противостоять внешнему, в частности — иноверному, миру... В XIX веке южные зарубежные враги кавказских народов, вошедших в состав Российской империи, знали, что без того, чтобы иметь дело с царской администрацией и русской армией, они не могут посягнуть не только на тех же армян или грузин, но даже на их скот: русский наместник вступался даже за угнанных у новых российских подданных овец... Исторические документы красноречиво свидетельствуют о весьма скрупулезном выполнении старшим братом своего ответственного долга!

Н. Д.: Но впоследствии, при провозглашении равенства советских республик, это понятие — «старший брат» — разве не вступало в противоречие с самой идеей равенства?

Т. Г.: «Сама идея равенства» требует особого разговора. Эта демократическая идея достаточно спекулятивна: никакого абсолютного равенства в природе не существует — в том числе применительно к народам, и можно бы всерьез говорить только о юридическом равенстве — перед законом. О равенстве обязанностей и прав. Однако и оно оказалось на практике неосуществимым. И именно «старший брат» оказался на деле резко ущемленным в правах, хотя и чрезмерно обремененным обязанностями. Тут есть своя логика — с точки зрения русского, высоконравственного понимания старшинства. Традиционного понимания... Но эта логика в советское время была доведена до абсурда, принимая прямо истребительные относительно с т а р ш е г о практические формы. И хотя многотерпеливый русский народ при всей его дискриминации в пользу «младших» братьев не стал инициатором национальных конфликтов, истребительная дискриминация великой нации рано или поздно не могла не привести к ослаблению, разрушению о б щ е г о государства...

Вы правы, в царское время не было официального понятия «старшего брата», но было кардинальное понятие единой и неделимой России, единого и неделимого государства, что само по себе уже подразумевает некое «ядро», центр или объект притяжения разнообразных частей целого. И вот сохранение местных обыкновений, ступеней местного самоуправления, как и местных религий (свободы отправления местно-национального культа), — эта сохранность внутреннего бытия инородческих, присоединенных или покоренных регионов гибко сочеталась с принципиальной общей централизованностью государства. Это была не педантичная, то есть деспотически проникающая все сферы местной жизни, а именно общая, принципиальная централизованность. Обеспечивающая единство, а не единообразие страны. Стремящаяся к гармонии, а не к плоскому унисону или механической сумме прямолинейно стянутых внешним верховным диктатом частей. Тонкость или же гибкость подобной централизации выражалась — можно примерно сказать — в предложении иноверческим, как и вообще новоприсоединенным народам «экзотических» российских окраин, — оставаясь собою, сознавать себя в государственном отношении Р о с с и е й. Не отчужденной, «пасынковой» или временной частью ее, но попросту е ю. И при всех порою ошибках неразумной русификации (касавшейся в основном Малороссии и северо-западного края) неслучайной и вызывавшей сочувствие собственно русских была мысль, высказанная классическим нашим «политологом» прошлого века Константином Леонтьевым: «...подвластные короне русской провинции обширны, многозначительны по местоположению и весьма характерны по идеям своим, и при каждом политическом движении своем Россия должна неизбежно брать в расчет настроение и выгоды этих драгоценных своих окраин». И даже поощрение «упрямого иноверчества» в пестрой по своему составу стране (православной по основной, государственной идеологии) рассматривалось лучшими государственными умами России как залог плодотворного р а з н о о б р а з и я страны, без какого невозможно творчески-государственное единство, а возможна разве бескрылая однородность, отнюдь не способствующая истинной крепости целого. Состязательность, взаимодействие, естественное живое борение ненасильствующих, свободных несхожестей понималось как условие прочного существования государства.

Н. Д.: А если подытожить ваш исторический анализ, ваше понимание понятия «старшего брата», ошельмованное сегодня?

Т. Г.: Что ж, попробую это сделать. Понятие «старшего брата» восходит не к идее г о с п о д с т в а, а к идее ответственного главенства. Наконец, указывает на семью как форму организованного единства народов. И, кстати, следовало бы вдуматься в понятие с е м ь и... Ведь к ней неприложима примитивно-демократическая идея арифметического равенства. Семья — это с л о ж н а я организация, состоящая из разновеликих и разнозначных величин, а не сумма простых однородностей, функциональных и правовых. Семья немыслима без г л а в ы, высшего авторитета или сверхответственного члена. Иначе она рассыпается на взаимонеподотчетных индивидуумов. Иногда роль главы семьи, как известно, принимает на себя старший брат. И, говоря о русском народе как старшем брате в многонациональной семье народов, стоит сравнить это положение с семьею обычной — вспомнить функции, обязанности, ответственность старшего брата за других, «младших» и «средних».

Н. Д.: Старший брат в русской (в том числе советской) семье обычно приносил свои личные интересы в жертву... Шел, например, работать, чтобы вытянуть остальных, чтоб остальные росли и учились...

Т. Г.: Именно. В русской традиции не было, скажем, английского правового, экономического приоритета у старшего брата — тех материальных и правовых преимуществ, твердо закрепленных законом, какие предполагает английский м а й о р а т. Наследство, например, обычно делилось у нас поровну между детьми. Они все сохраняли титулы, если таковыми располагали их родители. И т. д. Что же до советской семьи — людей и народов — быть старшим братом означало на деле в основном именно горькую честь. Чреватую даже и полной неблагодарностью к старшему...

И, наконец, скажу: если одиозное ныне название «старший брат» было неудачным, то лишь в силу различий в семейной этике у разных народов. В семейной этике и в родовом п р а в е... Русский — идеальный — смысл этого понятия, предполагающий жертвенность, самоотверженность как форму о т в е т с т в е н н о с т и за семью и перед семьею, с трудом воспринимается теми, кто понимает старшинство как восходящую лестницу прав или льгот...

Н. Д.: Вместе с тем к понятию с е м ь и близко и понятие с о ю з?

Т. Г.: Да. Не зря в этом слове так явственно слышатся у з ы. Взаимные узы с их напряженностью, противостояньем разрыву — и уже тем самым с их определенною гибкостью...

Я склонна утверждать, что Российская империя была, по сути, именно с о ю з о м народов, и то, что в названии СССР возникло слово «Союз», есть, может быть, невольная дань уважения к фактически существовавшей реальности... Вообще ж, размышляя о «старшем брате» и роли России, надо учесть, что сама идея Союза (Союз Советских Социалистических Республик — называться стала страна), как, впрочем, и идея семьи, предполагает не одну лишь горизонтальную связь, уныло-равномерную в плоско-линейной механичности. Союз, в отличие, скажем, от конфедерации, подразумевает, конечно, и прочный общескрепительный элемент, гарантирующий действительное единство, возможность действительной организации, или о ф о р м л е н н о с т и. Эту скрепительную роль выполняет какая-то определенная сила внутри Союза. Какая-то республика, играющая роль ядра, выступающая как сила гравитации — общего притяжения, вопреки центробежным устремлениям. Естественно, что таким ядром, такою силой гравитации выступила РСФСР: это соответствует всей истории нашей страны, исторической данности, историческому праву и долгу собирательницы — России. И те, кто глумится, кто саркастически комментирует нынче слова нашего гимна: «Союз нерушимый республик свободных с п л о т и л а навеки в е л и к а я Р у с ь», — эти глумители, исповедуя «новое мышление» русофобской лжи и неблагодарности, тщатся фальсифицировать саму историю нашего государства...

И, наконец, лишний раз подчеркну: гравитационная роль русского народа (а затем РСФСР как самой большой и густо населенной русскими республики) не равна высокоиерархическому месту, предполагающему рабопепное подчинение остальных. В нашем союзе народов никак не просматривалась собственно национальная вертикаль. Русский народ как носитель с и л ы с п л о ч е н и я был в нашей стране не высшей нацией, а просто единственно способной и незаменимой в названной роли. Это не имеет ничего общего с идеологией нацизма, которую, кстати, ведь тоже пытаются приписать русским. Тут в основе, напротив, идеология б р а т с т в а. И хотя она, конечно же, предполагает особые духовные качества русского народа, — в с о ю з е, обеспеченном этими качествами русских, можно усмотреть лишь весьма необычную, совершенно особую вертикаль. Очень плавно сочетающуюся с горизонтальными связями... Это особенное соотношение вертикальности с горизонтальностью можно, пожалуй, графически выразить в виде шара. То есть фигуры, не вытянутой ни вверх, ни вниз, причем центр или «ядро», при всей непреложности его, не возвышается над другими, равно удаленными и равно приближенными к нему точками этой единой круглости...

Шар, а не вытянутая в какую-либо сторону плоскость — это вообще, на мой взгляд, графический символ всякого действительного с о ю з а, способного к жизни и творчеству. В том числе — союза как государства. Единого, многосоставного, многонационального... Сегодня эту идеальную форму шара пытаются расплющить до узкой плоскости с рваными краями и выбоинами, твердя о «союзе суверенных государств», в н е ш н е м относительно каждого из них, или о конфедерации, ничего не знающей о прочности, о надежном, хотя и гибком, внутреннем единстве...

Возможно, тезисы мои все-таки «сложны»? Для тех, кто не хочет анализировать, сопоставлять, вспоминать, думать... Но воистину внутренне сложным было уникальное государственное единство нашей великой страны. И если мышь «мировой демократии» съела сегодня великую гору, то ей, серому грызуну, источи она хоть весь земной шар, не обрести ни величья, ни славы Гиганта, каким была наша Родина, стоявшая на русских плечах — русском мужестве, жертвенности и таланте.

Июль 1991.

Русская идея: «КАМО ГРЯДЕШИ?»

В условиях подъема русского национального движения и православного возрождения, когда пробуждаются умы наших соотечественников, выходят все новые и новые патриотические издания, восстанавливаются из руин храмы и возвращаются подлинные имена городам и улицам, возникает новая проблема: как бы нам не ограничиться лишь восстановлением старого, как бы не свести все дело к архаизации и стилизации, как бы не растратить последние силы на утопические проекты повернуть весь ход истории вспять. Пока мы, консерваторы, стоим насмерть за каждое историческое имя и каждую пядь родной земли, вчерашние демократы, купив публику дешевыми лозунгами и немало поиздевавшись над нашим «лубочным патриотизмом», полным ходом организованно переходят к реализации буржуазно-либеральной программы. Чем это грозит России, понимают — увы! — немногие.

Данная подборка материалов — попытка разобраться, что из наследия русской мысли уже однажды привело к катастрофе 1917 года, что можно использовать сегодня, что пригодится завтра, какие ее течения интегрировались с западноевропейской философией и почему.

ПАВЕЛ ТУЛАЕВ

РОССИЯ И ЕВРОПА: ОТКРЫТИЕ ПРИКРЫТОГО

«Россия и Европа» — центральная тема для отечественной мысли, ее стержень, ее нерв. Связано это с самим положением России, срединным между Европой и Азией. Ни один русский мыслитель не обошел эту тему вниманием. Обратившись к литературе, обнаруживаешь как минимум пять крупных трудов, чье название полностью или частично совпадает с этим названием. Разного же рода журнальных статей и газетных публикаций — не счесть. Всякий уважающий себя политолог считает своим долгом высказаться по проблеме, поставленной историей. Как же сориентироваться в этом море фактов, материалов и точек зрения, а вместе с тем преодолеть господствующую ныне близорукость подхода? На мой взгляд, есть только один верный способ: обратиться к традиции и найти правильную перспективу, верную точку отсчета. Тогда многое проясняется и становится на свои места.

Какие именно вопросы ставит русская историософия?

Первое — это самопознание. Пройдя через период легкомысленного подражания Западу, через болезнь «европейничанья», которая привела к карикатуре на образование и эмансипацию, к духовному рабству, к исполнению роли служанки Европы, лучшие наши умы начали понимать, что толку от такого образования немного: они увидели, что Европа, и прежде-то не особенно ценившая жертвы многострадальной охранительницы ее восточных рубежей, втайне лишь смеется над ней. И ладно бы только смеялась! Она становится все более враждебно настроенной к России, ибо, увидев ее силу, боится быть задушенной в дружественных объятиях соседа. Поняв все это, Россия в лице славянофилов обратилась к постижению своих корней и истоков.

Уже Хомяков и Афанасьев (их основные труды: «Записки о всемирной истории» и «О поэтических воззрениях славян на природу» в советское время не издавались) смогли неопровержимо доказать, что славяне с древнейших времен были на равных с западными соседями и имели с ними много общего. Наш язык уходит своими корнями в индоевропейские истоки, языческие боги наших предков: Сварог, Дажьбог, Перун родственны другим арийским богам — Варуне, Индре, Аполлону. Археологические раскопки подтверждают гипотезы о том, что прародина славян находилась примерно в том же месте, где прародина прибалтов и германцев: в районе Карпат, между Балтийским морем, Дунаем и Днепром, что во многом объясняет причину исконного взаимопроникновения и взаимовлияния северо- и восточноарийских племенных стихий. О подвигах же *венедов*, о крупном языческом торговом центре Винетте, что «все европейские города превосходил величеством» и не менее знаменитых Ретре и Славенске, существовавших задолго до Новгорода, писал еще Ломоносов в «Древней российской истории».

Если на Севере славяне были в тесном общении с «варягами», то на Юге — с Византией. С греками славяне познакомились еще в скифский период через многочисленные города-полисы, рассыпанные по северному берегу Черного моря, но Константинополь был куда более притягательным центром. После попытки овладеть Царьградом силой славяне приняли его веру и миссию. Путь «из варяг в греки» обернулся восхождением Древней Руси на Голгофу православного царства. И тут мало говорить о «влиянии» греков и болгар, ограничиваться комментированием переводов Евангелия, а также многочисленных богословских и философских трудов, сделанных в то время. Освоение византийского наследия не просто способствовало быстрому развитию культуры во всех областях, оно привело к настоящему духовному перевороту, сравнимому лишь с Ренессансом на Западе. Этот, во многом отличный от последнего переворот, уже к XVI веку поднял Московскую Русь на высоту «славянского Рима».

Когда Петр I, одержимый порывом превратить континентальную православную Русь в морскую державу, оторвал ее от традиционного центра и основал новую столицу на берегах Невы, это в конечном счете обернулось деградацией церковной традиции. Торговый дух Винетты и Новгорода быстро возродился в Петербурге, но он же привел и к тому, что вместе с немецкой ученостью и техникой, военно-морским опытом и армейской выправкой в Российской империи утвердились немецкие же бюрократические порядки, бытовые привычки и варварское распутство.

С воцарением на троне женщины взгляд императорского двора постепенно переместился с Севера Европы на Юг. Франция и Италия стали для дворян тем же, чем для Петра I были Голландия и Пруссия. С немецких платьев перешли на парижские туалеты, а заодно и «приятный во всех отношениях» французский язык. По остроумному замечанию В. О. Ключевского, петровский дворянин — артиллерист сделался при Елизавете petit-maitr' -ом (щеголем), а при Екатерине II — homme de lettre'-ом (литератором). Заветам Ломоносова молодежь предпочитала круг идей вольнодумцев-материалистов: Вольтера, Монтескье и Дидро. Даже после того, когда русские дворяне перестали молиться бюсту Наполеона и, разбив его армию, прошли вслед за ней через всю Европу, мода на прелести французской жизни не уменьшилась. Место православных священников в воспитании подрастающей аристократии заняли «гувернеры». За умеренную плату они принялись учить русских детей уму-разуму, а когда те стали на ноги, то уж сами пришли к выводу: там, где Париж, там и жизнь!

Однако не вся западная культура и *не на всех* русских имела такое воздействие. Иные последствия имело для России XIX века влияние немецкой классической философии и музыки. Если диалектическая система Гегеля, захватив демократически настроенные умы от Белинского и Бакунина до Герцена и Ленина, превратилась в России в «алгебру революции», то трансцендентальный идеализм Шеллинга, его глубокое осмысление мифологии и искусства, способствовали сначала формированию Общества любомудров во главе с В. Ф. Одоевским и Д. В. Веневитиновым, а затем — через И. В. Киреевского — развитию мощного движения славянофилов и просвещенных консерваторов. А. Хомяков, Ф. Тютчев, И. Тургенев, А. Григорьев и многие другие находились под обаянием того, кого он назвал «колумбом XIX века». Мифологическая школа братьев Гримм дала толчок к переориентации Афанасьева. Бетховен и Вагнер умножили силу гения Глинки, Мусоргского и Скрябина. Ницше

ТУЛАЕВ Павел Владимирович. Родился в 1959 году в г. Краснодаре. Окончил Институт иностранных языков им. Мориса Тореза, научный сотрудник Института Латинской Америки АН СССР. Автор статей по проблемам культуры. Ответственный редактор и составитель сборников «Народ и интеллигенция», «Вокруг Лосева», «Россия и Европа». Живет в Москве.

взорвалось бомбой в умах Дм. Мережковского, Вяч. Иванова, В. Розанова, А. Белого, В. Брюсова. Возникло целое поколение художников, чье творчество было замешано на пафосе «Заратуштры» и призыве к «переоценке всех ценностей». Подобное воздействие имел и Шпенглер. Русские мыслители, ощущавшие *кризис буржуазной цивилизации* не менее глубоко и эмоционально, чем немцы, предвосхитили многие идеи автора «Заката Европы» и стали наиболее подготовленными его читателями и комментаторами.

Хорошо понимая, что «Революция — болезнь, пожирающая Запад», а не «душа, порождающая движение», что она, возможно, свидетельствует о «банкротстве целой цивилизации», так как «все отрицающее христианство зачастую очень могущественно в смысле *разрушения,* но всегда ничтожно в смысле созидания», Ф. И. Тютчев уже в 1849 году разрабатывает в противовес «узурпированной» и рухнувшей Западной Империи основы для утверждения более мощной Империи — Восточной. Вопрос племенной для Империи, с точки зрения Тютчева, второстепенный: это не принцип, а стихия. Принципом является *православная традиция.* Империя никогда не умирает; она передается как миссия, как наследство. Сейчас эту ответственную миссию приняла Россия. Цель ее: в области светской — образование новой, греко-славянской Империи, в области духовной — воссоединение христианских церквей. И тут, помимо других, вставали два больших вопроса: о Польше и Константинополе:

> Тогда лишь в полном торжестве
> В славянской мировой громаде
> Строй вожделенный водворится,
> Как с Русью Польша помирится,
> А помирятся ж эти две
> Не в Петербурге, не в Москве,
> А в Киеве и Цареграде.

Славяне, как это доказал Н. Я. Данилевский, представляют собой самобытный культурно-исторический тип. Главное его отличие от других типов состоит в том, что они не ограничиваются какой-либо *одной* формой деятельности — будь то религиозной, культурной, политической или экономической, — а стремятся к их *органическому единству.* Проявилось это ярче всего в России в *сфере религиозной культуры.* У южных и западных славян консервативная традиция оказалась наиболее сильной в Болгарии и Чехии, на родине равноапостольных святых Кирилла и Мефодия и Яна Гуса, мощное религиозное движение которого носило не реформационный, а реставрационный характер, и где жив был собирающий, евхаристический дух святого князя Вацлава. Идея Всеславянской федерации витала в конце XIX века в воздухе, причем не только в среде консерваторов. Герцен пророчествовал, что «только сгруппировавшись в союз свободных самобытных народов, славянский мир вступит, наконец, в истинно историческое существование», а Бакунин, противопоставлял «кнутогерманской империи», с одной стороны, и Интернационалу, с другой, лозунг «славной славянской республики».

Антиправославный и антирусский дух был распространен лишь среди католиков-поляков. Волей истории этот исконно и характерно славянский народ основал свое государство на границе Восточной и Западной Европы. Это срединное положение Польши обернулось раздвоением ее души и тела, а в исторической реальности — столетиями войн и трагедий. Ни войны поляков в союзе с Литвой против православной Москвы, ни разделы Польши между Россией, Пруссией и Австрией не решили проблему, да и не могли решить ее таким образом. Надежда оставалась лишь на обретение общей цели и общего дела.

Вопрос о центре будущей славяно-греческой, православной Империи в России сомнений не вызывал: им должен был стать *Константинополь.* Тем, кто хочет по-настоящему разобраться в том, что такое Константинополь, я рекомендую прочитать помимо уже упоминавшихся трудов — III часть 1-го тома «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова. Она целиком посвящена «Константинополю как центру совершающегося, хотя и бессознательно, объединения человечества». Для Федорова история *не суд,* а воскрешение отцов. С этой точки зрения она оказывается «историей, или печалованием за Константинополь (Царь городов) и Памир (Царь кладбищ и Кремлей)». Главная ценность Царьграда не в географическом положении, а в том наследии, в том завещании, что он содержит: соединить через догмат о Пресвятой Троице Восток и Запад, а следовательно, и все человечество. Храм Св. Софии, полоненный мусульманами-турками, представляет собой символ, призывающий всех христиан объединиться для его освобождения. Разумеется, никакой народ не в состоянии в одиночку овладеть столицей на Босфоре. Русским необходима поддержка Германии и Англии. Запад тоже может прийти в Царьград только через Москву. Необходимо соединение усилий, Константинополь может бесспорно принадлежать только всем народам, *миру всего мира,* той истине, которую Византия знала лишь в виде догмата». Только тогда он может стать новым центром человечества, всенародным Храмом Премудрости, Собором Соборов, где ведущую роль будет играть объединенное вокруг московского Кремля славянство. Эти же по существу идеи высказал с точки зрения своей геополитической и военной доктрины Данилевский, а автор «Дневника писателя» суммировал в короткой и ясной фразе: «Константинополь, рано ли, поздно ли, должен быть наш». Когда же началась война, и русская армия, опираясь на положительные в целом итоги русско-турецкой войны 1877—1878 гг., с призывом «Крест на Св. Софию!» двинулась к Константинополю, силы были уже истощены, Главная причина была в том, что мы, православные, оказались *не достойны* своей высокой исторической миссии, мы оказались к ней внутренне неподготовленными. Это-то и сделало возможным в конце концов *подмену мессианской русской идеи* о Соборности и обновлении православной Империи идеями безбожного интернационального коммунизма и кровавой диктатуры пролетариата.

Неизбежной большевистская революция стала еще и потому, что война за Константинополь не была обеспечена прочными союзниками. Немногие из консерваторов смогли преодолеть ограниченность панславизма Данилевского, признававшего за коронами Палеологов, Ягеллонов, св. Стефанов, Солеймонов и Габсбургов лишь право на «осиновый кол», что забьет им «по самую маковку» будущий строитель самобытной славянской жизни. К. Леонтьев, оказавшийся среди этих немногих, считал, что Царьград и Храм Св. Софии должны стать лишь *внешним* символом широкого восточного православного единения. И главным военным помощником в этой великой миссии России, как и тысячу лет назад, должна была стать Германия.

Именно Германия, включая Пруссию и Австрию, могла вступить в стратегический союз с Россией, так как их сферы влияния на Востоке и Западе были четко разграничены. Кроме того, германцы в лице наиболее прозорливых своих умов оказались способными правильно понять историческое значение России. Франц Баадер в письме к министру народного просвещения графу Уварову (Н. Бердяев приводит его в «Русской идее» чуть ли не полностью) пророчествует о всемирной миссии Православной Церкви в России, которая спасет антихристианский Запад от окончательного разложения. Шеллинг не только высоко отзывался о Чаадаеве и других своих русских знакомых, но, по свидетельству князя Одоевского, в последние годы жизни был близок к тому, чтобы принять православие. У Рихарда Вагнера, друга Бакунина по 1848 году, знание славянского духа просматривается не только в отдельных музыкальных мотивах, но и в замысле «Зигфрида». Имевший предков славян Фридрих Ницше по-своему истолковал немало идей, почерпнутых у Достоевского, а Артур Меллер ван ден Брук, идеолог «консервативной революции» в Германии, перевел и прокомментировал его собрание сочинений. Шпенглер, также знавший русский язык и несомненно читавший «Россию и Европу» Данилевского, позаимствовал у последнего ряд основополагающих идей, в том числе о возникновении на Востоке новой мощной державы во главе с Россией. Но колесо истории катится, не учитывая мнения отдельных людей. Помимо двух катастроф, которыми стали для России и Германии интернационально-коммунистическая и национал-социалистская революции, произошла третья, не менее страшная катастрофа: военное столкновение бывших стратегических союзников и лидеров мира. Несмотря на давнишние предостережения Бисмарка, вопреки более взвешенным позициям людей типа Меллера и Хайдеггера, Гитлер выгнал из Берлина русских интеллектуалов-эмигрантов (из России они были высланы по указанию Ленина) и поддался соблазну сумасшедшей идеи сделать Россию вассалом Германии. Кому оказалось выгодно высекать искры из столкновения лбов двух колоссов? Над этим вопросом уже вскоре после мая 1945 года задумались многие. И постепенно в Германии по отношению к восточному соседу снова возобладал дух Шеллинга, Рильке, Гессе. Кто принял выдворенного из СССР Солженицына? — Генрих Бёлль. Где возник первый зарубежный центр по исследованию философского наследия А. Ф. Лосева? — в Марбурге. Где издается журнал Российского Национального Объединения «Вече»? — в Мюнхене.

Крупным специалистом по России был Карл Маркс, чье учение, противостоящее немецкой и всякой национальной традиции, наша страна поистине «выстрадала» (В. И. Ленин). В Первом Интернационале Маркс был секретарем по восточным делам. Изучив, как и Энгельс, русский язык и познакомившись лично со многими российскими революционерами, он читал в подлиннике не только Герцена и Чернышевского, но и многочисленные отчеты о развитии сельской общины, впоследствии изданные в СССР в нескольких томах с его рабочими пометками в серии «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Перелистывая их, не знаешь, чему поражаться больше — трудолюбию основателя «научного социализма» или его осведомленности в мельчайших деталях русской жизни? Непереведенной и неопубликованной оказалась *главная* работа Маркса о России, с обстоятельным обзором ее истории, получившая в публикации его дочери название «Secret Diplomatic History of the XIX century» (1899). Сейчас, когда об этой несомненно важной для Маркса работе стали говорить и писать (оригинал совсем недавно был включен в 15-й том английского варианта собрания сочинений, выпущенного издательством «Прогресс», и в русском переводе опубликован на страницах журнала «Вопросы истории», 1989, №№ 1—4), советские «марксоведы» в оправдание своего многолетнего молчания приводят примерно такие аргументы: мол, Маркс с присущей ему резкостью не слишком лестно отзывается об Иване Калите, других русских князьях, обвиняет славян в «татарщине» и т. д., потому про работу и «забыли». Но такое объяснение, мягко говоря, для простаков. Серия статей, составившая после смерти идейного вождя Интернационала отдельную книгу, сосредоточивает главное внимание европейского читателя на другом. Написанная в 1856—1857 годах по следам Крымской кампании, она целиком посвящена разбору архивных — и для многих секретных! — документов о незримом дипло-

матическом влиянии наследницы Византии на Европу. Маркс называет Англию агентом России, бьет караул и призывает остановить, пока не поздно, экспансию русских на Севере и Юге. Что и было сделано. Только не англичане, не немцы и не французы покончили с ростом могущества Российской Империи. Это сделали, им на радость, русские марксисты. Вдохновленные идеей мировой пролетарской революции и лозунгом «Соединенных штатов Европы — без монархий, постоянных армий и тайной дипломатии», они расправились в России не только с Царской Семьей, но и самой православной государственностью.

Таковы основные истоки русской культуры и факторы, повлиявшие на становление Российского, а позднее — Советского государства. Совершенно иные стихии и культурные истоки, или уж во всяком случае отличные от наших, имеет Европа. Христианство, хотя и стало главной, основополагающей идеей западных государств, было почерпнуто через посредство римско-католической церкви, окончательно размежевавшейся в XI веке с Православием и незаконно узурпировавшей право верховенства. Из дохристианской классики, вновь открытой в эпоху Ренессанса и способствовавшей быстрому развитию науки и искусства, в основном изучались также римские мыслители, правоведы и моралисты; эллинская же и восточная образованность оказалась менее освоенной. Кроме того, исходная, энергичная и воинственная стихия германских варваров значительно преобразила и христианство, и классическое язычество. Эти главные факторы, выделяемые многими русскими авторами, не могли не сделать западноевропейский мир отличным от восточноевропейского. Европа при ближайшем рассмотрении вообще оказывается явлением не столько географическим, сколько культурно-историческим. Мир этот неоднороден, достаточно четко дифференцирован. Западную Европу образуют, как минимум, четыре независимых элемента: 1) *романский центр*, где сосредоточена собственно европейская жизнь; наиболее характерным выражением его раньше был папский Рим, а ныне является Париж, наименее обремененный наследием античной и средневековой христианской культуры; 2) *германский север* с сильным языческим варварским и военным началом, вечно протестующий против Рима; 3) *испано-португальский юго-запад*, несомненно романский и католический в своей основе, но подвергшийся мощному влиянию арабской цивилизации; 4) *англо-саксонский островной мир*, европейский и одновременно совершенно самостоятельный, гордый своей независимостью. Если бы не было такого культурно-исторического разделения, еще более укрепившегося в эпоху колонизации Африки, Азии, Америки и Австралии, то не было бы внутри западного христианства и разделения на конфессии: католиков, протестантов, лютеран, квакеров и пр.

К чему привело к концу XX века отпадение западной культуры от первоначальных религиозных источников, нам достаточно хорошо известно. Неограниченное господство рационализма, вставшего на службу сначала крупному, а затем международному капиталу, война против Богочеловека и Его Церкви, подмена глубокой веры бытовым «гуманизмом» — обернулись распатыванием самих основ европейской государственности. Родился «новый человек», который вопреки своим учителям не стал преодолевать самого себя, не стал штурмовать разум, не сделался подобным титанам эпохи Возрождения. Он оказался обыкновенным буржуа, практичным, пронырливым и циничным. Когда же этот лже-Прометей, разбогатев и вооружившись до зубов, вступил в союз с Пандорой, заковать его в цепи оказалось не так-то легко! Тем более что гравитационное поле России, прежде компенсировавшей своей религиозно-философской культурой и консервативной политикой отрицательный заряд энергии на Западе, само оказалось *временно* подключенным к мощностям разрушительного характера.

Таким образом, мы видим с одной стороны цивилизацию, возникшую в результате захвата варварами Римской империи, с другой стороны, империю, принявшую и сохранившую наследие Греции и Византии. С одной стороны, укрепление метрополий за счет колониальных войн и создание новых, подчиненных государств, все дальше и дальше отходящих от исконного христианства, с другой — колонизацию соседних земель и расширение естественных границ православной державы. С одной стороны, стимулированное изучением античной классики развитие науки, искусств и государственного права, с другой — углубление в религиозную философию и культуру, развитие органичного учения о Богочеловечестве. Запад Европы рождает субъективно-деятельное, активное начало, рассудочное и своевольное; восток Европы утверждает начало родовое, общинное, разумное и соборное. Идея человеческой личности, свободной и индивидуальной — вот что главное для Запада. Для Востока главное — религиозное и государственно-общественное единство, основанное на тождестве любви и свободы. Вот почему Богочеловека на Западе называют чаще Иисусом, а на Востоке — Христом. Вот почему западное искусство чувственно-телесное, а русское — мистически-трансцендентно. У них — картинность, живописность, портретность, у нас — «умозрение в красках», иконописное богословие, душевная проникновенность. Блеск и Свет — вот еще два понятия, точно выражающие разницу между Западом и Востоком. Блеск — его отражение артистической, развитой индивидуальности, ее избыточной силы, ищущей самоутверждения и изящной оформленности. Свет — это излияние тайны, стихии самоуглубленной, экстатической и прозревающей. Рыцарская Европа, встав на путь Реформации, рождает скептический дух Гамлета и Фауста; Дон-Кихот, перепутавший эпохи, выглядит в глазах новоевропейцев посмешищем. Подвижническая же Русь, столкнувшись с мещанской стихией, рождает самоотверженный дух князя Мышкина и трагедию Ивана Карамазова, мучающегося и страдающего от неверия. В современной Европе, где, по выражению Маяковского, «каждый из граждан смердит покоем, жратвой и валютцей», даже религия часто принимает формальные, обыденные и пошлые формы. У нас — последний атеист не знает, куда деться от наглого расчета и бездушного, развращающего стиля жизни.

Могут ли соединиться эти начала? Могут. И обязательно соединятся, ибо в метаисторическом смысле они относятся друг к другу как внешнее и внутреннее, как форма и содержание, как свобода и истина. Если Россия подобна Св. Софии, Премудрости Божией, Богородице, то Европа — Логосу-Христу, покоящемуся в ее лоне.

Да, Россия, хотя и соборное, но *пассивно-деятельное начало*. Она плодотворит тогда, когда есть внешний толчок: «не грянет гром, мужик не перекрестится». Вторжение врага вмиг собирает силу народа и его дух; отсутствие видимой опасности расхолаживает нашего брата. Пришел Рюрик — пошли на Царьград, сел на трон Иван Грозный — полетели буйные головы. Где еще возможны перевороты, подобные петровскому и ленинскому? Только у нас! Ибо наш народ «все стерпит, все простит». Сталин, чьи преступления сейчас разоблачают, был любим многими обманутыми им людьми, ибо в их глазах был сильным и уверенным *вождем*. Но это все проявления внешнего и насильного соединения активного начала с пассивным, мужественного с женственным. Пример более глубокого и благодатного союза личности и соборности — православная культура белой эмиграции.

Окинув взглядом жизнь русских, оказавшихся в Европе, поражаешься первым же фактам и цифрам. В послереволюционный период за пределами нашей страны вышло более 2 000 наименований русских журналов и газет различных направлений. В Париже, где сформировалась наиболее многочисленная колония эмигрантов, возник целый район из кварталов наших соотечественников. Они построили себе церкви (около 30!), магазины, театры, кинозалы; открыли гимназии, библиотеки, музыкальные школы; создали влиятельные христианские, студенческие и скаутские организации. Кладбище (знаменитый православный «мемориал» в Сент-Женевьев де Буа) они построили так, чтобы их потомкам не было стыдно прийти на поклон к могилам предков.

Три русские политические революции начала XX века, обнажившие пропасть, зияющую между эстетствующей и обезьянничающей интеллигенцией, с одной стороны, и взбунтовавшимся народом, с другой, стали тем самым *толчком*, что заставил русские умы переоценить и переосмыслить заново многовековую историю, вновь смиренно склонить колени перед Царем Небесным. Именно в среде белой эмиграции (ее так называемую «третью волну» я тут не имею в виду) воскресла Святая Русь, воскресла в Соборе верных ее подвижников и новомучеников. В Софии и Белграде, Праге и Берлине, Париже и Нью-Йорке, Сиднее и Буэнос-Айресе — они, несмотря ни на что, стали создавать Новый Град Китеж, Небесный Иерусалим России. Хранители Церковной святости и верности Императорскому Престолу, хранители религиозной и философской традиции, хранители русской истории и русского литературного языка, эти воины духа вдали от Родины возродили ту Русь, о которой молился Преподобный Сергий Радонежский. Русь, умывшуюся горькими слезами *покаяния* и очистившуюся для новой жизни.

В Европу русские и на этот раз пришли не с мечом завоевателей и не с протянутой рукой. Они принесли православный крест и глубокие знания. Богослов Булгаков и писатель Бунин, философ Бердяев и историк Зеньковский, литератор Набоков и летописец Солженицын, композитор Рахманинов и певец Шаляпин, балерина Анна Павлова и поэтесса Цветаева, шахматист Алехин и экономист Леонтьев, авиаконструктор Сикорский и изобретатель цветного телевидения Зворыкин — стали для Запада не обузой, не бомбой замедленного действия, а ценнейшим приобретением, даром, о котором — уверен! — можно говорить как об одном из наиболее чистых источников нынешней европейской культуры.

Какие же выводы можно сделать для себя из всего етого, из опыта русской историософии и геополитики, с ее победами и поражениями?

Давно уже прошли те времена, когда даже в шутку можно было повторять вслед за Иваном Киреевским: мол, остается надеяться на то, что однажды какой-нибудь француз узнает о глубине русской идеи, напишет о ней статью в журнале, тогда, заинтересовавшийся немец, изучив проблему основательно, станет рассказывать всем свою точку зрения в лекциях, и тогда уже и русский, увидев, что на Западе оценили значение его миссии, сам обратится к началу, его пробуждающему и оформляющему. Нам на это уповать нельзя, ибо Запад, действительно понявший русскую миссию, давно сделал из этого необходимые выводы, а вот «наш воз и ныне там». Отказавшись от детского стремления *во всем* подражать Западу и бессмысленного, глупого желания стать вместо русских европейцами или «американцами», нам надо прежде всего утвердиться в воле к свободе и стать самими собой, узнать свою историю, религию, философию, литературу. Надо *обратиться*

к традиции и сознательно развивать в себе жизнетворное, самобытное начало. Надо, наконец, перестать сваливать вину за отсталость и грехи России на кого бы то ни было и набраться мужества для покаяния, чтобы взять ответственность на себя. А этого надобно еще быть достойным! Путь, указанный нам Богом и отцами, оставшимися верными родным святыням, это не бунт, не пустой протест против всех и вся, это путь смиренной и воскрешающей любви. Без любви нет ни знания, ни подвига, а мы призваны к подвигу осмысленному, с Богом в душе и с Царем в голове. Только вооружившись знанием традиции, мы сможем дать битву духа и без страха постоять за правое дело.

Русская традиция — консервативна. Всемирная миссия русских заключается в сохранении и развитии наследия, переданного нам через Грецию, Византию и современное Православие. Противопоставить узколобой и меркантильной цивилизации мощную религиозно-культурную деятельность — не во имя возврата к старым формам, что в принципе невозможно, а во имя воплощения вековой мечты о Святой Руси, во имя творчества новой жизни, духовной, органичной, полноценной — вот в чем наше призвание! И для этого незачем игнорировать достижения новейшей науки, техники, промышленности, военного дела. Достижения современного мира нам нужны для собственного и общего успеха. Надо *суметь соединить*, хотя это и очень трудно, свободноинтеллектуальное западное начало с нашей едва управляемой русской стихией, что, на мой взгляд, возможно только *через принцип соборности*, диалектически точно продуманной и проведенной в жизнь дифференциации и иерархии во всех областях.

Тогда и в Европу не надо будет лезть через набившее оскомину петровское «окно», а можно будет спокойно входить *туда и обратно* в двери со своими собственными идеями и предложениями. Когда мы будем относиться к западным соседям не как к потенциальным врагам, а как к союзникам и возможным единомышленникам, когда, сохраняя свою силу и самостоятельность, сможем объединить истинно европейское начало — личность, с истинно русским — соборностью, только тогда Россия восстанет, как Феникс из пепла, и возникнет новый Священный Союз, который соединит, наконец, Святую Софию с животворящим и воскрешающим Крестом.

ВИКТОР ИЛЬИН

«АВТОРЫ КАТАСТРОФ»

Едва ли не важнейшим требованием современного здравомыслия и прагматизма является разрыв с прежним утопическим сознанием. Старый мир, построенный по большевистской модели, представляется «историческим котлованом», и не случайно гротескно ирреальные типажи и образы Платонова и Филонова раскрывают его дух и смысл полнее, чем любые документальные свидетельства.

О превращении утопий в антиутопии написано и сказано в последнее время немало, и все же авторы последнего и грандиознейшего проекта преобразования человечества остаются пока в тени колоссов марксизма. Более того, в свежем, «нетрадиционном» освещении их черты приобретают привлекательную оригинальность, а Новое мышление пополняет ими пантеон своих кумиров, осененных благодатью инаковерия. Первым свое место в этом ряду занял Бухарин, за ним Троцкий, теперь же из «царства тьмы» проступает, наконец, силуэт Учителя.

Представим его: Александр Александрович Богданов (Малиновский), философ и писатель, ученый и политик, социал-демократ и «еретик». Вместе со своими единомышленниками: В. Базаровым, П. Юшкевичем, А. Луначарским, М. Горьким — пытался дать новое прочтение Маркса, исходя из последних достижений европейской философии, а именно — трудов Э. Маха, Р. Авенариуса. Подвергнут критике сначала противниками-меньшевиками Г. Плехановым, А. Дебориным, затем соратником-большевиком В. Лениным. Из РСДРП исключен.

Итак, все основания для «реабилитации» налицо. И все же выслушаем свидетелей, далеких от внутрипартийных споров и марксистской ортодоксии. «...Все перепуталось: социал-демократы разговаривают о Боге, занимаются эстетикой, братаются с «мистическими анархистами», теряют веру в материализм и примиряют Маркса с Махом и Ницше», — без должного почтения замечал С. Франк. Бердяев презрительно называл философские штудии Луначарского и Богданова «винегретом» и «примитивной метафизической отсебятиной»...

Российский махизм оказался удивительно устойчив равно к убийственной иронии авторов «Вех», научным опровержениям Плеханова и сокрушающим разоблачениям Ленина. В предисловии ко второму изданию главного труда своей жизни «Всеобщей организационной науки (Тектологии)» (1921 г.) Богданов писал, что его «надежда на присоединение сотрудников, наконец, оправдалась. Ряд молодых — и даже не только молодых — ученых определенно пошли по пути тектологического исследования, применяя его... к различным живым вопросам практики и науки: о государственно-хозяйственном плане, о программах и приемах педагогики, об анализе переходных экономических форм, о социально-психологических типах и прочее».

Поле приложения, как мы видим, весьма широко, и автор не преувеличивает своей популярности. Можно назвать и его ближайших «сотрудников»: Н. И. Бухарин, И. И. Скворцов-Степанов, М. Н. Покровский, А. В. Луначарский, А. К. Гастев... Что же касается молодых последователей, то хватит и одного имени — Пролеткульт.

Пересказать все перипетии похода по «пролетарскую культуру» в кратком очерке невозможно. Рубцы от «гигантского эксперимента над культурой... в обширной стране между Европой и Азией» (З. Фрейд), за которым сочувственно-скептически наблюдала либеральная Европа, еще не затянулись. А противоречия и расхождения, вызывавшие раздоры и расколы в пролеткультовском термитнике, слишком малозначимы в сравнении с той сокрушительной ролью, которую сыграло это семейство для русской, да и не только русской культуры.

Знамя классового «пролетарского» гуманизма слишком истрепано, чтобы вновь бросать его в костер публицистических страстей. Однако если попытаться все же разобрать надписи на порядком запятнанном полотнище, мы увидим слова не фанатизма — о нет! — но высочайшего человеколюбия. Ни кто иной как Богданов провозглашал *всечеловеческое* счастье конечной целью мировой организации, а социализм определял как «высшее единство социально-согласованной борьбы за счастье».

Итак, цель — коллективное счастье — намечена. Каковы же средства? Увы, здесь нас ждет разочарование. Чтобы построить коллективистское общество, действовать надо коллективно, а чтобы оно было счастливым, каждый должен ощутить счастье борьбы за него, — такова сумма богдановских рассуждений. Вряд ли эта тавтология стоила бы внимания, если за ней не стояла бы целая программа культурного монтажа человечества.

Начало ее лежало в богдановской этике, точнее, в борьбе с любыми моральными «условностями». Провозглашенное Ницше «преодоление морали» нашло безусловную поддержку российских махистов, включившихся в «освободительную борьбу современного аморализма, индивидуального и социального». Столь решительное заявление могло бы показаться странным для Богданова — ведь индивидуализм, как явление чисто «буржуазное», в организованном обществе, лишенном «эгоистических, узко-индивидуальных интересов», вроде бы исключен. И все же главная задача — расшатать нравственные устои, идущие из глубины веков, — оправдывала этот альянс. К тому же как ницшевский индивидуалист, так и богдановский коллективист, изначально сходились в требовании *полезности* к любым моральным регуляторам. Им раз решалось действовать до тех пор, пока они не мешают сверхчеловекам, двигателям прогресса, безразлично, индивидуальным или объединившимся. Коли конфликт возник, значит, есть объективные причины: развитие требует новых форм, те согласуются с другими, им подобными, и образуют новые нормы. Взамен христианских заповедей Богданов формулирует «Законы новой совести», позволяющие рационализированному сверхчеловеку преступать ради своих целей любые моральные установления, даже не оправдывая избранных средств — они оправданы самим фактом свершения.

Теоретическая апология насилия неизменно несла в себе отпечаток causa sui, противоречия в объекте, которое безуспешно пытался преодолеть Ницше. Новый мир, конечная цель переустройства, не имел иных предпосылок, кроме им же декретируемых новых средств. Приговоры, произносившиеся и исполнявшиеся именем «Великой идеи», ее самое превращали в орудие ничтожеств. В истории, увы, действуют люди, вооруженные идеями, а не теории, овладевшие людьми и даже их массами. И оттого, *кто* берется осуществлять преблагороднейшие идеалы, зависит куда больше, чем от самих лозунгов. Связь здесь, впрочем, взаимная, а потому подробнее вглядимся в черты убежденного богдановского «коллективиста».

Сам этот тип в комиссарской тужурке и «пыльном шлеме» многажды описан, воспет и осужден, но все же не всегда угадывается во вневременном «потертом костюме». Вряд ли интересны сегодня и схематичные герои натужной богдановской фантастики. Гораздо важнее для нас живой и полнокровный образ, свидетельство того, что семена богдановского учения дали-таки свои всходы на российской ниве. Поэтому мы и обратимся к «Сокровенному человеку» Андрея Платонова. Начинается повесть с того, что Фома Пухов вполне буднично режет вареную колбасу на гробе жены. Он не испытывает никаких

ИЛЬИН Виктор Николаевич. Родился в Москве в 1958 году. Окончил исторический факультет МГУ, там же защитил кандидатскую диссертацию по теме «Английская реформация». Автор ряда статей и очерков по истории радикальных хилиастических и революционных движений. Ответственный редактор альманаха «Встречи с историей».

мучений совести, положив свой отряд под пулемет. «Жалко дурака: пар хорошо держал», — так отзывается он о гибели помощника машиниста. Безразличие, черствость души? — Отнюдь. Припомните только трогательную привязанность Пухова ко всякого рода механизму. Ключ к этому феномену содержат богдановские манифесты. Социализму — не до личных привязанностей, сантиментов и «непосредственных *симпатий*», не говоря уже о *чувствах*. «Товарищ дорог товарищу как гармонично с ним действующая сила в общей борьбе, как частичное живое воплощение общей цели... Товарищ выбыл из строя, товарищ погиб, — первая мысль, это как заменить его для общего дела, как заполнить пробел в системе сил, направленных к общей цели. Здесь не до уныния, не до погребальных эмоций». Как тут ни вспомнить другого великого рационализатора человеческих чувств Фридриха Ницше: «Сострадание в много раз увеличивает потери в силе; страдания и без того дорого обходятся...» («Антихристианин»).

Следом за состраданием наступает черед расправы с человеческой совестью. Богданов определяет раскаяние как «бесплодную растрату психических сил, нужных для работы». И здесь он, конечно, не нов, причем его слепок с оригинала обнаруживает совсем уж жалкую безискусность, чтобы не сказать примитивность. Там, где Ницше предрекал своему герою безумное дерзание и одинокую гибель в неравном поединке с «пещерным минотавром совести», статистический расчет Богданова обещает младенческое спокойствие неразбуженной души. Но и в этом есть своя закономерность. Раз поправ все нормы, «идейный» убийца расчищает путь вполне заурядным, не ведающим о существовании моральных абсолютов. Кошмар повторения, превращения насилия в новую *норму* взамен тех, старых, — неизбежен.

«Буржуазные расхлябанные слюнтяи постоянно себя спрашивают, как спрашивал Ропшин (псевдоним Б. Савинкова. — В. И.), можно или нельзя убить человека, застрелить околоточного надзирателя? А мы говорим, что все подчинено определенным практическим соображениям о целесообразности для хода революции... Мы смотрим на наши моральные отношения... как на инструменты нашей борьбы... с вредными элементами человечества». Среди них Бухарин помещал и царевен, что «были немного перестреляны, отжили за ненадобностью свой век». Оказывается, и нравственность может быть средством физического уничтожения в царстве голого утилитаризма.

Металл в голосе «мягчайшего» и «добрейшего», по воспоминаниям соратников, партийного лидера не открывает никаких глубинных пластов его натуры. Победители — целиком на поверхности, они настолько уверены в своем господстве над страною, ее настоящим и будущим, что чувствуют себя полными хозяевами и над прошлым. Они отнюдь не отказывались от *овладения* созданной поколениями культурой — напротив, Богданов считал искусство мощнейшим «организационным средством». Но *овладеть*, в их понимании, означало — заставить служить себе, своим целям. «Мы, — указывал Бухарин, — направляем, распоряжаемся культурными ценностями так, что не они нас, а мы их влечем». «Влечение», впрочем, — явный эвфемизм для такого стиля общения, который задал Бухарин высокомерными поучениями всех и вся — от академиков (И. Павлова) до поэтов (П. Дружинина).

Агрессивное, воинствующее неприятие *самоценности* национальной культуры было вызвано прежде всего тем, что она концентрировала опыт трудового, деятельного мироустройства. На нем-то и строилась альтернатива русской художественно-философской классики европейскому аморализму[1]. Если «великие потрясения», как мы сможем еще убедиться, были непременной предпосылкой тектологического образа действия, то национальная традиция должна была стать первой жертвой вхождения в «мировую цивилизацию». «Мы наш русский народ, эту широкозадую бабу, которая раньше дальше своей околицы ничего не знала, так перетряхнули, так переделали, что теперь она знает не только, что такое Роза Люксембург и Маклин, она знает то, чего не знает ни один французский мещанин» (Бухарин). Да, неспроста странствовал по российским просторам Копенкин, этот рыцарь образа Пречистой Девы мировой революции...

Фома Пухов имел, впрочем, и других духовных наследников. Вполне развившийся тип технического «организованного человека» — инженер Николай Вермо из «Ювенильного моря», мысленно разлагающий живое тело Надежды Босталоевой на «полезные элементы», чтобы их утилизовать. Кто-то пытался найти в этом образе отражение фольклорных влияний, уподобив вожделенное его «море молодости» «живой воде». Аналогия вряд ли уместная, поскольку страсть к вечной жизни вообще-то чужда русской национальной традиции, где бессмертием наделен лишь Кощей. Кстати, не более привлекателен и Агасфер из европейской мифологии. У мечтателя о вечной юности, несомненно, другие прототипы, и мы рискнем назвать одного из них. Это — сам Александр Александрович Богданов (Малиновский), погибший 7 апреля 1928 года. Смерть, как было объявлено, наступила в результате «опыта, произведенного на себе» в основанном им же Государственном научном институте переливания крови. Подписавшие некролог товарищи сообщили о «трагической серьезности того подвига, жертвою которого пал Александр Александрович». Несколько менее внятно прозвучало заявление о том, что занимался он «частным практическим применением тектологии..., опытной проверкой методов повышения жизнеспособности человеческой организации».

Исследовательский интерес Богданова в области медицины объясняется не только его профессиональной подготовкой. Дело в том, что он давно мечтал... о вечной молодости: «Молодая кровь, с ее материалами, взятыми из молодых тканей, способна помочь «стареющему организму». Подвиги с переливаниями крови от юношей (надо бы — от детей) убежденный автор гипотезы производил над собою, и не единожды, но последняя попытка «выхода за пределы индивидуальности» возвращением не закончилась...

Вернемся, однако, к Вермо. Вечный странник, обитающий между землею и космосом, аналитически разрушающий сущее и синтетически творящий фантасмагории, подчиняющий своим химерам судьбы людей и ничего им не приносящий, кроме надежды на омоложение иссохших до изможденья тел, — таков образ конструктора-рационалиста, нарисованный Платоновым. Не случайна, видимо, фамилия героя. Это — иноземец, причем не принадлежащий ни к какой другой земле. Он абсолютно вненационален, наднационален. И в этом — глубочайшее основание его отстраненности. В отличие от Чегодаева («Джан»), ему нет ни малейшего дела до души того народа, с которым свела его судьба. И в отличие от самого Платонова, налаживавшего в разбросанных по России деревнях малую мелиорацию, механизацию и электрификацию, он добивает остатки старого быта и проектирует мясных бронтозавров. Пожалуй, он являет собою идеальный тип новой интеллигенции, призванной, в соответствии со своим официальным статусом, «служить». Вся сила ее интеллекта направлена на осуществление указанных властью задач, ибо последняя обладает монополией на выражение неясных народных потребностей и устремлений.

Печальнейший итог революционного взрыва, выплеснувшего на поверхность ультрарадикальных «Иванов — не помнящих родства» (характеристика является одновременно лучшим объяснением радикализма) — в том, что осевший наверху слой не имел иного способа существования и самоутверждения, кроме социального нигилизма. Даже исторически обосновывать свое право на власть он вынужден был весьма амбивалентными апелляциями к бунтарско-разрушительной стихии. Максимум, что он соглашался загрузить в багаж «нового человека», — «образцы героизма, революционные страсти», но, конечно, не «наше рабское прошлое» (Бухарин подразумевал под этим мирную деятельность, не озаренную пожарами классовых битв).

Богданов быстро почувствовал здесь угрозу окольной реабилитации крестьянства, остававшегося для него символом косности и объектом нескрываемого презрения. Рецензируя поэтический сборник «Красный звон» и отдавая должное таланту С. Есенина и Н. Клюева, он сурово предостерегал, что «возвеличение таких вождей неорганизованной, стихийной силы народа, как Стенька Разин... как нельзя более чуждо сознанию социалистического пролетариата». Бунт *пролетарский* имеет свои закономерности, и их с готовностью выдает Гастев, этот enfant terrible благопристойного тектологического мироустройства. Октябрь — «Восстание культуры». «Во главе бунта встал класс, отмеривший свои надежды на столетие вперед. Этот бунт заслуженно назван революцией».

Расчеты командующего класса, производимые его вождями, требуют живой бурлящей массы, пребывающей в состоянии броуновского движения, ибо только оно создает подходящую среду для осуществления высшей воли. Идеальное состояние заряженной толпы — варварство, неразмышляющая готовность повиноваться. «Дикари, записывайтесь тысячами в наш отряд», — звучит клич Гастева. Поэтика разрушительства буквально пронизывает его пролеткультовское творчество послереволюционных лет: «Идти — / Ломить — / Разить — / Уничтожать. / Пожрать по пути все леса, весь уголь, торф, обречь на смерть заснувшие города, погосты, усадьбы. / Все жечь /Все жечь. / Жечь!»

Вулканический переворот земного бытия давал строительное сырье новым хозяевам, которые сами могли решать, как распорядиться обломками вещественного и человеческого материала. Жажда крушений и катастроф была вызвана прежде всего потребностью разбить, отбросить прочь все социальные связи, образующие человеческую личность, превратить ее тем самым в элементарную частицу, послушную первому импульсу руководящего рассудка:

«Самый младший из нас схватил рубильник, который всегда носил с собой, и начал включать.

Армия снова пошла. Миллион людей без барабана, без музыки шел в ногу...»

«Верите ли вы, что пройдете со своим миллионом хребет, что растет перед вами?»

«Мы не верим, мы... знаем теперь», — загремели старики-солдаты» (А. К. Гастев. «Поэзия рабочего удара»).

Потрясти до основания, перевернуть вверх дном силою молодого энтузиазма все традиционные устои, быт, и на развалинах старого начать возведение Нового мира, ничем не напоминающего прежний, — такова программа революционного переустройства, осуществлявшаяся «делателями, авторами катастроф» (именно так рекомендовал себя Гастев). Опять-таки нельзя видеть в этом максимализме простого отражения глубины социальных катаклизмов. Здесь теоретически вполне обоснованная и полностью вытекающая из философских принципов махизма попытка «организовать» общество не на традиционно ему присущих, а механически «правильных», рассчитанных основаниях.

---

[1] Подробнее см.: Давыдов Ю. Н. Этика любви и метафизика своеволия. М., 1989.

«Взрывы массовой энергии» не только не противоречат административному мышлению, как писал в «Идеологии и утопии» Карл Маннхайм, но являются его предпосылкой и неотъемлемой частью. Хаос не возникает из бюрократического управления вследствие наличия некоей «иррациональной среды», а исторически предшествует ему. Чем слабее социальные связи, тем абсолютнее власть, чем короче собственная память, тем сильнее чужая воля.

Богданов без излишней экзальтации, свойственной его адептам, рассуждает о прошлом, которое на пути великой борьбы «постоянно предъявляет свои права, и где ему удается — загрязняет великие цели чуждыми им мелкими мотивами» — будь то индивидуализм (меньшее из зол), «абсолютные истины», «моральные идеалы» или «общенациональные интересы».

Неприятие истории, граничащее с ненавистью к ней, сверхэмоциональные призывы покончить с «национально-патриотическими фетишами» диктовались не столько, быть может, глубиной философского убеждения, сколько беспомощностью рационалистических установок. Ведь, по сути, на смену вековой традиции, культуре шла лишь сугубо единоличная субъективная воля конструктора, демагогически прикрытая лозунгами «коллективной цели» и «всеобщего блага». Расщепление человечества до атомарного состояния и монтаж новых и новых комбинаций по чертежам «социальных инженеров» являлись таким насилием над жизнью миллионов, которое невозможно оправдать никакими доводами разума.

Большинство писателей-«антиутопистов» XX века, пораженные этой страшной перспективой, пытались найти спасение от разрушительно-унифицирующей Системы в частной, интимной жизни, оставляющей человеку последний уголок свободы. Однако бунт одиночки обречен. Герои Замятина, Хаксли, Оруэлла терпят крах потому, что за любовью к женщине забывают о любви к ближнему. Здесь мы обязаны вспомнить о бунте неизмеримо более интеллектуальном, имеющем за собой всю мощь человеческого разума, а не фрейдистские комплексы. Речь идет о муках Ивана Карамазова, искушаемого и искушающего Великим Инквизитором. И в мире не найдется средства соблазнить «загадочную» русскую душу, которая отвергает местечко в царстве всеобщей гармонии взамен своего исторического бытия.

Теоретикам «организованного общества» с их ничтожным философским потенциалом остается апеллировать к последней инстанции. Ultima ratio, она же ницшевская causa prima, к которой обращается Гастев, — «Прежде всего /Сила /Сила без кавычек, самая настоящая, элементарная физическая сила. / Долго, слишком долго жили в ханжеском отрицании силы. / Сила должна быть элементом всего социально-культурного движения... / Пусть все массы научатся ощущать силу, знать ее грубый восторг»

Сгусток энергии, вырывающийся в сокрушающем порыве революционного действа, по мере надобности переключается и на исполнение предначертанных схем строительства. Уже в 1918 году Богданов выступал против «чрезмерного сосредоточения» на точке зрения социальной борьбы, поскольку на первый план выходили задачи «социально-строительские». Однако разбуженная и освобожденная от любых ограничений — будь то интеллектуальных или нравственных, — сила прокладывает *свой* путь «созидания»: «Народы. / Классы. / Племена. / Убирайте. / Или стройте вместе с нами... / И, во всяком случае, долой из-под моста. Вы понастроили дач и засадили цветами... Извините, — здесь будет шахта, уголь, шлаки... / — Два часа на выход из-под моста. / Последний сигнал. / Иначе... горячим паром... / Тысячи две... / Тысячи две живых... / Заложники новой постройки».

Удивительно, насколько близки оказались идеи Ницше «мостостроителям будущего», над которыми так опрометчиво иронизировал певец утонченной эзотерики...

Фантасмагории коллапса, разрушения, неизменно сопровождающая идиллию построения, составляют неостановимо бессмысленное (Г. П. Федотов) поступательное движение, поглощающее на своем пути любые органические формы, чтобы оставить за собой мертвые кристаллы геометрически правильных организационных структур. Всерасплавляющий огонь молодой энергии лишь помогает чудовищной машине освоить новые материалы для сооружения ячеек несокрушимого опыта. Участие человека в этом античеловеческом процессе вспомогательное и механическое. Перманентная культурная революция, громящая любое наследие и разрушающая все преграды для продвижения машины, оставляет ему роль мускульной функции, в лучшем случае — слабого прообраза ее совершенства. Простейшее действие с примитивнейшим орудием воспевается как символ его преобразующей деятельности. «Топор должен быть любим каждым юношей—агентом культуры»,—пишет Гастев в дни кампании «малых дел».

Так или иначе, «Поэзия рабочего удара» остается альфой и омегой пролетарской культуры. «— Хотите? / Буду ударять молотком по наковальне. / И, во-первых, буду ударять ровно 60 раз в минуту, не глядя на часы. / Во-вторых, буду ударять так, что первую четверть минуты буду иметь темп на 120, вторую четверть — на 90, третью — на 60. / И начал».

То, что начал гастевский котельщик из Дублина, завершил платоновский медведь-молотобоец из Котлована. Предпоследний русскоязычный лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский оценил этот тигаж как первый сюрреалистический образ, «форму философского бешенства, продукт психологии тупика». Его происхождение он усмотрел в глубинах «неодушевленной массы» и соответственно омертвелом языке нации. Вольно или невольно приняв платоновский язык, гротескно пародировавший семантику тектологического «новояза», за выражение национального духа и авторского миропонимания, Бродский тем самым вполне доказал идентичность *собственного* миропонимания со строем мысли своих гонителей. Конечно, Россию можно любить или не любить, но выносить мстительный приговор ее народу и культуре, вменяя им в вину варварские преступления, против них же совершенные, — прием, надо признать, не очень цивилизованный, хотя и очень ныне популярный.

Популярный уже не только среди «творческой» образованщины, но и выходцев из административно-бюрократических питомников. Их прощальный дар «стране рабов» — провозглашение неотъемлемых «прав человека и гражданина» — навсегда войдет в историю как величайшее благодеяние перестройки. Наконец-то и бедная Россия приобщается к цивилизации, да еще на уровне последних достижений рационалистической мысли XVIII столетия. (Хорошо еще, что нашлось доступное изложение для слаборазвитых стран и умов, — большего идеологический аппарат, источивший зубы о гранит «марксистской», а точнее, махистской науки, не осилил бы...)

Впрочем, оставим иронию. Речь идет о вещах слишком серьезных — о судьбе России. И пускай напрашивающаяся аналогия послужит если не доказательством, то хоть бы предостережением. Все, что происходит в стране сейчас, случалось в мировой истории, и не раз. Век Просвещения, представивший человечество в виде суммы индивидов с «прирожденными» правами, завершился якобинским террором, когда потребовалось заново их связать свободным, равноправным и братским «общественным договором».

Начавшийся в 1917 году социальный монтаж человечества на место «общественного договора» поставил «коллективную цель» с единоличным ее выразителем. Однако и он не изменил классическому механицизму в представлении о человеке как исходной и изолированной единице, социальном атоме. Итог — террор большевистский.

Перестройка. На смену коллективистскому идеалу — прагматизм, безусловный приоритет частного интереса перед всеобщим. Пускай каждый позаботится о себе, а остальное как-нибудь да устроится (сбылось-таки спустя 80 лет предвидение Н. Бердяева о переходе социал-демократии от махизма к «прагматической философии Джемса и Бергсона»!). Торговцев водворяют обратно на рынок, его же попутно превращая в Храм вечного спасения.

Позволительно, однако, спросить жрецов его: кто Бог ваш? Еще Яхве, помнится, наставлял народ Израилев, чтобы точными были его весы, гири и меры. Хоть таким образом свободный обмен да регулировался. Нашим поводырем в «цивилизованный мир» давно уже выступают подпольные цеховики, торговая мафия, коррумпированная бюрократия, преступный мир, наводнивший кооперацию. Не удивимся же, когда спадет с глаз пелена, что оказались у жертвенника Ваалу, идолу одинаково ненавистному иудеям, христианам и мусульманам. И без изумления отыщем мы среди служителей его вчерашних прозелитов коммунизма.

«Новое политическое мышление» стало высшим курсом самосохранения истэблишмента. Постоянные импровизации — вместо научного прогнозирования, амебное и вечно запаздывающее «реагирование» — вместо политической стратегии, ссылки на «обстоятельства» вместо анализа действующих сил, и на каждом шагу — «непредсказуемые последствия», вечный гость с того света в благоустроенном доме прагматика.

На фоне всей этой дешевой клоунады исподволь, незаметно росла угроза новой диктатуры — Ф. А. Хайек некогда назвал ее «плебисцитарной» (!), но мы можем назвать проще — фашистской. Уже зная опыт окраинного нацизма, мы можем лишь напомнить, что первыми затосковали по «сильной личности» убежденные апологеты «свободного рынка» и добрейшие, по отзывам единомышленников, люди (И. Клямкин). Не зная общества и не представляя, как его реформировать (полная аналогия с большевиками образца 1917-го), они предпочли рушить его до фундамента, чтобы из анархии и хаоса возводить здание на бесспорных, теперь уже *точно* выверенных и вневременных основаниях. Не надо быть пророком, чтобы предсказать скорое превращение их «р еволюционных» средств в самоцель, дальнейшую эскалацию насилия и печальный для многих финал революционных сатурналий. Пирровы победы в гражданских войнах прославлялись в поколениях, а слава Робеспьера не меньше геростратовой, — может быть, в этом их утешение?

Наученные горьким опытом предшественников, нынешние «демократы» пытаются найти *историческое* оправдание своим деяниям. Самый простой и удобный способ — объявить исправление «исторического зигзага», возвращение к «досемнадцатому». Не выйдет, господа. Реабилитируя без разбору Николая Бухарина и Николая Романова, вы слишком явно передергиваете карты в колоде, которой осталась для вас российская история. Вы призывали очищать «дальше, дальше, дальше» идеалы Октября, но не вашими стараниями они открылись нам. У большевиков было все же одно оправдание перед историей: хаос в России начался прежде, чем власть свалилась им в руки. Их оправдание — ваше обвинение. Ибо вы сами непрерывным, всевозрастающим давлением ввергали страну в анархию, чтобы власть *получить*. Тысячи погибших и миллионы бедствующих — не слишком ли дорогая цена вашей победы?

Вы провозглашаете контрреволюцию? Но она уже произведена, и давно, столь

ненавистным вам Сталиным. Почитайте Троцкого или, еще лучше, Федотова, человека и мыслителя, сохранившего в эмиграции большее, чем честь России (о чем он мечтал), — ее совесть. Одной страницы его «Сталинократии» достаточно, чтобы развеять демагогическую завесу, которой вы скрываете свои цели. Вот она: «...это уже не термидорианский режим. Это режим Бонапарта... Пятилетка сделала невозможной буржуазную реставрацию и предопределила государственно-капиталистический характер будущей России».

Этот капитализм, как и любой другой, строился на крови и грабеже. Припомните, если сумеете, Реформацию с церковными погромами, промышленную революцию с «работными домами» в Англии и рабовладением в США. Совершив немыслимый скачок, Россия настигла Европу и доказала свое право на историческое существование. Этого права лишили ее вы, разодрав и превратив страну в кровоточащий конгломерат «суверенных» территорий и индивидов.

Вы боретесь не с мифическим коммунизмом, а с Россией. С того же начинали левейшие из большевиков, не гнушавшиеся сходством с ордынскими ханами и баскаками (хорошие наши знакомые Бухарин, Покровский и проч.) Но, подобно Сталину, вы недолго продержитесь за свой «интернационал». Он уже разваливается, и для окончания партии не хватает только «русской карты», которую вы показали, но до времени припрятали. *Пока* вы играете в национальные символы, цвета и имена вами обесчещенной России. Однако безумно-конвульсивным разрушительством вы уже обрекли себя на возвращение к сталинской диктатуре, едва не раздавившей нацию своим пресловутым «национализмом».

Вина России и всех нас, россиян, в том, что мы позволили вам распоряжаться своей судьбой. Это трагическая ошибка, но ее можно исправить. Мы будем оправданы, если среди беснующихся мелкодержавных шовинистов сохраним достоинство великой нации и восстановим демократию — но уже без «демократов».

ИГОРЬ СМИРНОВ

ФИЛОСОФИЯ СМУТЫ

Среди убожества и нищеты, изведения государства и крушения нравственности — характерных примет перестроечной жизни — все еще слышится слово **д у х о в н о с т ь**, нет-нет да и прозвучит призыв к ее **в о з р о ж д е н и ю**. При кажущейся масштабности и внушаемой повсеместности этого, безусловно, отрадного и необходимого проявления народности убеждаешься, тем не менее, в его эфемерности и даже искусственности. Ибо призыв к возрождению духовности все более напоминает кликушеский элемент некоего ритуального новомодного обряда.

Да, возвращение русской философии обществу — актуальнейшая проблема и вместе с тем сложнейшая задача. Предстоит разобрать немало завалов, вызволить из забвения массу имен, сделать доступными сотни произведений. И это отнюдь не техническая работа, отягощенная нехваткой бумаги, необходимостью адаптации текстов к современным требованиям и т. п. При всей технологической, так сказать, сложности этого процесса, перепечаткой несметного богатства она не исчерпывается.

Досадно, что и переиздание источников поставлено не должным образом. В своё время заметный интерес вызвал предпринятый Политиздатом выпуск серии трудов русских философов. Ожидалось, что в неё войдут наименее доступные и наиболее значимые памятники отечественной культуры. Что, наконец-то, читатель сможет познакомиться с воззрениями мыслителей, формировавших ключевые направления русской духовности и государственности. Слава Богу, тысячелетняя история России такой выбор не ограничивает. Сложность в одном — как вместить неведомое богатство — философские сочинения отечественных мыслителей — в запланированные объемы и тиражи. Но ведь за дело взялись профессионалы.

Реальность, как это не раз случалось, опрокинула вожделенные мечтания. Скорее, она поразила бедностью и блеклостью той картины, которую воплотили в жизнь публикаторы сочинений русских философов. Даже не углубляясь в седую древность, а остановившись, скажем, на предшествующем столетии, как можно было лишить русского человека имен, составляющих хрестоматийный фундамент его культуры? Как можно, приобщая современника к отечественной философской традиции, обойти творчество А. С. Хомякова, братьев Киреевских, Константина Леонтьева?.. Называю действительно канонический ряд творцов русской духовности, без упоминания которых не обходится ни один (в том числе и самый предвзятый) очерк ее истории.

СМИРНОВ Игорь Николаевич. Родился в Вологодской области в 1937 году. Окончил философский факультет МГУ, доктор философских наук, в недавнем прошлом профессор Института философии Академии наук. Печатался в журнале «Вопросы философии», газете «Литературная Россия».

Во что же вылились намерения издателей, чем удовлетворяют они тягу к познанию истоков отечественной духовности?

Программа предполагаемых и уже вышедших книг включает имена и произведения далеко не равноценные, если судить по духовному вкладу и интеллектуальному взносу пропагандируемых философов в копилку русской культуры, в формирование общественно-политического сознания русского народа. К примеру, это сочинения К. Д. Кавелина, о котором Ф. М. Достоевский, потеряв всякую надежду на трансформацию отношения популярного либерала к своему народу, писал: «Он уже старец и **у г а с а е т** с самым полным незнанием народа русского и с презрением к нему».

В числе первых книг серии вышли и произведения Д. И. Писарева — вдохновителя и идеала всех «левых» радикалов, доходившего «до отрицания всякой абсолютной нравственности, до проповедования полнейшего индивидуализма в понимании добра и зла», оставившего и такой «вклад» в отечественную культуру, как «избиение» Пушкина — сюжет, навязчиво привносимый в текущую окололитературную полемику. Правда, разносных статей Писарева здесь нет. Слишком бы это выпирало из камуфляжа.

Отнюдь не бесспорными в этом смысле выглядят и сочинения М. А. Бакунина, П. Н. Ткачева, П. А. Кропоткина, Г. Г. Шпета.

Нет слов, каждый из упомянутых вызывает оправданный интерес при обращении к истории русской культуры. Без оценки их деятельности и творчества современнику трудно понять хитросплетения политической интриги, во многом предопределившей ход социального развития России. К тому же отдельные их произведения отмечены публицистическим даром.

Но переиздаваемые труды русских философов, на мой взгляд, призваны, прежде всего, способствовать формированию адекватных представлений об отечественной культуре, а не продолжать — пусть и имеющими право на существование, но субъективными, по сути, средствами — насаждать деформированный взгляд на развитие русской культуры и место в ней философии.

Способствует ли столь благородной задаче знакомство с выводами, содержащимися, скажем, в «Очерках развития русской философии» — центральном произведении однотомника Г. Г. Шпета? Ответ в следующем утверждении философа: «Философское сознание как общественное сознание, философская культура, сама чистая философия как чистое знание и свободное искусство в России — дело будущего».

Возможно, осознание драмы, переживаемой Россией, предчувствие трагического исхода личной судьбы наложило отпечаток на строки, написанные им в 1922 году. И все же как отнестись к суждению автора, составляющему, по сути, как бы лейтмотив всего произведения: «Невежество — какая-то историческая константа в развитии русского творчества и самоопределении его путей... исключительно невежество не позволяло русскому духу углубить в себе до всеобщего сознания европейскую философскую рефлексию»?

Наверное, восприятие подобных высказываний могло бы проходить с большим пониманием, снабди издатели выходящие тома квалифицированным разъяснением, помогающим ввести современного читателя в сложный контекст индивидуального творчества мыслителей, неотъемлемого от целостного исторического течения научной и философской мысли. Этого же, к сожалению, не сделано.

Вот и напрашивается вопрос: а не ради ли заветного повышения тиража журнала «Вопросы философии» — организатора издания философской серии — предпринято оно?

Тяжко ведь подумать, что осуществляемое затеяно в целях дальнейшего искажения взгляда на отечественную историю. Хотя если учесть, что у истоков инициативы стояло Политбюро ЦК КПСС, в котором ключевой идеологической фигурой являлся А. Н. Яковлев (а его вклад в перестройку, читай — развал государства — ныне уже не тайна за семью печатями), невольно приходит предположение о заранее спланированной акции. Правомерность подобного допущения подтверждается преобладающей долей в опубликованном произведений, авторы которых не только поносят Россию и отвергают ее историю, но и выступают идейными вдохновителями ее уничтожения.

Таково, к примеру, — противоречивое, ничего не скажешь — творчество П. Я. Чаадаева. Кстати, пока единственного из русских философов, удостоившегося чести выпуска Полного собрания сочинений, осуществленного, разумеется, не без экономической выгоды, в самое последнее время издательством «Наука». Кстати, издание подготовлено, насколько можно судить по первому впечатлению, качественно и квалифицированно. Лично я как исследователь ничего не имею против публикации сочинений Чаадаева. Наоборот, приветствую возможность стать обладателем свода трудов этого неординарного мыслителя. Но почему, почему на первом плане представители негативного мировоззрения, ниспровергатели и разрушители русской традиции, русского духа?

Кто ответит на этот вопрос?

Особого разбора, внимательного и беспристрастного анализа заслуживает

группа философов, переиздание трудов которых также осуществлено в рамках тенденциозной серии. К ним относятся: В. С. Соловьев, В. В. Розанов, П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев. И это имеет значение не столько в связи с издаваемой философской серией, сколько с необходимостью верного понимания и отношения к русскому философскому наследию в целом. Ибо, обретая свое прошлое, следует трезво осмыслить пережитое и задуматься, в конце концов, над вопросом, впрочем, никогда не теряющим актуальности: что взять из наследства, с чем повременить, а с чем и расстаться?

А что происходит?

К примеру, сегодня Политиздат, набивший руку на тиражировании сочинений Маркса и Ленина, выпускает произведения Якоба Беме — средневекового мистика. И не пробными партиями — как в былые времена, когда «подозрительные» и «сомнительные» книги печатались мизерным числом с грифом «для служебных библиотек», а производит буквально издательский залп, «накрывая» им сотни тысяч читателей, продолжающих блуждать в ослеплении полыхающим тлетворным огнем антикультуры, пораженных безумием эстрады и экрана.

Многомыслие и разномыслие — благо! История, рано или поздно, выполнит одну из своих извечных функций — осуществит роль естественного отбора, и в сокровищницу мировой культуры — ведь российская только часть ее — попадут действительные таланты, истинные делатели жизни.

Пока же сумятица в умах приближается к своему критическому градусу. Политические баталии, борьба за власть, обнищание и люмпенизация народа усугубляются эклектикой печатного рынка, хаосом в сфере культуры, ведомой артистами и режиссерами.

В нашей жизни немало свидетельств, заставляющих отказаться от неверного впечатления, будто брожение народного сознания сродни «броуновскому» движению. Нет, процесс этот поддерживается на основе более совершенных законов. Наивны и пагубны, хотя и достаточно распространены, упования на то, что все образуется само собой.

Тенденция размывания и без того подточенных устоев отечественной духовности выявляется все отчетливее. Немалая доля ответственности ложится на доморощенных плюралистов, настроенных и впредь выплескивать в неокрепшие и ослабленные души лохани не только с помоями и отбросами разнузданной антикультуры, но заодно и зелье, приправленное тонким ядом мистики и антиправославия.

Зло многолико; идеи реформации, прельстительные ереси и сегодня искушают слабого человека, вершат свое неправое дело.

Невольно, не по злому, скорей всего, умыслу играют на руку размыванию нравственных и духовных принципов и труды некоторых русских философов, как бы случайно, словно по мановению плюралистической вседозволенности (и то — сколько ждали!), внедряющиеся в общественное сознание.

Как избежать новых заблуждений?

Выход, конечно же, не в запрете и ограничении. Только научное — через историю, философию — и художественное, с помощью литературы осуществленное воспитание поможет отделить зерна от плевел, выйти на истинную дорогу добра и правды.

Религия в жизни каждой нации, а следовательно, и государства — не сопутствующая деталь, не декоративный орнамент. Она суть души народа, скрепляющий стержень его общежития. От того, что десятилетиями мы культивировали иные воззрения, положение дел не менялось. Ведь размежевание по линии веры — главный корень противоречий между различными политическими группами, какие бы светские обличья они ни принимали. Так было! Так есть! И, пожалуй, так будет!

Под этим углом зрения несколько в ином свете, отличном от принятого и небезуспешно распространяемого взгляда, предстает деятельность и творчество ряда руских философов, во главе которого, условно, конечно, стоит фигура Николая Бердяева.

Определяющая цель их устремлений, не каждому дающихся в своем сокровенном смысле и тайных намерениях, не вытекает напрямую из произнесенного и написанного слова. Но подтверждается делами, со всей обнаженностью проявившимися в особенности в эмигрантский период их жизни, и конечными социальными результатами, о которых можно судить по прошествии времени.

Смысл сказанного в том, что именно Бердяев и его окружение, сгруппировавшееся по инициативе Мережковского вокруг журнала «Путь», выступили против Православия. Об этом свидетельствует их критика Собора и Синода за то, что в отстаиваемой ими позиции философы усматривали ортодоксальную линию Церкви, стремившейся в целости охранять православную веру и устроение церковной жизни в том виде, в каком они достались нам от Вселенских Соборов и Святых Отцов.

В стремлении соединить дух и плоть сторонники объединения философии и религии идут по пути обманного смешения, прелести и впадают в новую ересь, усугубляют отход от Православия. В надежде все-таки избежать этой опасности Д. С. Мережковский заявлял: «Я знаю, что в моем вопросе (синтеза духа и плоти — *И. С.*) заключается опасность ереси, которую можно бы назвать, в противоположность аскетизму, *ересью астартизма*, то есть не святого соединения, а кощунственного смешения и осквернения духа плотью... *Я не хочу ереси, не хочу отрыва...*». Последующее развитие событий не уберегло Мережковского от этой опасности.

Как известно, Бердяев вместе с С. Булгаковым, отойдя от марксизма, стали во главе философского движения, стремившегося, по сути, к реформаторским целям. В новом возврате к вере (преимущественно через искусство), собственно, заключался отход от традиционного для русской философии союза «слова» и «дела». Г. Флоровский отмечает, что «этот новый религиозный азарт окрашен в западнические тона, он питается не от восточных или славянофильских истоков...»

На своих знаменах члены нового философского братства начертали и новые девизы. В ожидании Второго пришествия призывали они к Третьему Завету. «И зло, и благо два пути, ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти» (Д. С. Мережковский). Не могу сейчас углубляться в изгибы и тонкости философского стиля, повторно вошедшего в нашу историю; теперь — как возрождение русского религиозного Ренессанса XX столетия.

Итак, речь пойдет об учении, известном как софиология, познание Софии — высшей премудрости. Но не о метафизических и гносеологических трудностях его восприятия — слабо усвоенных новейшим философским сознанием — хочу я повести разговор, а о той сакральной, можно сказать, политической игре, ведущейся за кулисами сцены, на которой разыгрывалась софийная драма.

Не так уж широк круг специалистов, сосредоточивших усилия на выявлении истоков учения о Софии в отечественной философии, установлении его идейных вдохновителей. Все поиски с неизбежностью выводят на розенкрейцеров, на множество не явленных апостолов, представляющих орден креста и розы. Их история расцвечена именами многих выдающихся философов. По мнению Ю. Н. Граббэ, именно они в начале нынешнего века придали работе философской мысли направление в сторону софианства.

В русской философии первым, кто подверг всестороннему рассмотрению понятие «Софии», был Вл. Соловьев. Обращаясь к истокам вопроса, следовало бы далее припомнить и открытие розенкрейцерской школы в России в 1900 году, и создание софианского кружка под руководством М. С. Соловьева (брата знаменитого философа), и контакты таинственной А. Н. Шмидт с русскими философами и писателями, и многое другое, что, несомненно, свидетельствовало не о свободном и спонтанно (насколько это возможно в творческом процессе) осуществившемся выборе направления философского поиска и, в частности, разработке проблемы Софии, а об утверждении контролируемого и регулируемого начинания.

По признанию одного из членов упомянутого кружка, Андрея Белого, его участники стремились «осуществить «соловьевство» как жизненный путь и осветить женственное начало Божественности, найти человечество как ипостась лика Божия». Мистика соловьевского учения находилась в центре всеобщего внимания, кружковцы старались понять связь его эротической лирики и теософии. Сам Вл. Соловьев отмечает тесную связь необходимости исследования «вечной женственности в теле нетленном» с аналогичной целью антропософии, изучающей жизнь человека в Софии и провозглашенной Штейнером при открытии антропософского общества.

Имеет смысл несколько подробнее представить этого вдохновителя философских исканий в России в начале XX века. В «Истории розенкрейцеров» написано: «В Германии лекции д-ра Штейнера, который покинул в 1912 году Теософское Общество, находя его недостаточно христианским, для создания Антропософического общества, были в некотором роде введением в систему розенкрейцеров»; «Штейнер устраивает в Антропософическом обществе внутренний кружок, называемый «франк-масонство», посвященные в который получают из его рук золотой крест с розой».

Отвлекаясь от деталей, следует признать, что отечественное софианство взошло из «семян, упавших с символической розы и проросших в плодородной почве современного общества».

Среди почитателей новомодной доктрины мы видим Н. А. Бердяева, В. И. Иванова, А. Белого, А. Блока и многих, многих других, с именами которых вполне заслуженно соотносится представление о взлетах русской культуры и искусства.

Но к каким вершинам вели они все-таки свою паству, к чему предуготовляли нас?

Любознательным могу порекомендовать самостоятельно доискаться до источников, раскрывающих деяния розенкрейцерства в России. Уверен, чтение будет увлекательным.

Пока же мы видим, что «семена розы», упав в России на плодородную почву, дали всходы в виде учения о «Софии», а его последователи организационно оформились в соловьевский кружок. Кое-какой свет на его деятельность проливают, как уже отмечалось, воспоминания Андрея Белого. Все софианцы были сплочены одним — ожиданием откровений Третьего Завета, олицетворявшихся в Софии, и непринятием ни Первого, ни Второго Заветов.

Белый и Блок увидели образ Софии в русской революции. И хотя Бердяев против этого возражал, однако расхождений в отношении понимания сути Софии у него (и у С. Н. Булгакова) с ними не было. За одним исключением — у Булгакова оно было соотнесено с православной догматикой. Решающее воздействие на духовное развитие Булгакова оказал именно Вл. Соловьев своим учением о Софии.

Кружок М. С. Соловьёва после его смерти распался. На смену ему пришел возникший в 1903 году кружок «Аргонавтов». В Петербурге известная чета Мережковских — в своём «логове мысли», в знаменитом доме Мурузи, — так-

же активизировала деятельность софианствующих философов. Встречались у них, у Минских, Сологуба; еще один очаг софианства связан с В. Ивановым, на средах которого, в знаменитой «башне» или «становище», собирался цвет петербургской интеллектуальной элиты. Н. Бердяев, М. Гершензон, Д. Философов, В. Эрн, А. Карташёв, С. Аскольдов, Г. Чулков, А. Ремизов, Л. Шестов, Н. Лосский, Иванов-Разумник, художники Сомов, Билибин, Н. Бенуа и Добужинский, поэты Н. Гумилёв и С. Городецкий — таков весьма колоритный подбор участников этого интеллигентского течения.

Роль Мережковских и В. Иванова как зачинщиков и вдохновителей софианской ереси безусловна.

Под их влиянием тема двойного религиозного возрождения была энергично заострена Бердяевым. В своей работе о «Новом религиозном сознании» он признавался: «Мы зачарованы не только Голгофой, но и Олимпом, зовет и привлекает нас не только Бог страдающий, умерший на Кресте, но и бог Пан, бог стихии земной, бог сладострастной жизни и древняя богиня Афродита (читай София. — *И. С.*), богиня пластичной красоты и земной любви...».

Обстановка на сборищах искателей софианства и антропософии нередко подходила к сатанинской черте. «Раз, — вспоминает А. Белый об одной такой встрече у Блоков, — я не выдержал: вдруг за столом при всех вместе сорвал с себя крест, бросив в траву; А. А. (Блок. — *И. С.*) усмехнулся недоброй улыбкой».

Нечто похожее происходило и на собраниях, устраиваемых В. Ивановым в Петербурге: «литераторы восхотели «мистерии» и «орхестры» составили хоровод; и кололи какого-то литературного адвоката булавкой; выжав кровь, они распивали ее с вином, называя это «Дионисовым Действом».

Не все прошли этот греховный и порочный путь, большинство сошло с него, и среди них был А. Блок.

Одна из активных участниц собраний — А. Ф. Минцлова, ученица вышеупомянутого Рудольфа Штейнера. В Москве она посещала теософский кружок Христофоровой, а в Петербурге останавливалась в ивановской «башне».

В 1909 году ею была предпринята попытка создать новое братство из представителей различных софианских течений. Будущих членов общества она намеревалась привлечь идеями рыцарства, братства, служения духу. К счастью ли, к сожалению, ей не удалось реализовать свой замысел. Так и остается тайной ее внезапное исчезновение из России, неисполненная миссия «светлого дела». Можно лишь предполагать, на основании немногочисленных источников, о связях ее с розенкрейцерским движением.

Однако присутствие организации, представлявшейся ею, незримо давало знать о себе российскому общественному сознанию. Иногда это принимало даже романтически-детективные формы. Так, А. Белый рассказывал Блоку о том, что при прощании Минцлова оставила ему кольцо с аметистом, которое он должен был предъявить «людям Духа». Известно, что по прошествии нескольких лет у Белого такая встреча состоялась.

С кем именно?

Этот вопрос пока не прояснен, хотя на основании воспоминаний самого поэта можно утверждать, что на Белого была возложена задача продолжать объединение софианцев.

Здесь следовало бы перейти к рассказу о деятельности Религиозно-философского общества. Но поскольку сегодня имеется возможность более близкого и достоверного с ним знакомства, коснусь лишь кратко этих страниц российской истории.

В октябре 1901 г. всесильный обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев принял Д. С. Мережковского, Д. В. Философова, В. С. Миролюбова и В. А. Тернавцева, которые разъяснили цель и задачи предполагаемых собраний. Первое из них состоялось 29 ноября 1901 г. в Географическом обществе. Всего удалось провести двадцать одно заседание. Протоколы двадцати собраний опубликованы в журнале «Новый путь» и изданы отдельным выпуском в 1906 г. Богатейший материал редкой исторической важности ждет своего заинтересованного исследователя.

Деятельность общества была прекращена опять же по требованию того же обер-прокурора Синода. И не случайно. Имя Победоносцева — символ эпохи, над которой простиралась, по выражению Блока, «тень огромных крыл» блюстителя Православной церкви. «Не надо» — самый излюбленный ответ Победоносцева, не желавшего ничего слышать о «творческом» обновлении Церкви. Его безотчетное чувство охранительной прочности патриархальных устоев, страх перед протестантизмом выливались в опасение всякого действия, всякого движения. «Богословия, — пишет Флоровский, — Победоносцев решительно не любил и боялся, и об «искании истины» отзывался всегда с недоброй и презрительной усмешкой».

Как он мог поддержать софианскую ревизию, направленную, якобы, на обновление Церкви..?! Тем более, что «новаторское» обсуждение религиозных вопросов не совпадало с Православием. По меткому замечанию Ф. А. Степуна, «и тут и там волна религиозного возрождения затерялась среди неопределенного чувственного мистицизма, мистицизма атеистического...»

Открыл религиозные собрания В. А. Тернавцев, выпускник С.-Петербургской Духовной академии. В докладе «Интеллигенция и Церковь» он обосновал необходимость примирения между деятелями Церкви и интеллигенцией. Тем не менее дискуссии заходили в тупик. Показательно, что, убедившись в

антиправославной направленности религиозно-философского общества, Тернавцев порвал с ним и вышел из состава учредителей.

В Москве, в отличие от Петербурга, религиозное пробуждение, философская активность отличались менее яркими и слабее выраженными формами. Фактически Владимир Соловьев в одиночестве пытался ослабить враждебность интеллигенции к Церкви. Все же и ему удалось немало, если иметь в виду последующее творчество его убежденных учеников — братьев Сергея и Евгения Трубецких, Л. М. Лопатина. Под их непосредственным воздействием к обсуждению религиозных вопросов обратились такие философы, как В. Ф. Эрн, А. В. Ельчанинов и В. П. Свенцицкий.

Широкое распространение получили домашние собрания, кружки, отдельные из которых оказывали влияние на широкие круги благодаря религиозным издательствам, возникшим в этот период. К их числу относился кружок П. И. Астрова. В его доме собирались поэты-символисты А. Белый, Л. Эллис, а также Сергей Соловьев, Н. Бердяев, Ф. Степун и др.

Неофициальные встречи происходили и в доме М. К. Морозовой — состоятельной вдовы промышленника М. Морозова, дочери фабриканта К. Мамонтова. Именно на них была заложена основа религиозно-философского издательства «Путь», в налаживании его работы принимали участие Бердяев, Булгаков, Рачинский, Эрн. Его деятельность финансировала М. К. Морозова.

В 1910 г. Я. Л. Сакер и С. И. Чацкина в Петербурге начали выпускать журнал «Современные записки», который ставил целью обеспечить сотрудничество левой интеллигенции с представителями религиозного возрождения.

Из других философских центров можно отметить Киевское общество по изучению религии и философии, председателем которого с 1910 г. был В. В. Зеньковский, уже в эмиграции возглавивший студенческое христианское движение.

Впоследствии идеи Религиозно-философского общества были продолжены в Религиозно-философской Академии (РФА), созданной Н. А. Бердяевым в Берлине, которая перенесла затем свою работу в Париж. Замечу также, что денежную поддержку РФА оказывал Союз Христианской Молодежи (известная ныне ИМКА), в частности, профессор В. Сеземан.

В промежутке в Москве в 1918 году была открыта Вольная Академия Духовной Культуры, в деятельности которой во главе с Н. Бердяевым принимали участие С. Франк, Б. Вышеславцев и другие. Почти пять лет продолжалась ее работа, вплоть до трагической высылки философов из СССР в 1922 году.

Особый интерес в свете эмигрантской деятельности русских философов представляет братство Святой Софии, Премудрости Божией. Корни его, хотя оно и было создано в Париже, уходят в Россию, в кружки и собрания, исповедовавшие учение о Софии. Основу нового религиозно-философского центра составили лица, не смирившиеся с Божественным промыслом, не принявшие учения Церкви в том виде, как оно порешило от святых отцов, а возжелали подогнать его к своим философским воззрениям.

Братство Св. Софии было создано во главе с о. С. Булгаковым. До сих пор мы не располагаем какими-либо развернутыми сведениями о его деятельности, тем более документальными доказательствами о конспиративной борьбе, имеющей конкретные долговременные цели.

Нет также и достаточно аргументированных свидетельств о той части деятельности братства, которая, не ограничившись разработкой учения о Софии применительно к православной богословской доктрине, стремилась реализовать руководящее влияние на дела русской Церкви за границей. Однако можно предположить, что это влияние исходило из целей весьма далеко идущих, ибо сегодня мы ощущаем реальные помыслы некоторых нынешних деятелей Русской Зарубежной Церкви, намеревающихся привести паству к новому расколу. И можно только догадываться, опираясь на факты истории, что предстоит испытать нам в ближайшем будущем.

Выдержит ли очередное искушение измученное Церковное тело и истощенная душа народа?

На эти пессимистические размышления наводит знакомство с уставом братства, упоминание о котором можно найти в письмах кн. Н. С. Трубецкого к о. С. Булгакову.

Так, Н. С. Трубецкой писал: «Мы имеем дело не с обычным типом православного братства, а с организацией, не имеющей прецедента в православной практике. Собственно, это скорее напоминает монашескую общину с разделением на монашеские степени и с возглавлением игуменов... Такая внемонастырская община, состоящая из мирян и духовенства, скорее заслужила бы название ордена!»

Тем самым речь идет о структуре, фактически вышедшей из-под церковной опеки, стремившейся к распространению идей, вступающих в противоречие с Православием. И подобную миссию возложили на себя русские «духовные» философы!

«Происходит какое-то установление эквивалентное и какое-то координирование двух иерархий, одной — канонической, другой — основанной, в сущности, на общественном мнении. Происходит внецерковное наделение духовного авторитета, тем более соблазнительное, что чиноприемы связаны с таинствами покаяния и причащения (§ 12), придающими им видимость рукоположения. Таким образом, Братство создает особую иерархию, и сосуществование этой особой, братской, иерархии с иерархией канонической создает совершенно недопусти-

мое с православной точки зрения положение».

Среди членов братства мы вновь видим о. С. Булгакова, А. В. Карташева, С. С. Безобразова, Н. А. Бердяева, Б. П. Вышеславцева, С. Л. Франка, В. В. Зеньковского, П. Б. Струве. Судя по этому списку, можно предположить, что философское, так сказать, сообщество, именуемое Братством, осуществляло руководящее влияние в Епархиальном Совете при известном своим тяготением к расколу митрополите Евлогии. И уж, конечно, не обошлось без воздействия на жизнь Религиозно-Философской Академии, Парижского Богословского Института и Русского Христианского Студенческого Движения.

Сегодня явственно ощутимо, что попытки раскола русской Православной Церкви не исчерпаны. И сызнова возникает вопрос: кому это выгодно?

Послеоктябрьская история отечественной Церкви проливает свет на многие, теперь уже приоткрывшиеся обстоятельства искоренения национальной духовности. Постепенно нагляднее становится и роль домашних философов — их некоторой части — в этом процессе. Я далек от намерения выносить скоропалительные оценки, высказывать неустоявшиеся суждения. Но и затягивать уяснение истины нельзя. И потому вновь призываю поспешить в нашем движении к правде истории.

Она же требует непредвзятого отношения и объективного анализа деятельности тех организационных формирований и интелектуальных течений, в рамках которых закладывались основы мировоззрения многих наших соотечественников, волею судьбы оказавшихся за пределами Отчизны. Одно из них — Русское Христианское Студенческое Движение, объединившее, по словам Ю. П. Граббе, лучшую часть русской молодежи, стремившейся к вере и Церкви. Их церковное воспитание было вручено профессорам В. В. Зеньковскому, А. В. Карташеву, о. С. Булгакову, Б. П. Вышеславцеву, С. Л. Франку и другим — все они, как видим, члены братства Св. Софии.

Конечно, было бы преувеличением утверждать, что в зарубежном студенческом движении все было отдано на откуп софианству. Но и быть избавленной от влияния новаторского богословия большая часть молодежи не могла. Добавим, что не без ведома братства среди юношества систематически подрывался авторитет Синода как законного представителя Русской Православной Церкви. Немалую роль в этом прельщении сыграл митрополит Евлогий, поддерживаемый братством.

Не менее показательно, что во Вселенской Церкви «митрополит Евлогий встретил поддержку как раз от епископов, вводящих реформацию, т. е. Патриархов Константинопольского и Александрийского, митрополита Хризостома Афинского и даже лжеепископа Финляндского Аава, гонителя православных Валаамских монахов».

Пора вернуться к тем частям статьи, где речь шла о внешнем воздействии на развитие русской философской мысли, и напомнить, что учение розенкрейцеров, по крайней мере в его доступном виде, своими основами уходит в гностицизм, посредством которого они, подобно масонам, разыскивают своих духовных предков в подземелье языческих религий и в иудейской каббале.

Именно розенкрейцеры, по мнению историка Фр. Виттеманса, осуществляют роль связующего звена, с помощью которого вся эта древняя мудрость соприкасается с христианским миром. Не случайно в связи с этим в России наблюдалось оживление гностицизма в начале текущего столетия. Показательно и непреходящее увлечение гностиками многих русских философов. Отсюда и такой, к примеру, вывод Н. А. Бердяева: «Бога нельзя назвать даже бытием, ибо Он есть сверхбытие и Он есть ничто». В своих поздних работах Бердяев, правда, пытался отойти от былых соблазнов и переложить инициативу в софианских увлечениях на своих эксцентричных и экзальтированных коллег, но... слово сказано.

Иначе чем можно объяснить так и не устраненный интерес Бердяева к мистику всех времен, розенкрейцеру Якобу Беме: «Дух дышет где хочет и гностический дар великих философов и мистиков был дар боговдохновенный. Гностический дар не прямо пропорционален святости. У Якоба Беме был больший гностический дар, чем у святых».

Взгляды, развиваемые, хотя, конечно, и не во всем объеме их творчества, многими русскими философами XX столетия, существенно отклонялись от православной догматики. В лучшем случае они привлекали ее только для последующего, можно сказать, оформления своих философских воззрений. Отсюда и забвение святоотеческих творений, тяготение к произвольному философствованию. Отсюда и расхождение «слова» и «дела» у некоторых отечественных мыслителей. Забвение того, что вера была дана русскому человеку для укрепления своего народа, поддержания Отечества. Подтверждением этому является консолидация сил, роившихся вокруг розенкрейцерства, представленных, в частности, масонством и определенной частью прессы.

Пора, пора извлекать горькие уроки! Пора научиться понимать подлинные причины социальных потрясений, подламывающих и продолжающих рушить Родину, ясно видеть цели, которые ставят перед собой силы, не исчезнувшие с политической арены истории!

Предостережения особо прозорливых отечественных мыслителей, предсказывавших новый натиск на русское Православие, подтверждаются.

Пытаясь осмыслить происходящее, наши современники нередко вспоминают: «смутное время». Невольно на ум приходят исторические параллели, которыми столь богата отечественная история. Да, смутное времечко бывало на Руси. И не единожды. Особое место в исторической памяти занимает XVII век, открывшийся смутой в Московском государстве. Собственно, все столетие прошло под знаком чрезвычайного напряжения, социального беспокойства и политической разноголосицы.

Многое из прошлого как бы вернулось в наши дни. Даже то, что еще недавно средний человек не мог и вообразить: мятежи и восстания.

Большинству из нас — не одному поколению — в стремлении прочувствовать подлинный дух исторической эпохи трудно было представить, что смута собой являла не только политический кризис, но сопровождалась и колоссальным душевным потрясением. Через нее как бы свершился глубочайший перелом нравственного сознания народа. Наши дни помогают понять и уяснить истинное значение поворотной для России исторической эпохи.

Г. В. Флоровский писал: «Из смуты народ выходит изменившимся, встревоженным и очень взволнованным, по-новому впечатлительным, очень недоверчивым, даже подозрительным».

Вместе с тем это было не только, как принято считать и по сю пору, время з[illegible] и застойное. Тогда свершались и кардинальные духовные преобразования. Ведь о «нерушимости отеческих устоев и преданий резонировать, беспокоиться начинают обычно именно тогда, когда быт рушится».

Насколько происходящее с нами сегодня напоминает многажды пережитое русским народом! И опыт прошлого подтверждает: сегодня уже нельзя прожить одной инерцией предания, упованием на сложившиеся привычки.

Обновление жизни, духовное возрождение возможны лишь через обретение инстинкта правды и веры. Решимость и настойчивость должны сопровождать вступление на путь нравственного обращения и соборности. И тогда, быть может, на смену утраченному равновесию, тревоге и беспокойству, сомнению и оторопи придут уверенность и твердость, любовь и вера — извечные скрепы русской души. И из очередного противостояния добра и зла, обставшего Россию, должна вывести нас тяга к любви и свету на пути, проторенные подлинной отечественной мыслью. Важно отыскать ее, а не обмишулиться, прельстившись соблазнительной тропинкой, ведущей в чащу и трясину.

Летопись России: история в лицах

ВАДИМ КОЖИНОВ

Ярослав Мудрый

Время наивысшего расцвета Древней Руси традиционно и заслуженно связывают с правлением великого князя Ярослава Владимировича. Этот человек, помимо титула князя, носил также тюркский титул кагана, который приравнивался к императорскому. А в записи в Соборе святой Софии он наименован цесарем, то есть — императором.

История России, как известно, прерывиста, она изобилует и высокими взлетами, и глубокими падениями. Князь Ярослав Владимирович правил с небольшим перерывом с 1016 по 1054 год, и его эпоха, несомненно, является одной из высших вершин, достигнутых Русью за всю ее историю.

Но вот своего рода странность: о государственном, церковном и культурном величии эпохи Ярослава написано множество различных работ, но о самом Ярославе нет ни одного развернутого исторического труда... Статья о Ярославе Мудром в 82-м полутоме Энциклопедического словаря Брокгауза—Ефрона, изданном в 1904 году, завершается таким сообщением: «Специальных исследований о нем не имеется». И ныне, в 1991 году, приходится повторить то же самое. Хотя, между прочим, до нас дошло очень значительное количество фактов жизни и деятельности Ярослава, начиная с его крещения в 988 году, когда возникло его христианское имя — Георгий.

Отсутствие книг о Ярославе, по-видимому, объясняется тем, что перед нами, во-первых, чрезвычайно сложная, многогранная, противоречивая историческая личность, а во-вторых,— и это создает особенно большие трудности для исследователей,— дух и воля Ярослава как бы всецело воплотились, претворились в создававшиеся им реальности государства и церкви, общественного устройства и культуры.

Сложно по смыслу уже само присвоенное Ярославу историей прозвание — Мудрый. В «Словаре русского языка XI—XVII вв.» это слово предстает как очень многозначное: проявляющий ум, сметливость, хитрость; обладающий большим опытом, знающий; основанный на благоразумии: замысловатый, сложный, трудный. И, пожалуй, все это применимо к Ярославу Мудрому, который единственным из русских правителей получил такое прозвание.

Ярослав Владимирович прожил долгую жизнь. Он родился, по-видимому в 978 году и скончался 20 февраля 1054 года.

В его деятельности можно выделить добрые и великодушные, но и жестокие и коварные поступки; он одерживал яркие победы и испытал прямо-таки постыдные поражения; он бывал и покоряюще щедрым, и крайне скупым. Но итоги, плоды его деятельности побуждают «оправдать» и то, что можно счесть «отрицательным».

Фигура Ярослава как бы «проигрывает» в сравнении с фигурами Олега и Святослава, Ольги и Владимира и даже младшего его брата Мстислава Храброго. В его личной судьбе недостает героики, дерзости, в конце концов, риска, и он не был зачинателем, деятелем, впервые открывавшим новые неведомые пути, как его бабка Ольга и отец Владимир. Он являл собой продолжателя и завершителя, что в высшей степени ценно, но — так уж сложилось — не вызывает на Руси особого восхищения...

А между тем Ярослав Мудрый действительно и грандиозно завершил то историческое здание, которое его предшественники строили в течение двухсот с лишним лет (если начать счет с полулегендарного первого киевского князя Кия, правившего, как доказывал М. Н. Тихомиров, на рубеже VIII—IX веков).

К концу его правления Русь являла собой огромное государство, чьи земли простирались от Белого до Черного моря и от речного бассейна Вислы до бассейна Камы; территория Ярославовой Руси почти совпадает с тем, что сейчас называется Европейской частью нашей страны.

Ярослав установил прочные связи и отношения с основными странами тогдашнего мира, что выразилось, в частности, в брачных союзах семьи Ярослава с правящими династиями Византии, Германии, Франции, Англии, Венгрии, Польши, Швеции, Норвегии и других стран.

Воплощая в себе общий расцвет Руси, развивались прежние города и возникали новые. В то время Русь обладала, пожалуй, самым большим количеством крупных городов. Киев уступал по величине лишь Константинополю и арабской Кордове в Испании. Кроме него, выделялись Чернигов, Переяславль Русский, который сейчас называется Переяславлем Хмельницким, Галич, Туров, Владимир Волынский, Полоцк, Витебск, Смоленск, Муром, Ростов, Суздаль, Новгород, Псков, Юрьев (ныне Тарту), Ладога, Тмуторокань (Тамань) и другие. Все эти города в течение последних двух десятилетий правления Ярослава Мудрого были неразрывно связаны с центральной киевской властью и осуществляли ее волю на окружающих их территориях.

О военной мощи зрелого государства Ярослава ясно свидетельствует тот факт, что в 1036 году были наголову разбиты напавшие на Киев печенеги. Те самые печенеги, которые в предшествующие полтора века, начиная с 889 года, были грозой всех соседних стран и народов, включая Византийскую империю. После того как в 1036 году Ярослав разгромил их, они впредь уже не являли собой сколько-нибудь значительной опасности для соседей.

Важнейшим итогом деятельности Ярослава Мудрого стало небывалое культурное развитие Руси. Нас и сегодня покоряют своим величием воплотившие в себе многообразные человеческие усилия и устремления собор святой Софии в Киеве, возведенный, по-видимому, в 1037 году, и Софии Новгородской (1050). Неоценима духовная и просветительская деятельность Киево-Печерского монастыря, основанного в 1051 году; она ярко отражена в составляющемся с конца XI века «Киево-Печерском патерике» и в «Повести временных лет». При Ярославе были созданы также монастыри святого Георгия и святой Ирины (в честь небесных покровителей князя и его княгини).

Венцом духовного развития народа при Ярославе Мудром стало написанное в 1049 году киевским митрополитом Иларионом «Слово о законе и Благодати» — одно из величайших творений русской литературы и мысли за всю их историю. В известной степени сопоставимо с ним и проникновенное «Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу», которое словно бы предвосхищает, является праобразом классической русской прозы XIX века, заставляет подумать о прозе Толстого и Достоевского. Посвятивший изучению этого творения тридцать лет жизни С. А. Бугославский основательно доказывает, что оно было создано еще при жизни Ярослава, хотя некоторые другие ученые относят этот памятник к более позднему времени.

«Слово о полку Игореве», созданное много позднее, почти через полтора века после Ярослава, донесло до нас память о «песнетворце» Бояне, струны которого пели песни «старому Ярославу, храброму Мстиславу». Трудно усомниться в том, что это был великий поэт и певец, ибо перед ним преклоняется гениальный творец «Слова о полку Игореве».

Наконец, Ярослав Мудрый установил законность всего общественного бытия Руси, ибо положил основу своду правовых норм — «Русской Правде» и вместе с митрополитом Иларионом создал Устав о церковных судах.

Чтобы оценить плоды деятельности Ярослава, следует вспомнить, что от времен, ему предшествовавших, до нас дошли только записанные позднее устные предания и археологические находки; между тем, как ясно уже из перечисленного выше, эпоха Ярослава существует и сегодня реально, предметно, осязаемо.

Этот «завершающий» характер деятельности Ярослава понял уже его современник и сподвижник — гениальный Иларион, который, обращаясь к отцу Ярослава, сказал ему о сыне: «Его ведь сотворил Господь наместником тебе, твоему владычеству, не рушащим твоих уставов, но утверждающим, не умаляющим сокровищ твоего благоверия, но более их умножающим, не говорящим, но свершающим, что не докончено тобою, кончающим... Он дом Божий великой Его Святой Премудрости создал на святость и священие граду твоему; его же всякою красотою украсил, златом и сребром, и каменьем дорогим и сосудами святыми. Та церковь дивная и славная по всем окружным странам, другой такой не сыщется во всем полуночии земном от востока и до запада. И славный град свой Киев величеством, как венцом увенчал. И предал людей твоих и город святой, всеславный, скорой в помощи христианам Святой Богородице. Ей же и церковь на великих вратах возвел во имя первого Господня праздника — Святого Благовещения. Пусть целованье, что дарит архангел Деве, будет и граду тому, ибо сказано ей: «Радуйся, обрадованная, Господь с тобою!» И граду же: «Радуйся, благоверный град, Господь с тобою!» (перевод В. Я. Дерягина).

К сожалению, большинство трудов наших ученых историков отличаются одним свойством, нередко губительным для отечественного сознания. Я имею в виду целенаправленный и беспощадный критицизм. В основе его, правда, лежит прекрасное начало — отсутствие самодовольства, умение строго оценить самого себя. Но, увы, в эпохи раздоров, распрей и нестроения такой оголтелый критицизм приводит к очень дурным последствиям — люди начинают забывать то прекрасное, что было в истории их предков, им прививается мысль о том, что вся эта история состоит из одних только темных и позорных страниц.

В отношении Ярослава Мудрого, в частности, любят делать упор на одно и то же обвинение — мол, великое государство-то он создал, но никаких шагов к тому,

чтобы это государство после его смерти не развалилось, не предпринял. Действительно, сразу после того, как Ярослав скончался, Русь рассыпалась на множество мелких княжеств, причем они все более и более дробились, и к концу XI — началу XII века, то есть спустя полстолетия после правления Ярослава Мудрого, единой страны по существу не было. В большинстве исторических трудов это явление рассматривается как фатальная слабость русского развития (хотя феодальная раздробленность еще в большей мере была присуща основным странам Запада) и неполноценность государства, созданного Ярославом Мудрым.

Но что если посмотреть на это с иной стороны? Пока вся огромная, собранная Ярославом держава управлялась только из Киева, то неизбежно Киев становился единственным центром, куда стекалась вся энергия народа, а в других городах и землях эта энергия не могла развиваться по-настоящему интенсивно и богато. Трагический для русской единой государственности распад на княжества (кстати, после трудов Ярослава было чему распадаться!) имел, как это ни парадоксально, и свою благотворную сторону — создалось многоцветие совершенно самостоятельных, самобытных образов жизни и культур. И в Новгороде, и в Пскове, и в Ростове, и в Суздале, и в Ярославле, названном так в честь Ярослава Мудрого, и во Владимире, и в Чернигове, и в кубанской Тмутаракани, и в Витебске, и в Смоленске, и в Полоцке, и в возникшей несколько позже Твери. Если бы не было самостоятельности этих земель, мы имели бы лишь одну киевскую культуру как таковую, гораздо более однообразную, нежели все это невиданное многоцветие. В этих городах и землях зарождалось то, что впоследствии сольется в богатейшую общерусскую культуру. И речь следует вести не только о культуре, но и вообще о многообразии самой русской жизни, которое стало складываться в этих городах и окружающих их землях. Если вдуматься в то, что русскими являются и обитающие на берегах Северного Ледовитого океана поморы, и столь непохожие на них, живущие у Кавказского хребта кубанские казаки, невольно придешь к выводу об изумительном богатстве и величии этого народа. Оценивая так называемую феодальную раздробленность, мы должны ясно осознавать, что любое п р и о б р е т е н и е означает и п о т е р ю, а любая потеря несет с собой и некое непредсказуемое приобретение. Таков закон развития всей Вселенной и всего человеческого бытия.

Возвращаясь к эпохе Ярослава Мудрого, нужно сказать, что, за исключением Византии, страны очень древней культуры, прямо и непосредственно воспринявшей древнегреческое наследство, не было в Европе и Азии страны, которая могла бы равняться в то время с Русью. Мы как-то привыкли к заклинаниям, что Россия всегда в чем-то отстает от Европы, и уже не видим, что в иные эпохи она в чем-то уходит вперед. Такой эпохой и было, в частности, время правления Ярослава Мудрого.

В качестве лирического отступления позволю себе процитировать малоизвестное стихотворение Николая Тихонова, написанное им в конце жизни. Речь в нем идет об одной из дочерей Ярослава Мудрого, Анне Ярославне, вышедшей замуж за французского короля Генриха I. В 1048 году Анна Ярославна уехала во Францию (перед этим там побывал будущий митрополит Иларион), в 1051-м состоялась свадьба, а в 1060 году Генрих I скончался, королем был объявлен малолетний сын Анны Ярославны Филипп, и в течение долгого времени, по крайней мере до 1075 года, Анна Ярославна фактически управляла Францией. Сохранились ее печати, ее подписи на латинском языке. С ее пребыванием во Франции связана романтическая история — спустя некоторое время после смерти мужа она вышла замуж за одного из представителей французской аристократии, но римский папа признал этот брак недействительным.

Существует версия, согласно которой в конце жизни Анна Ярославна вернулась на родину, где и провела остаток дней своих. Стихотворение Тихонова написано, как может показаться, с неким, если угодно, чрезмерным патриотическим пафосом, но на самом деле в этих стихах очень точно показано, что должен был испытывать человек, выросший в богатейшем Киеве и попавший в Париж. Надо вспомнить, что в середине XI века Париж не был тем Парижем, который мы знаем, допустим, по романам Гюго и Бальзака. Не было ни Нотр-Дам, ни Университета, и вообще от того времени до наших дней не дошло ни единого значительного памятника, ибо их просто не было. И вот — эти стихи:

Над Днепром и над Софией славной
Тонкий звон проносится легко.
Как же, Анна, Анна Ярославна,
Ты живешь от дома далеко?..

...Небо низко, сумрачно и бледно,
В прорези окна — еще бледней,
Виден город, маленький и бедный,
И река — она еще бедней...

...Неуютно, холодно и голо,
Серых крыш унылая гряда.
Что тебя, с красой твоей веселой,
Ярославна, привело сюда?

Из блестящих киевских покоев,
От друзей, с какими говоришь
Обо всем высоком Мирострое,
В эту глушь, в неведомый Париж?..

Стихи эти не принадлежат к значительным произведениям поэзии, но в них есть, помимо верного исторического сопоставления, тайные и полные смысла слова «обо всем высоком Мирострое» — том, о котором говорили или хотя бы его чувствовали, сознавали киевляне эпохи Ярослава Мудрого — Миростроя, чей свет был запечатлен и в Церкви, и в государстве, и в культуре, и в быте эпохи.

КРИТИКА

ИГОРЬ ДЬЯКОВ

ДЕЛО, КОТОРОЕ БОЛЬШЕ НАС

К 100-летию со дня рождения И. Л. СОЛОНЕВИЧА

Православие, Самодержавие, Народность... Эти три понятия, должным образом разъясненные[1] в соответствии с требованиями времени, и являются твердым основанием для умопостроений относительно наших судеб, как личных, так и общественных. Из этого триединства в духовном отношении только и может состояться в полной мере и Русская семья, и Русская Держава. Благодаря ему, в конечном счете, укрепится и тот волосок, на котором повис над пропастью земной шар.

Многотруден путь к ясному пониманию, а тем более пониманию прочувствованному, побуждающему к действию. Но идти по нему следует решительно, иначе нравственные капканы, «заботливо» расставленные врагами рода русского, уловят последних из нового «подгона», свободного от рабовладельческих догм марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма.

Итак, Солоневич. Этот державный голос, с нежной силой вправляющий мозги пытаемым вот уже сколько десятилетий русским, донесся до нас совсем недавно. Но по сей день, начиная с сороковых годов, издается в далекой Аргентине газета, им основанная. Ее девиз: «Мы проводим столыпинскую линию: ни реакции, ни революции». Тираж маленький, но название — «Наша страна» — и внимательное чтение ее материалов наводит на мысль, что газета эта во много раз более *«наша»*, нежели подавляющее большинство выходящих на территории бывшей Российской Империи изданий. Газета, как и одноименное издательство, переживает не лучшие времена. Более того, скорее всего глубинная провокация — это международное противорусское действо — проникла и туда. Но импульс, данный ее основателем, продолжает действовать. Уж больно громадна фигура...

Имя Ивана Лукьяновича неизбежно должно было появиться на мглистом горизонте запутавшейся в плюрализме перестройки. Вполне закономерно, что появилось оно в самую последнюю очередь благодаря усилиям людей, *совершенно точно* не связанных со Старой Площадью и ее хитромудрым Агитпропом, плодящим журнально-издательских и парламентско-митинговых марионеток, призванных изображать «борьбу» между собой.

Сведения о его жизни пока что явно недостаточны. Это и немудрено: слишком долго он относился к числу авторов, чьи произведения можно было читать только в спецхране без права делать выписки, да еще в присутствии компетентного «товарища».

Было два брата (может, и больше) — Трофим и Лукьян. Отец их Михаил был священником, выходцем из семьи белорусских крестьян. У Лукьяна Михайловича, ученого, занимавшегося молочнокислыми бактериями, от первого брака

[1] Одна из первых серьезных попыток предпринята в кн. Д. А. Хомякова (сына известного славянофила) «Православие, Самодержавие и Народность» (Монреаль, 1983) — здесь и далее прим. ред.

Дьяков Игорь Викторович. Родился в 1958 году в г. Сумы. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Работает в редакции журнала «Молодая гвардия». Критик и публицист, автор ряда статей и книги «Осень в начале века» (1990).

родилось два сына, Борис и Иван (последний появился на свет 14 ноября 1891 года). (К детям от второго брака, после смерти первой жены Лукьяна Михайловича, мы еще вернемся.) Семья жила небогато, но насыщенной интеллектуальной жизнью. Братья занимались спортом: Иван — борьбой, Борис — футболом и борьбой. В гости к ним захаживал сам Иван Поддубный, и вся семья нередко была свидетелем того, как Иван Лукьянович в товарищеской схватке клал на лопатки именитого гостя.

Иван Солоневич зарабатывал свой хлеб с 15 лет. Экстерном сдал экзамены на аттестат. Поступил в университет, учился там на собственные деньги; таких студентов, по его словам, «было сколько угодно». Известность спортсмена подкреплялась известностью репортера. Одно время Солоневич сотрудничает в суворинском «Новом времени».

Переворот 1917 года он оценивал однозначно, и оценка эта не изменилась до самой смерти. Она передана в диалоге, приведенном в его капитальном труде «Россия в концлагере»:

«— Так же, как и сейчас, я бессилен против человеческого сумасшествия.

— Революцию вы считаете сумасшествием?

— Я не вижу никаких оснований скрывать перед вами этой прискорбной точки зрения».

Да, он имел моральное право на такое собственное мнение. И не только потому, что 26-летним встретил «Великий Октябрь» и еще 17 лет жил в «России-концлагере», но и потому, что имел возможность объездить всю страну и, обладая живым, общительным характером, встречался-разговаривал с тысячами людей.

Революция застала Солоневича на юге России, где он стал свидетелем ужасов гражданской войны, в частности одесских расстрелов и знаменитой бойни, устроенной ЧК[2] (и «ЦК») в Киеве. Иван Лукьянович сотрудничает в белых газетах; вместе с Врангелем, в войсках которого погиб один из его двоюродных (?) братьев, эвакуируется в Турцию, но вынужденно, по семейным обстоятельствам, возвращается в Советскую Россию.

Неисправимый оптимист, талантливый спортивный организатор и журналист. Внешне жизнь Солоневича выглядит благополучной. Он сотрудничал с «Известиями», пишет брошюры-пособия по борьбе и гиревому спорту для милиции и даже войск ГПУ (одна из книг была конфискована), преподает на курсах комсостава милиции. Однако движет им отнюдь не лояльность к строю, который он не перестает считать каннибальским по отношению к русскому народу, а желание хоть как-то помочь физически выжить русским людям, попавшим в кабалу «мировой революции». Среди тех, кому помогал Иван Лукьянович,— «рабочие, надорванные непосильным трудом; студенты, изъеденные туберкулезом; служащие, очумелые от вечных перебросок и перестроек (! — *И. Д.*),— все это недоедающее, истрепанное, охваченное тем, что по официальному термину зовется советской изношенностью...» Владычество коммунистов (как «троцкистов», так и «сталинистов») над Россией «обеспечило» перманентный геноцид русского народа, и Солоневич пытается профессионально противостоять этой тупо-расчетливой «политике». Хотя и вполне сознает, что его на это просто не может «хватить».

Мысль об исходе из «социалистического рая» жила в Иване Лукьяновиче с того самого момента, когда раздался залп «Авроры»... Как только позволили обстоятельства и техническая подготовка, он попытался эту мысль реализовать. Первая попытка оказалась неудачной. Солоневич вместе с братом и сыном Юрой был захвачен с оружием в руках на пути в Финляндию. Целый вагон чекистов, наведенных провокатором, «ломал» троих великанов. Все получили по сроку. В зоне трогательно воспетого Горьким Беломорканала и проходит подготовка к новой попытке побега. Этому, собственно, и посвящена «Россия в концлагере» — эпический «доклад» о мотивах и подготовке побега.

Лагерные бараки были отвратительны, но «на воле я видал и похуже, и значительно похуже»,— пишет Иван Солоневич. В этом страшном в своей обличительной силе очерке он не жалуется на судьбу, не хнычет, не клевещет на Россию, как многие последующие лагерные литераторы. Он ставит диагноз, дает фотографию, потому что «для антисоветски настроенного читателя агитация не нужна, а советски настроенный все равно ничему не поверит.... Энтузиастов не убавишь, а умным нужна не агитация, а фотография». Здесь и мотивация побега: «Когда голодаешь этак по-ленински — долго и всерьез, вопрос о куске хлеба приобретает... унизительные высоты». И еще: «Когда у вас под угрозой револьвера требуют штаны — это еще терпимо. Но когда у вас под угрозой того же револьвера требуют, кроме штанов, еще и энтузиазма, жить становится вовсе невмоготу, захлестывает отвращение».

Иван Лукьянович с сыном Юрой бежал из Свирского лагеря в июне 1934 года, вскоре после выхода закона о непременном расстреле без суда за попытку бежать из страны. 250 верст по карельской тайге и болотам с тяжеленными рюкзаками за плечами двое Солоневичей преодолели за 16 суток. И в первый же вечер в Финляндии горькие думы приходят на ум. Ночь напролет курит старый спортсмен, глядя в сторону любимой родины, над которой кроваво-красными полотнищами алеет восход.

Однажды в лагере ему встретилась девочка, вся иссохшая от голода. Она жадно смотрела на то, как он выносит кастрюлю с замерзшим супом, а затем бросилась отогревать ее своим тщедушным тельцем. «Я стоял перед нею как пришибленный,— пишет Солоневич,— полный великого отвращения ко всему в мире, в том числе и к самому себе. Как это мы, взрослые люди России, тридцать миллионов мужчин, могли допустить до этого детей нашей страны? Как это мы не додрались до конца... Что помещики? Что капиталисты? Что профессора? Помещики — в Лондоне. Капиталисты — в наркомторге. Профессора — в академии. Без вилл и автомобилей, но живут. И вот на костях этого маленького скелетика, миллионов таких скелетиков, будет строиться социалистический рай... Вспомнилась фотография Ленина в позе Христа, окруженного детьми: «Не мешайте детям приходить ко мне». Какая подлость!»

Солоневич решает «додраться до конца» против лицемерной подлости, опутавшей его родину, которую ему больше не доведется увидеть. Распутать клубок вопросов, связанных с темой «почему не додрались», а главное, в простых и ясных словах выразить национальный идеал, замутненный упражнениями мириада литераторов и «приват-доцентов»,— вот, пожалуй, задачи, которые берется решать Иван Солоневич. И решает он их так, что только по прошествии многих лет сумела просочиться информация о нем и его работах на нашу многострадальную родину,— так было «заблокировано» само имя Солоневича. Как еще заблокированы имена Башилова, Криворотова, Краснова...

«Россия в концлагере» написана в 1938 году. Вышла тремя изданиями подряд. Была переведена на английский, французский, немецкий, шведский, голландский и другие европейские языки. И тем не менее замолчана. Слишком «Русью пахло». Слишком неотделим был автор от народа, который в очередной раз хотелось представить «рабом», «бездарным», «слабым», «погибшим». И слишком был он ясен, не в пример патентованным литераторам и публицистам, кормившимся, по всей видимости, не только Западом, но и НКВД.

София. Здесь Солоневич начинает издавать «Нашу газету». Она была настолько *наша*, что против нее ополчаются как эмигранты, так и советские спецслужбы. Три смертных приговора получает «по почте» Солоневич. Три покушения переживает. Первый номер «Нашей газеты» вышел 18 июня 1936 года. Через два года (3 февраля 1938-го) приходит посылка на имя Ивана Лукьяновича. Она попадает в руки его жены, Тамары Владимировны... Взрыв страшной силы унес жизни самого дорогого человека и сотрудника газеты Николая Михайлова. Чудом остались живы Юрий и сам Иван Лукьянович. Через *три* дня после похорон жены он пишет статью, в которой говорит о своем согласии с большевиками. Согласии в их оценке именно газеты Солоневичей как самого опасного врага для оккупантов его родины, выбравших жертвой не Мережковского да Бердяева, а именно его. Но вполне возможно, что посылку со взрывчаткой прислали по линии НТС. «Солидаристы» ненавидели Солоневича, пожалуй, не меньше НКВД.

Поначалу, когда Солоневичи делали доклад Зарубежью, как «прибывшие из стана врага разведчики», они никому не мешали. Спокойная жизнь за кофе, мемуарами, игрою в вист продолжалась.

Но среди двухмиллионной эмиграции были люди, которые оправдывали самое бытие эмиграции, сохранившие живую душу, неподдельную любовь к России. Те, кто не состоял или ушел из организаций, разочаровавших их своим трепом и бездействием, «программами» и «платформами» (как и нынче в патриотических движениях). Откликнулась молодежь, почувствовав подлинное. Эти-то люди и образовали «штабс-капитанское движение».

Когда рапорт о России был закончен, Иван Лукьянович поднял совершенно естественный и неизбежный вопрос: а что же делала все эти годы эмиграция? Что вы, господа хорошие, сделали вот за это время, когда мы, подсоветские, ежедневно и ежечасно вели там страшную, звериную борьбу за жизнь? Вот тогда-то на него и обрушилась брань. Обвинения одно другого нелепее, одно другого грубее и грязнее. Вчерашние «друзья» старались заполнить страницы своих и чужих, любезно предоставленных по этому случаю, газет самыми гнусными обвинениями. Но Солоневич и после этого не ушел в частную жизнь, а ведь только что похоронена жена. Он говорит откровенно, что вот с такими-то и такими-то идеями идти в Россию нельзя, что такие-то и такие-то люди неприемлемы там, что эмиграция обязана проснуться.

Призыв Солоневича, обращенный к «среднему слою», на который опирается всякая государственность, к слою, названному им «штабс-капитанами», был услышан. «Штабс-капитаны» веками строили наше государство, беззаветно и незаметно исполняя свой долг, они поняли, что Россия ждет от них результатов данной им судьбою двадцатилетней заграничной командировки.

Люди начинают объединяться. В разных странах возникают кружки. «Неорганизованная организация» объединяла стремящихся работать для России. Пополняют образование, избавляются от предрассудков, стремятся стать политическими эмигрантами, перестают быть просто обывателями.

Солоневич старается их объединить в «Земельный», «Педагогический» и другие центры «штабс-капитанского движения». Задачу ставит вполне определенную: освобожденная Россия должна получить тысячи исповедующих русскую национальную политическую идею агрономов, педагогов, священников, инженеров, врачей...

Идейное обеспечение предназначалось Солоневичем «Белой библиотеке», созда-

[2] Товарищ обер-прокурора Св. Синода Н. Д. Жевахов отмечал: «...кто знает еврейский язык, знает и то, что слово «чека» является не только сокращением слов «чрезвычайная комиссия», но на еврейском языке выражает «бойню для скота», то есть как раз отвечает понятиям Талмуда, рассматривающим каждого не-еврея, как животное...» Отсюда, кстати, ведет свое происхождение и название города Чикаго.

знаемой им и его ближайшими помощниками. Политическое кредо должна была выразить «Белая империя» — труд, к которому он приступил в конце 1930-х.

Мне в руки попалась статья из газеты «Наша страна» (7 августа 1938 года), подписанная псевдонимом «Галлиполиец К. Г.». В ней говорится как раз о переходе карнавального шествия прикрывшихся лозунгами людей, безликих фигур, бродивших среди растерянной эмиграции. Период — сродни нашему: одни программные бумажонки да мудреные расплывчатые идейки. Но вот когда в жизни эмиграции появился «великий бунтарь, демагог и разлагатель» Иван Солоневич со своими прямыми вопросами и без программок и идеек,— разразилась буря. «Кто он такой? — спрашивает «Галлиполиец».— Где его программа? Где идеология? Носители плакатов, пунктиков и параграфов попали в весьма затруднительное положение. В самом деле, что можно было отвечать этому «нахалу»? Что ему доказывать! Ведь если г-н Бердяев говорит, что национализм штука отвратительная, то г-н Тхоржевский может доказывать, что национализм, наоборот, штука весьма очаровательная. И при встрече с г-ном Бердяевым г-н Тхоржевский вежливо снимет шляпу, а если придется, то и разыграет с ним пульку. Но что вы ответите и как отнесетесь к человеку, который назвал вас идиотом, трусом или плутом? Какими пунктами и параграфами можно здесь оперировать?..

Грызня в эмиграции, конечно, дело не новое,— продолжает «Галлиполиец», словно он — участник иных наших патриотических «тусовок».— Но с участием И. Л. она приобрела другой смысл. Дело в том, что И. Л. не только ругался. Он предварительно обрисовывал типы зарубежных деятелей и, пользуясь своим исключительным по силе и оригинальности талантом, заставлял их оживать и двигаться. Он припирал их к стенке своими прямыми, ясными до беспощадности вопросами и заставлял выявлять свое истинное отношение к целому ряду явлений...»

Прервемся на минуту. Чтобы вполне представить себе тогдашний шок, смоделируем ситуацию на нынешних условиях. Представляете, появляется нахал, который говорит, например, следующее:

— Господин такой-то! Вы мое поколение агитировали «за коммунизм», а нынче, выйдя из партии, агитируете «против». И тогда и, естественно, теперь вы были и остаетесь, надо полагать, взрослым, ответственным за свои слова-дела, психически нормальным человеком. Не подлец ли вы? — Подлец.

— Господин такой-то! Вы возглавили такую-то организацию с названием и программой, привлекательной для честных, хоть и наивных, людей. Кроме трезвона, от вас ничего не исходит уже в главное для делания Дела время. Не провокатор ли вы? — Провокатор!

— Господин такой-то! Вас страна знала как честного и прямого человека. Вы заботитесь о том, чтобы известность ваша не спадала, — и молчите. Не трус ли вы? — Трус!

«...В ответ на вопросы Солоневича одни мычали, другие что-то бормотали, третьи просто ругались,— продолжает автор газеты, которую филологи-журналисты смогут изучать лишь при условии подлинного возрождения России.— Сильной бесцеремонной рукой вытаскивал И. Л. спрятавшиеся за плакатами фигурки и преподносил их во всей их натуральности рядовому эмигранту. И, лишь показавши таким образом, давал свое заключение.

Одновременно с этим И. Л. все более и более обнаруживал и свое собственное лицо. Свойство его литературного таланта таково, что, читая его статьи, вы слышите его голос, видите его улыбку, замечаете, когда он взволнован, когда устал, когда возмущен, когда доволен. К И. Л. нельзя было относиться как к писателю, политику или мыслителю. К нему можно было относиться только как к живому человеку. Объединиться с ним лишь на основании пунктиков, параграфов и идеек было невозможно. Он отбрасывал все это, подходил вплотную к тому, кто эти пунктики предлагал, и ставил в упор вопрос: «А что вы собою представляете, милостивый государь?»

Сам монархист, он обличает монархистов. Сам демократ, он обличает демократов. Его крылатая фраза «генералы бывают разные» — как нельзя лучше объясняет смысл его борьбы. Он ведет отбор по признаку внутреннего содержания человека. Монархисты для него тоже бывают разные. Демократы — тоже разные. Прикрыться фразой, лозунгом, программкой мало — нужно показать, кто ты такой.

После Софии была Германия. Предвоенная. Солоневич всеми силами пытался развеять мифы, призванные идеологически подготовить «блиц-криг» против «колосса на глиняных ногах — России». Но немецкие интеллектуалы лишь лукаво покачивали головами — и не верили. Фашистская профессура предпочитала верить русской литературе и русской историографии, с тевтонской любовью к документам, полагая, что именно в них — правда.

По мнению же Солоневича, «русскую психологию характеризуют не художественные вымыслы писателей, а реальные факты исторической жизни. Не Обломовы, а Дежневы, не Илюшины, а Минины, не Колупаевы, а Строгановы, не «непротивление злу», а Суворов, не «анархические наклонности русского народа», а его глубочайший и ширачайший во всей истории государственный инстинкт». То, что СССР — не Россия, что искусственные конструкции безпорной «государственности», направленной как раз на развал всякой государственности на территории России в угоду «мировой закулисе» (по выражению Ивана Ильина) или в угоду чуждому нашим широтам, но неумолимо агрессивному и размножающемуся этносу — явление не только не русское, но, наоборот, противорусское,— было убедительно показано и доказано Солоневичем в таких его работах, как «Великая фальшивка Февраля», «Диктатура импотентов» и «Диктатура слоя»

«Белая империя», начатая до войны в Софии, дописывалась после войны в Аргентине, превратившись в «Народную монархию». Труд получился настолько капитальным и убедительным, что «врата мирового признания», ему, впрочем, ненужные, оказались перед ним захлопнуты. Попутно заметим, что абсолютное молчание на Востоке и на Западе — это есть вернейший признак того, что доля истины в произведении явно превышает дозволенный мировыми манипуляторами общественного мнения предел. К таким книгам относятся и книги Б. Башилова, и «Войны темных сил» Маркова Второго, и произведения А. Шмакова, не говоря об архивных документах, занимающих изрядную часть в работах Роберта Вильтона[3] или советско-американских ДСП (литература для служебного пользования) по поводу вопросов, связанных с началом, существованием и концом «третьего рейха». Интересно, что начавшая у нас период перестройки и гласности (через Горбачева) Англия не торопится открыть архивы времен второй мировой войны, и даже архивы по делу о дуэли Пушкина и Дантеса! ...Ах, Запад, милый паразитический Запад, несравненный по цинизму в отношении России Запад, до каких пределов распространяется твоя холеная наглость!..

Разумеется, пересказывать «Народную монархию» — дело безнадежное, хотя остановиться на ней необходимо. Здесь содержится тот самый ясный взгляд на вещи, на русскую историю, которого нет и не может быть ни в официальных писаниях советского времени, ни в нынешней части патриотической печати (о явно противорусской и говорить не стоит), авторы которых не страхнули с уст своих формулы типа «рано еще», «не поймут», а то и «Ленин не так писал», «Маркс по-иному говорил». Как будто интеллигент Ленин, половину проведший за границей, хоть сколько-нибудь любил Россию; как будто Маркс знал лучше русского крестьянина, что тому нужно в географических пределах им же созданной державы!

Отрадно, что первую брешь в официальной прессе пробила «Молодая гвардия» (1989, № 6, 12), «Наш современник» (1990, № 5), газета МВД СССР «Ситуация» и «Русский вестник» (пробный номер). Еще более отрадно, что «Кубань» напечатала «Россию в концлагере» (1991, № 1—5), а издательство «Молодая гвардия» издало только что «Народную монархию». Даст Бог, выйдут «Великая фальшивка Февраля» и «Диктатура слоя». Но вот что интересно. Чуть ли не год лежит *заказанная* подборка материалов Солоневича в одной патриотической, но без «стеба», газете, «правой», так сказать; и столько же — записанная на пленку передача о нем на «левом» «Радио России», где выступали все — от Ю. А. Афанасьева до Нины Андреевой. Крайне характерно! Все многообразие мнений, вся полифоничность «патриотической» печати, и не только ее, имеют вполне зримые (и объяснимые) границы. За «пределом» как раз остаются те мысли и тот комплекс идей, которые только и составляют суть русской идеи в ее химически чистом виде, не «разбавленной» эклектикой и «с чем-то можно согласиться, с чем-то...».

В игры с нами играют, православные! Только полусамиздатские газетки-листки типа «Земщины» и терпимы нашим перестроечным Агитпропом, в сравнении с которым Геббельс — дитя. Причем этот изящный бойкот распространяется и на эмигрантские издания типа «Вече» или «Посева»...

И здесь мы подходим к трагедии Солоневича, да и всех по-настоящему правых, начиная с 60-х годов прошлого века.

Как и следовало ожидать, «Литературная Россия» в приложении своем «Русский рубеж» повторила старое обвинение Солоневича в работе на пользу фашистской Германии. Это — одна сторона. В Аргентине же ему устроили травлю «солидаристы» — вплоть до доносов в правительственные органы, в которых Иван Лукьянович значился как «агент КГБ».

Вот так, православные, и нас загоняют в коридор: или ЗА Сталина и коммунистический ренессанс, или ПРОТИВ Сталина и... против русской Державы, против истинного возрождения. Так — конц-лагерь, этак — лагерь-конц. Конечно, все больше людей, которые стали замечать грубую «упакованность» понятий, кто постепенно излечивается от духовного дальтонизма и скорее чувствует, нежели знает о ТРЕТЬЕМ ПУТИ. Да вот сорганизоваться такие люди пока не могут: и история содержится в искаженности, и противодействие со стороны «технологов гражданской войны» не столько велико, сколько изощренно. Фальшь эклектики чувствуется, особенно молодыми. Вот они и замкнулись. И как ни подзадоривают их большевики («коммунисты», «демократы» и «патриоты»), — не торопится наша мудрая молодежь на баррикады, в который-то раз за последний век. Нет пока у наших «штабс-капитанов» «Белой библиотеки», которая утвердила бы их в том, что хранит еще их генетическая память. И пока нет ее, они не станут принимать участие в навязанной игре. Успеют прозреть — выживом, не успеют...

Травили Солоневича беспощадно. Американский профессор Виктор Порфирьевич Петров, хорошо его знавший, расска-

---

[3] Башилов Б. История русского масонства. Т. I—VIII. Буэнос-Айрес; Марков Н. Е. Войны темных сил. Кн. 1—2. Париж, 1928—1930; Шмаков А. С. Свобода и евреи. М., 1906; Его же. Тайное международное правительство. М., 1912. Вильтон Р. Последние дни Романовых. Берлин, 1923.

зывает, насколько жесткий был устроен пресс из обвинений «солидаристов». Столь жесткий, что даже такой могучий человек, как Иван Лукьянович, вынужден был покинуть Аргентину. Но в Уругвае, где в те поры была сильна иная эмиграция — германская, клише «он — против Гитлера» сработало еще страшнее: Иван Лукьянович Солоневич в расцвете сил и творчества погибает при довольно загадочных обстоятельствах, в 1953 году, 62-х лет от роду.

Смеем предположить, что тайные пружины истории, скрытые от глаз стадно голосующих во всех уголках мира, соединены в нечто целое, независимо от внешних этикеток — «капитализм», «социализм» и прочих. Смеем предположить, что если из соображений поддержания престижа Берии в глазах Сталина вмериканцы отдали ему как главе атомного ведомства СССР секрет атомной бомбы; если перестройка с ее запрограммированным спадом началась аккурат в начале стагнации экономики Запада; если «русским защищаться запрещено» при любом генсеке и на любом континенте, то возможно и такое: Солоневича убрала внешне многоликая, но скрыто единая антирусская сила. Убрала как опасного политического деятеля, который не стал бы «играть в эти игры» и вывел бы на чистую воду антирусскую мразь, под каким бы обличием она ни пряталась. Почему именно антирусскую? Потому что дело возрождения России затрагивает интересы «мировой закулисы» самым прямым образом, и если учесть, что планы «перестройки» были готовы уже к тому времени, и если бы не «дело врачей», «засветившее» Берию, то он, а не А. Н. Яковлев и К^0, стал бы главным архитектором восьмой масонской провинции, именуемой «Россией» (См. Лонгинов. Новиков и московские мартинисты; М., 1867 и др.).

«Штабс-капитанское движение», потеряв своего лидера, потеряло многое, если не все: динамизм, перспективу, напор. Вот что значит лидер. Соответственно (мы это видим своими глазами), что значит его отсутствие. Понятно, что врагам России надо во что бы то ни стало не допустить появления такого лидера. Они и следят за тем, чтобы не «выскочил какой-нибудь», а на всякий случай подсовывают псевдогероев: или тупых, или хитрых, или больных, или знающих, что о прошлых грехах «кое-где» хорошо известно. Вот и вся недолга.

Но это, как и явная абсурдность парламентской системы в условиях России,— «от обратного» доказывает жизненную необходимость монархии. Народной, а не сословной. Самодержавной и освященной Православием, а не тиранической, узурпаторской. Наследственной, что гарантирует преемственность политики и материальную заинтересованность только во благе вверенной Богом Державы, а не конституционной, отдаваемой на потребу всегда подкупаемых парламентских фракций. Неограниченной, ибо органичить самодержца может только закон Божий, потому и отношения ктиторства между Царем и Церковью входят в понятие Самодержца: Царь «хранит веру православную» — Церковь предостерегает Помазанника от отступления от заповедей Христовых... «Диктатура слоя» печется о том, чтобы быть влиятельным посредником между народом и главой государства, заинтересована в том, чтобы он был как можно более уязвим и управляем. «Слой» же вот уже второй век создает с помощью «литературы» стойкое неприятие народом самой идеи монархии, и весьма в этом преуспел.

Нынче, в эпоху одичания и страсти попировать во время чумы, читатель сочтет эти рассуждения бредом или пустой абстракцией, хотя, быть может, от того, насколько серьезно он воспримет идею монархии, зависит, быть ему, читателю и его детям, или не быть.

Конечно, все это сегодня «далеко». Но кто не ощущает, что и выздоровление «больного человека» — нашего общества — так же далеко? Что поделаешь. Однако чем усерднее мы отталкиваем лекарства, тем меньше шансов выздороветь. Еще меньше.

Для того, чтобы в Державе нашей восстановился мир, нужны годы. Потому что многое нужно: вспомнить добросовестно, покаяться искренне, обрести чутье зла и чутье добра и, пребывая во образе Божием, а не в дьявольском уже, сосредоточиться и избрать от среды своей Хозяина Земли Русской, обеспечив при этом безопасность границ, ибо сильная Россия страшна Западу, а сильнее России с Царем в Москве быть ничего не может.

Все это требует титанических усилий. Надо перестать быть бесполыми существами, надо остановить деградацию народа, надо... Но и несмотря на то, что многое надо — аж руки опускаются,— мы — Дом Богородицы — ближе к Небу, нежели все наши западные «друзья». И ОНИ ЭТО ПОНИМАЮТ! Отсюда — смесь презрения и почтения, подавляемых жалости и восторга, смесь животного страха перед неизбежным НАКАЗАНИЕМ и любопытства к судьбе народа духовного.

Вот они и убивают Солоневича. Скоро жалеть начнут, умники...

Остается добавить немногое.

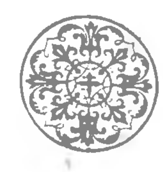
Род Солоневича в России не пресекся. И не только в фигуральном, «штабс-капитанском», смысле, но и в прямом.

Иван и Борис, как сказано выше, были сыновьями Лукьяна Солоневича от первого брака. Во втором же браке у него появляются дети: Евгений, София (1909—1973), Зинаида (1915), Любовь (1920). В 1920—1930 годах семья переезжает на Кавказ — жили в Гудауте, Поти, Гагре. К тому времени умерла и вторая жена Лукьяна Михайловича, прокормить семью было очень трудно, питались дикими фруктами и каштанами. Софья, как старшая, обстирывала и кормила семью, ухаживала за больным отцом. В Ялте, куда затем перебралась семья, нашли старый, но добротный дом, который сохранился по сей день и в котором даже живут соседи, помнящие Солоневичей.

В 1938 году братья Солоневичи, прекрасно зная о том, как бедствует семья, то ли «подали весть» о себе, то ли переправили посылку с продуктами, что обнаружилось. И семья была разобщена и выслана в Сибирь. ГУЛАГ поглотил безвозвратно Лукьяна Михайловича с сыном Евгением — в лагере где-то у Северо-Енисейска.

София (в семье ее звали Мирой) после замужества сохранила «опасную» девичью фамилию. В Братске у нее родился сын Владимир (потерялся 28 лет в тайге в 1967 году). В Бодайбо в 1950 году родился второй сын — Владислав, который и поведал мне о горькой судьбе «советских» Солоневичей. У него — двое сыновей (15 и 10 лет). Владислав Андреевич пишет: «не верю в добрые перемены, не верю ни одному лидеру». Судя по наследственной, видимо, крепости слога, «последовательные марксисты» и у него в печенках сидят, как и у многих «штабс-капитанов» — «умных, честных, ответственных людей, таких, как Иван Лукьянович Солоневич». Его письмо из далекого, как Аргентина, Мирного, исполнено гордостью и горечью: сколько изломанных судеб в одном только роде простых русских людей! Ведь две сестры Ивана Солоневича живы — а я вот ни имен их, ни адреса написать не могу. И они — напишут ли, не знаю. Вряд ли. Боятся. «Страна и сейчас еще представляет собой большой ГУЛАГ»,— пишет беспартийный 40-летний горный инженер Солоневич, как писал, не зная его и незнаемый им русский писатель и родной дядя Иван Солоневич.

А «штабс-капитанское движение» еще выдвинет своих генералов. Хотя не будем забывать: «Генералы бывают разные».



Круг чтения

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

ВТОРОЕ УТРО

Как закружилась мысль! — всякую малость на время профанируешь, и все уже, кажется, сорвано с пути. Стою вот на крыльце, слушаю, как за озером все пытается и не может набрать силы соловей (холодно, и он принимается так и этак, но никак не выйдет за три-четыре колена и, конфузясь, пробует начать снова); слушаю и невпопад думаю, что вот и соловьи русские сбились с голоса и уже, наверно, не помнят несчетных прежних песен, который так недавно потрясали русское сердце. Глупо, конечно, но мысль-то только зацепилась за соловья, а семечко ее лежит в избе в оставленных на столе стихах Геннадия Ступина. Что-то в усталой песне соловья (хотя подумать, какая усталость: начало мая — только бы и ударить во всю силу) сдвоилось с мыслью о книге. И я читаю, читаю, слушаю.

Все вроде знакомо, стихи известные, многое прежде читал. А будто и по-другому все, с новой трещиной, с явным чувством пути и итога. И итога не одной ступинской судьбы, а как-то через него и всей «тихой лирики», которая недавно всеобще была любима русским читателем, а теперь чуть не нарочито не поминается, словно и не было в нашей поэзии этой прекрасной, потребной душе ветви. Все они, чудные эти поэты — Рубцов ли, Прасолов, великий ли их предшественник Есенин, крепкие ли рядовые мастера этой школы (в каждой области свои, в одной Вологде целая плеяда: Коротаев, Романов, Сопин, Карачев) — все люди близкой судьбы и все могли согласно вздохнуть, прочитав у Ступина:

Так легко
И с таною большою надеждой уехав,
Всё и всюду прошел он —
Нигде ничего не нашел.
Лишь все звонче он пел и рыдал,
Уже собственным эхом,
Всё о том,
Как в степном захолустье светло,
хорошо.
Врал, конечно,
И врать никогда уже не перестанет,
Ослепленный с рожденья
Безответной любовью своей.
И за это когда-нибудь

Признан столицею станет
Самородком чистейших
Степных черноземных кровей.

Признаны столицей были не все, но добрым расположением читателей не был обойден никто. Может, не всегда за собственные достоинства поэта — порой больше за общность судьбы, потому что и читатель успел уехать из родного дома со своей собственной «большой надеждой», и так же печаловался и рвался назад, но уже не помнил дороги. А оттого, что целая страна была стронута, то и аудитория была велика и благодарна. И печаль подлинно была еще печалью, а не тоской, потому что ни мы сами, ни Россия еще не чувствовали необратимости утраты. По широте нашей и неисчерпаемости все казалось — пускай, не убудет...

Как безмерно щедра ты,
Моя золотая равнина!
Испокон посылая
Самых верных своих сыновей
На погибель иль славу
В любую лихую чужбину,
Ни об их не печалясь,
Ни о собственной доле своей...

А не печалились родина и мы сами потому, что все казалось, что словцо «чужбина» только для рифмы ввернуто, а уходим мы из отчих мест в свою же, только более удачливую землю. Это потом, спустя годы, когда прижмет, как сейчас, нам хватит ума догадаться, что в русских песнях «чужбиной» и соседнее село могло быть, потому что без родных могил и родной речной излуки, где еще деды коней поили, человек уже будто и не совсем полон, и пока в детях прилепится и обживется и войдет в почву, много воды и печали уйдет и в песнях выплачется. И это при том, что человек оставался в родной церкви, в родной традиции, в общем празднике и едином быте. А что уж говорить, когда позднее мы разъезжались в иноверные и вовсе безверные края, в чужие глазу и уму пространства, где и язык был чужой. Рано или поздно и родина, и ее непоседливые дети должны были спохватиться и задуматься «о собственной доле своей». Впрочем, это уж так, к слову.

Так мы далеко от «тихой лирики» уйдем. Лучше от сборника-то ступинского не отступать.

Я думаю, благодарность читателей объяснялась и не только общностью судьбы, и не одним освобождающим восклицанием «вот и у меня!», а более всего тем, что невольная свобода, оторванность от порядка жизни давала поэтам возможность внезапно полно увидеть оставленный угол земли. Они словно подставляли к привычному миру увеличительное стекло, и читатель, прозревая, понимал оставленное как свою врачующую, восстанавливающую сердце часть, терпеливую отчину, к которой всегда можно прийти в смятенный час и знать, что, как евангельский блудный сын, будешь принят с любовью. Следом за поэтом читатель остро сознавал родину не отвлеченным понятием, а живой, слитой с ним душой, сыновство свое чувствовал и уже без страха глядел в темное дно жизни, зная, куда отступить за помощью, когда подойдет край. Вот, к примеру, Ступин останавливается в смятении:

Гляну назад — и глаза отведу,
Гляну вперед — не видать ничего...

Ох, знакомое это состоянье! Как при перехваченном дыханье: и выдохнуть нет сил, и вздохнуть не выходит; минувшее стыдно, грядущее — темно, и от стыда минувшего уже и не посветлеет. Одно в этих случаях исцеленье — хватай шапку и куда глаза глядят — на реку, в лес, в поле. На простор под родное небо, и вперед, вперед без всякой думы до полной усталости, и непременно наступит мгновенье, когда еще с опаской поднимешь глаза, а

Камень с души под ногами лежит;
Мудрые стерты на нем письмена.
И в вышине жаворонок блажит —
Ныне, и присно, во все времена!

(только разве письмена стерты не мудрые — такие бы и стирать не следовало, а мудреные, темные, сталкивающие душу в отчаянье и бессилие).

Так они все (и мы за ними) снова слово по слову к милой Родине прилеплялись. И какие великие поэтические открытия были сделаны, какие чудеса высмотрены в самой бедной земле, в избе с провалившейся крышей, в речушке шириной в воробьиный скок, в заросших ольхой полях — во всем, насквозь изсмотренном Божьем мире, где как будто и глазу-то зацепиться не за что, не то что предметы поэзии находить.

Ни причины, ни повода нет
Для того, чтоб писать стихи.
Только неба рассеянный свет
Да поля, белы и тихи.
Да чернеет лес не вдали
Поперек моего пути,
Небеса и поля разделив,
Одинаковые почти...

И сколько света плеснулось в души с тех прозрачных, щемяще-нежных страниц, как мы научились прозревать этот свет даже в самом одиночестве и страдании, в горьком счастье видеть свой оставленный дом, в который нам уже не было возврата.

Счастлив я, счастлив! Хотя мне и больно,
Счастлив, хотя и умру.

Сладки мне были земные страданья,
Снова я все их пройду,
Только бы длилось и длилось свиданье,
И ожидание, и гаданье
На падающую звезду.

Драгоценность этого лирического открытия была в том, что мы от ложного, снимающего нас с места романтического заемного верхоглядства приходили к постижению именно своего духовного мира, русского человека в себе открывали. Это, наверно, странновато звучит, но это так. Мы ведь в детстве были больше книжными, школьно-идеологическими детьми, на плакатах и песнях росли (даже в деревне, и, может, особенно в деревне) и свое коренное уже сами, ебившись о жизнь, открывали, радуясь, что Родина мимо призывов крепла да крепла где-то сбоку, втихомолку в нашей душе, уверенная, что мы опамятуемся. Поэзия называла это наше молчаливое, томительно немое знание единственно верными, простыми словами, сама словно боясь задеть тайную тишину чувства, и мы слушали и не могли наслушаться.

Печь гудит, молчит вода...
Заварю покрепче чаю,
И горит в окне звезда,
Если света не включаю.

И не чувствует себя,
Вечность целую осиля,
Ясная моя судьба —
Этот лес, зима, Россия.

По существу, именно с деревенской прозой и «тихой лирикой» мы и очнулись опять русскими людьми и вспомнили то неназываемое чувство, которое никуда не девалось, но было словно заслонено общими словами, — чувство таинственной призванности. Вот опять рискуешь накликать обвинение в избранничестве. Да не об этом речь! Речь о той особенности миропонимания русского человека, которая брезжит только в русской поэзии. Эту особенность трудно определить — увязнешь в приблизительности. Хорошо было Розанову говорить: «Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком... И всё понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя с иностранцем». А попробуй словом назови. Мне кажется, что эта тайна начинается с той поры, как русский человек сталкивается с понятием или явлением смерти. И одна лично близкая смерть может многое пробудить в человеке, а тут проза и поэзия как-то бессознательно почувствовали приближение смерти целого народа. Никто об этом не говорил, но теперь-то видно, что все жадное осматривание недавнего деревенского минувшего нашей прозой и все пристальное прочитывание повседневности в «тихой лирике» диктовалось именно предчувствием утраты, сознанием близящейся непоправимости. Кажется, вот-вот мы готовы были проснуться «советскими людьми» со всей прагматической простотой материалистического сознания, без родных, скрепляющих народную душу тайн. И это сама русская душа кинулась защищаться. Поэт воспринял общее угасание как личную смерть и вздрогнул.

И смерть слепа и неотступна,
А жизнь случайна и кратка...

Чувство это понятно, но, слава Богу, пока преждевременное. С точки зрения повседневного общественного сознания, вроде все было и так, но сам белый свет, сама Россия, сама еще неизжитая память говорила о поспешности такого вывода. Поэт еще и раньше спрашивал: «Ужели и впрямь год от года сечется бессмертия нить?» — но сам вопрос обнаруживал, что смерти рано праздновать победу. В вопросе звучала уверенность в естественности бессмертия, и смущало только, что оно, как шагреневая кожа, начало сокращаться. Смущало, что человек оказывался словно разлучен с вечностью, оторван от нее, и его слишком настойчиво убеждают в самодостаточности и исчерпанности того мира, что перед глазами. «Есть отчего мне быть угрюмым: «я, смертный, вечный вижу свет!» — смущался Ступин, не умея согласить этого видения вечного света с неизбежной конечностью жизни, пустою ненужностью ослепшего быта. Как это так — чутьем помнить вечность, знать душой, почти опытным знанием о ее живом содержании, и при этом быть, по утвержденному вокруг закону, только смертным, разовым человеком? Что-то не сходилось, ведь «этот лес, зима, Россия» были в нем, а они вечны,— куда же отчислялся он? И так ли действительно скуден день и так ли пуста и бессодержательна жизнь, если так полна теснящаяся в душе природа? И поэт вместе с товарищами по поэзии и прозе глядит, глядит в лицо мира и неизбежно постигает

За всем за этим явно что-то есть,
Что недоступно никакому глазу, —
Смысл некий, перед коим слеп мой разум,
И потому мне взгляда не отвесть.

Хотя бы на мгновенье посмотреть!
Тогда пускай и смерть, она всё ближе.
...Но если вдруг лишь то и есть,
что вижу,
И всё, и больше ничего, и смерть.

Но это уже полуриторический вопрос, уже только нарочитое переспрашиванье себя, чтобы окончательно убедиться в открывшейся и теперь навсегда не изменяющей уверенности

Больше и дольше меня
Всё, чем владею случайно.

Это тоже была общая догадка «тихих поэтов», и с нею они делались слышнее России и увереннее. Смерть никуда не уходила но переставала быть страшна, потому что они почувствовали самое освободительное — чувство единства с родной землей и со всем и самым малым делом на ней. Они как бы вошли в порядок ее рассветов, ее туманов, ее тихих дождей над пустыми полями, ее высоких облаков и долгих сумерек. И как странно и близко у каждого (хоть специальную статью пиши) загорается ввечеру звезда, как общий символ, знак поколения — вроде каждому она светит наособицу, но и одна на всю Россию. Смерть словно с досады будет особенно гнать их и многих настигнет молодыми, но уже будет бессильна.

Иному не дано двух жизней.
Сердце плачет, а разум глядит.
Где звезда моя над отчизной
Одиноко и тихо горит...

Каждый из них напишет свой «Памятник» или его попытку, и опять в этом будет не самовольство, не безосновательное притязание, а тем же сродством с землей дарованное ощущение своей уместности на земле, явной призванности. Вот это немое слово общности, любви и единства будет исхода искать, проситься в сознание, «Сердце плачет, а разум глядит», и глядит, чтобы найти равное плачу выражение, разрешение немоты, потому что все кажется, что назовешь — и развяжется какой-то злой узел, чары падут, и опять Россия будет полна и свободна.

Мне затем умереть не дано,
Пусть хоть завтра внезапно умру,
Что заветное слово дано
На чумном вавилонском пиру.

Этим словом, как злаком, пронзен,
Прах я — жизни и смерти мне нет...

И если все-таки не выразили, то потому, что были невольниками времени и идеи, были отгорожены от живого корня и прививались к России не через предание, не через родную веру, а только через ее красоту, полноту молчания, через ее властный простор (то есть то, чего отнять было нельзя) и отразившуюся в человеке тайну. Евангельское слово, ставшее в народе плотью России и так верно узнанное Тютчевым: «Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил благословляя»,— пробивалось в стихах тайной подсказкой, как вот в этом ступинском — «этим словом, как злаком, пронзен» (где так ясна притча Христа о зерне, которое, не умерев, не воскреснет), но они, слыша подсказку, не решались развернуть ее в полноцветную мысль, опасаясь исказить глубину оригинала.

Они оставляли «чужой вавилонский пир», уходя и увлекая с собой читателей в забытую, но все живую Россию, и чувствовали в себе силы необъятные, но кончали неизменно печалью, уже соскальзывающей в тоску, потому что, ясно видя, куда им надо вернуться, они словно никак не могли найти дверь, и так и оставались «по эту сторону» с медленно отмирающим сердцем, разорванном неприменеными силами.

Сердце плачет, не могу пошевелиться.
Дом мой рядом — не могу пойти домой.
Все сбылось, и ничему уже не сбыться —
Я вернулся, но вернулся неживой.

И опять это было не у одного Ступина. Но у него в этом итоговом сборнике так ярко, так грозно и предостерегающе. Невозможно предположить, как бы развивалась эта ветвь поэзии и дар Ступина в обманчиво ровные неживые дни. Может быть, так и сошла бы на нет в верных, но медленно утрачивающих жизнь словах, и кончил бы он или немотой, или, как, увы, многие тогда — наклонным русским существованием. Но время повернулось как раз тогда, когда он почувствовал готовность к «заветному слову», понял власть совершенной простоты, когда начал биться «над строчкой одной, чтобы смысл простой просиял». И опасность пришла с неожиданной сторонцы. Прежняя слиянность с чудом простого дня внезапно ослабла, живое объятие разомкнулось, и зазмеилась по сердцу трещина, словно все вскипевшие вокруг Родины споры оторвали ее и от нас, и от поэта. И вот Родина стоит в стороне, глядя на вчера почти немых, но милых сердцу, а теперь на таких умных, злых, все умеющих назвать, но надсаженных в крике детей. И поэту уже надо делать усилие, чтобы вернуть прежнюю общность, уже надо убеждать себя и ее, и вместо желанной простоты в усилии уже чуть более должного наряжать словарь.

О мои темные лес и вода,
О моя матерь-земля...

Втуне ночной упоительный воздух,
Втуне алмазные россыпи звезд
И голубая луна...
Только друг с другом обрящем мы отдых
От безысходных сомнений и слез
И исцелимся сполна.

Но трещина все ширится, доверие к слову и к стоящей за ним правде оказывается не то что подорвано, а как будто подвергнуто чуть заметному сомнению. Ища простоты, поэт вместе с тем опасается простого чувства, живой неоглядчивой любви. Россия уходит из сердца, сменяясь ее остраненным знаком. Всякий холм, река, степь, птица уже поселяются не в сердце, а в сознании, и, теряя бедную, но великую единичность, надевают тяжелое платье символа и уже не находят отклика в читательском сердце. На место простоты является просторечная небрежность, уличная сорность, газетная неопрятность.

Сплошная грязь, и скользь, и мреть —
Для «кразов» только, что здесь тройка.
И остается лишь смотреть:
Сплошная в мире перестройка.

Подумаешь даже — тот ли это поэт, умевший слышать неслышное, видеть незримое. Неужели вся чудесно ясная речь, уже ведомая ему, растила его мысль для того, чтобы потом употребляться на такие скудости сиюминутного раздражения:

Не заморочит нас опять
Зело гораздое орать
Какое-нибудь чудо-юдо,
Приплывшее невесть откуда.

Это ли искомая простота? Это ли «заветное слово»? Не стоило и силы тратить. В урок простоты довольно один лист пушкинской рукописи, не читаемый от правки, посмотреть, чтобы не называть этим высоким словом слишком легко и необеспеченно вырывающиеся восклицания агитационной, плакатной бедности, которая никого никогда не устрашала и не устыжала, а вот поэтов могла изводить подчистую, до полного онемения,— слово не прощает измены.

То на безвременье России,
Из сумрачных ее теней
Явились новые мессии
На новую погибель ей.

Витийствуют, меняя снова
Отечество на целый свет
И отрекаясь от былого, —
Им ничего святого нет.

Неистовствуют ради власти,
Заведомо обречены...

Хотелось бы верить, что обречены, но если мы будем встречать противников России такими стихами, то вполне уравняемся с ними в пустоте и тщетности средств, а то и уступим, потому что в низком словаре оппоненты всегда изобретательнее и только ждут искушающего повода доказать это, выверяя свой пошло-утонченный инструментарий в арбатском поэтическом бесстыдстве.

Конечно, легко понять человеческий срыв раздосадованного поэта. Есть минуты, когда не до выбора средств. Это даже очень по-русски: схватил что попало — и на противника, тем более когда на твоих глазах все соскальзывает на ту ступень, где «и ниже выбитой травы родимый дух земли бессмертной, и выше пушкинской главы язык закусочной всесветной», но это понятно в молодые лета, а уж в охлажденные дни слово надо слушать с большей ответственностью и простоту искать не в уличном мусоре потерявшей себя речи, а в родной традиции, которая для противников страшнее прямой брани, а для сторонников стоительнее самых благих и хорошо рифмованных призываний. Повторяю, понять поэта можно, но для русской традиции лучше и справедливее «не понять», чтобы опять поэзия не искушалась приравниванием «пера к штыку», чтобы не меркла такая внешне далекая от живой борьбы дня, но на деле такая сильная и при всех потрясениях общества ровно светящая мудрость пушкинского правила выбираться из общественного смятения при помощи не роняющей себя музы («поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня...»), при помощи тургеневского обыкновения опираться на спасительную полноту родного языка («во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины...»). Тем более что весь предыдущий опыт Ступина говорит о мужественной свободе, с которой он умел проходить и более тесные времена.

...А за озером как-то разом склонилась тяжелая глухая тьма, как в осень, вяло и угрожающе свинцовым валом стеснила небо снеговая туча. Лес придавленно притих и робко сомкнулся. Сверху вдруг прочистился клочок совершенно ясного неба, словно тьма просто сползла с него и резко и чисто заиграла звезда. Соловей, так и не приноровившись, смолк. Вполне может статься, что ночью пойдет снег...

Псков.

Поздравляем Геннадия СТУПИНА
с его достойным пятидесятилетием.
Редколлегия.

В. РУДИНСКИЙ

ПОЕЗД НЕ В ТУ СТОРОНУ

В этом году исполнилось пятьдесят лет со дня смерти выдающейся русской поэтессы Марины ЦВЕТАЕВОЙ. Литературный критик В. Рудинский, живущий в Париже и сотрудничающий в журнале патриотической ориентации «Русское зарубежье» (Мюнхен), прислал нам свои размышления о жизни и творчестве М. ЦВЕТАЕВОЙ.

Когда пытаешься установить политические и религиозные взгляды Марины Цветаевой, сразу оказываешься перед глухой стеной. Оставившие о ней воспоминания — почти сплошь люди крайне левых, а то и хуже еще — просоветских убеждений. Понятно, что они или сознательно, или по меньшей мере подсознательно придают ей те черты, которые им самим свойственны.

К числу наиболее ценных и важных мемуаристов принадлежит в данной области М. Слоним. Он был долголетним знакомым и даже близким другом поэтессы, с которой его объединяли общие литературные интересы и сравнительно сходный культурный уровень.

Но вот именно от него идет подчеркиваемое им с явным удовольствием утверждение, будто у Цветаевой вообще не было, мол, политических мировоззрений. Вполне возможно, что она подобную фразу перед ним и произнесла; однако существенно рассмотреть, при каких обстоятельствах.

Они встретились в Берлине. Он приехал на время из Чехословакии, где жил ее муж и куда она сама собиралась перебраться. Ей он, видимо, показался интересным и симпатичным человеком, а главное — он мог ей рассказать достоверно и подробно о стране, где ей предстояло жить. А тут еще он ей сделал не лишенное для нее значения предложение сотрудничать у него в журнале!

Удивительно ли, что Марине Ивановне не хотелось с ним вступать в спор о политике, грозивший с места в карьер испортить отношения? Что и лежало скорее всего в основе ее, произнесенных «скороговоркой», слов:

— Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней...

Опять-таки: какой конкретно смысл она вкладывала в это высказывание? Трезвый анализ говорит, что следующий: что она не принадлежит формально ни к одной из политических группировок и не связана никакими параграфами устава или программы; а сохраняет за собою право говорить и действовать, как ей сердце и разум подскажут. Что, само собой, никак не означает аполитичности; даже наоборот, — так может выражаться всякий человек, имеющий сильные и определенные мнения в сфере политики.

Могут возразить, что Цветаева нелегко шла на компромиссы и никогда не колебалась отстаивать свои убеждения. Все так; да ведь — в известных пределах! В данной же ситуации застаивать на разногласиях с любезным и потенциально полезным собеседником могло ей представляться не только непрактичным, но и просто нетактичным.

Другая же фраза, гораздо более поздняя, относящаяся к 1936 году, тоже зафиксированная Слонимом, — еще более двусмысленна; или, собственно говоря, вовсе как раз недвусмысленна.

Речь шла о ее поэме про гибель царской семьи, о коей Слоним заявлял, что если бы и согласился ее опубликовать в своей «Воле России», то только с примечаниями от имени редакции.

Марина Ивановна пожала плечами: «Но ведь всем известно, что я не монархистка, меня и Сергея Яковлевича теперь обвиняют в большевизме».

Глубокая горечь, вызванная непониманием ее истинных чувств со стороны правых кругов русского зарубежья, явственно глаголет ее устами. Многим из нас случалось то же самое переживать перед лицом тупости и враждебности закостеневших в узких предрассудках элементов старой эмиграции.

Само же сотрудничество в «Воле России», многолетнее и прочное, представляло собою поистине палку о двух концах. Отдадим Слониму и его товарищам эсерам должное: они печатали то, что Цветаева им давала, не переделывая и не требуя исправлений. Вероятно, она им и предлагала только то, что могло им подойти. Во всяком случае налицо была немалая разница с «Современными Записками», где Цветаева натыкалась на жесткую цензуру, притом же до крайности пристрастную и неумную. Однако вот мы знаем, что «Перекоп» Слоним все же не принял.

Он «считал, что это слабая вещь», — оправдывается он. Если считал искренне, то сие не делает чести его литературному вкусу. По справедливости — это одна из вершин цветаевского творчества.

Что до суждений сестры Аси и дочки Али, то к ним надо подходить cum grano salis[1]. О них, впрочем, как о других, писавших в СССР, следует сделать оговорку; они могли иной раз искажать картину из самых добрых побуждений. Стараясь приблизить Марину к советскому стандарту, они руководствовались, быть может, желанием сделать ее проходимой для большевистской печати, добиться снятия табу с ее имени, отмены отвержения ее в целом как эмигрантки, белогвардейки или контрреволюционерки. При этом всем известно, главная забота Али всегда была обелить память отца, и этой цели она нередко жертвовала объективностью касательно матери.

Безусловно не стоит придавать серьезного веса, как бы подсоветские биографы того ни подчеркивали, факту, что 13-летняя Марина, наслушавшись взрослых, увлекалась революцией 1905 года. Напомним в качестве курьеза: известно ведь, что Гумилев, будучи гимназистом, склонялся один момент к социализму, а Владимир Соловьев пережил в юности период пламенного атеизма. Такие кризисы в детстве и в отрочестве переживаются сплошь и рядом даже обыкновенными людьми, а выдающимися — и того чаще.

Не годится делать ложные выводы и из восторженных отзывов Цветаевой о Маяковском и о Пастернаке, ее притяжение к ним носило *профессиональный* характер (представляло ли оно собою положительный фактор — иной вопрос; мы-то бы скорее согласились с мнением Карабчиевского, что отрицательный). Тогда как в политическом разрезе с Маяковским она расходилась радикальным образом. Слова на его выступлении в Париже «Сила там!» значили на деле (как совершенно правильно комментирует Слоним), что правда в противовес силе — у белых, а не у красных. А самая идея поэмы о царской семье зародилась первоначально у нее в отпор на стихотворение ее советского собрата «Император». О политических же идеях Пастернака вряд ли стоит толковать; каковы бы они ни были, на Цветаеву они, бесспорно, не влияли.

При наличии противоречивых и сумбурных свидетельств обратимся к самому надежному и осведомленному очевидцу и хроникеру — самой Марине Ивановне Цветаевой.

В 1921 году в Москве, перед красными курсантами, она читает с эстрады стихи со словами:

Да, ура! За царя! Ура!

Трудно поверить, чтобы такое опасное высказывание производилось ею из одной бравады. Почему бы не предположить нечто гораздо более правдоподобное — что она руководствовалась искренним чувством?

Уточним, что описанному выше «вечеру поэтесс» предшествовала такая вот беседа между будущими участницами, Цветаевой и Аделиной Адалис, спрашивающей: «Будете ли вы читать... со мной и Радловой?» — «Коммунистки?» — «Ну, женский коммунизм...» — «Согласна, что мужской монархизм лучше».

Тут уж точки и вовсе поставлены над «i».

Однако поэтесса еще яснее определила свое политическое кредо в «Лебедином стане»:

> **Царь с небес на престол взведен:**
> **Это чисто как снег и сон.**
> **Царь опять на престол взойдет, —**
> **Это свято как кровь и пот.**

Мало того, в стихах, принадлежащих эпохе между отречением Государя и гибелью всей императорской семьи, она формулирует с полной четкостью принцип легитимизма: «Le roi est mort, vive le roi!»[2]:

> **За царевича младого Алексия,**
> **Помолись, церковная Россия!**

Этого бы и довольно. Но приведем еще рассказ о диалоге с Андреем Белым в Берлине:

«В первый раз войдя в мою комнату в Prager Pension'е, Белый на столе увидел — вернее, стола не увидел, ибо весь он был покрыт фотографиями Царской Семьи, — Наследника всех возрастов, четырех Великих Княжен, различно сгруппированных, как цветы в дворцовых вазах, матери, отца...

И он, наклоняясь:

— Вы это... любите?

Беря в руки Великих Княжен:

— Какие милые... Милые, милые, милые...

И с каким-то надрывом:

— Люблю тот мир!»

Так что тут мы имеем дело не с минутными, не с преходящими порывами, а с мировоззрением и умонастроением, которые Марина Ивановна пронесла через все свое существование.

Последняя ее большая поэма, как мы и констатировали выше, посвящалась мученической кончине Государя Николая Александровича, его жены и детей. Чьи-то коварные руки устроили так, что данное произведение до нас не дошло. Тяжелый, непоправимый урон для русской поэзии, для российской словесности в целом!..

Если для создания фальшивого политического образа Цветаевой используются какие-то (вопрос, насколько достоверные) ее высказывания в 13 лет, для столь же ложного религиозного ее образа пускают в ход письмо к Розанову в 20 лет, где она объявляет о своем неверии. Но разве это убедительно? Через искушения в этом роде прошли многие люди, позже неоспоримо доказавшие свою веру. Легко понять, что в те годы она находилась в становлении и еще не выработала конечных своих идеалов. Да и стояла она тогда только на пороге тяжелых испытаний, определивших формирование ее внутреннего мира.

В pendant юношеским ее сомнениям, процитируем отрывок из дневника по-

---

[1] С крупинкой соли (лат.). — Ред.

[2] «Король мертв, да здравствует король!» (фр.). — Ред.

следнего года жизни Цветаевой, незадолго до смерти:

«С Богом! (или) — Господи, дай! — так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый мой, даже самый жалкий, перевод (Франко, например)... Верующая? — Нет. — Знающая из опыта... Я никогда не просила у Бога рифмы (это — *мое* дело), я просила у Бога — силы найти *ее*, *силы на это мучение*. Не: — Дай, Господи, рифму! а — Дай Господи, силы найти эту рифму, силы — на эту муку. И это мне Бог — давал, подавал».

И это слова не для публики, а для самой себя. Зачем бы тут лгать?

Впрочем, упоминания о Боге, — и прежде всего в связи с самым ей дорогим, с поэтическим творчеством, — проскальзывают у Марины постоянно.

Даже по поводу переписки с друзьями она роняет, что, собственно говоря, адресуется «поверх их голов — Богу или, по крайней мере — ангелам».

Да и трактат ее «Искусство при свете совести» посвящен, по сути дела, вопросу об отношении между поэтом и Богом.

Изумления достойно, как сумел Н. Струве приписать ей атеизм и, того больше, равнодушие к религии?

Правда, Слоним отмечает, что она избегала дискуссий о богословии. Но, во-первых, с кем? С эсерами и левыми интеллигентами, в основном неверующими? Нетрудно взвесить, что такие споры обернулись бы и неприятными, и бесполезными. Да и вообще для многих людей тяжело бывает обсуждать с посторонними те или иные стороны своего внутреннего мира.

Есть свидетельства, что в Чехословакии Цветаева истово посещала церковь и соблюдала все обряды. А для чего бы ей это было нужно, — не имей она внутренней к тому потребности, — в среде левой интеллигенции, где равнодушие к вере никого бы не удивило и нисколько бы не скандализировало?

О более поздних годах у нас с этой стороны нет сведений (а любопытно бы). Но мы ведь и не ставили себе задачей доказать строгое обрядоверие Марины Ивановны, а лишь ее общую веру в Бога, которая, возможно, носила характер свободный и индивидуальный. А вот что она не была ни неверующей, ни равнодушной к религии, — это нам рисуется совершенно бесспорным!

Гибель поэтессы оказалась отчасти предрешена именно с момента встречи со Слонимом. Сотрудничество в эсэровской «Воле России» отдаляло ее и отрезало от тех кругов, где царили идеи Белого Движения, тем более от монархистов, ото всех, унаследовавших культ старой России. А в узком кругу левых, где она оказалась, — она не могла говорить в полный голос...

Вот и ее столкновение с молодыми младороссами, на докладе Слонима в Париже, выглядит печальным недоразумением. Они ее, видимо, знали и уважали как певца Белой гвардии; Слонима же хотели освистать как левого, как социалиста. Тогда как для нее Слоним был личным другом, — а верность дружбе у нее была в крови.

Главную же трагедию составила эволюция ее мужа, Сергея Эфрона, левевшего не по дням, а по часам. Она любила белого героя — а он превратился в изменника, в советского патриота, и наконец в чекистского агента по мокрым делам. Оторвать от него сердце она не могла и не желала, да и считала своим долгом следовать за ним повсюду. Не совсем ясно, почему дети целиком подпали под влияние отца, человека ординарного и небезупречного, а не талантливой, выдающейся матери? Возможно, в житейских, бытовых обстоятельствах талант помогает мало. Ну да это нужно бы было разбирать в ином и отдельном исследовании.

Не исключено даже, что многочисленные увлечения Марины, которые мы, соглашаясь в этом со Слонимом, относим к поэтическим фантазиям, имели подсознательной подоплекой стремление вырваться из семьи, неуклонно толкавшей ее в бездну. Но ей убийственно не везло в выборе: фигуры вроде Родзевича выглядят куда более отталкивающе, чем Эфрон, а о таких, как Штейгер, смешно и упоминать.

Эфрон говорил жене: «Представьте себе вокзал военного времени — большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею — все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга. Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается — минутное облегчение — слава тебе, Господи! — но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал — впрочем, вместе со многими и многими! — не в тот поезд, что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет — рельсы разобраны».

В такой именно поезд — не в ту сторону — и попала по его, Эфрона, вине Марина Ивановна. Зловещий поезд довез ее до Елабуги и до безымянной могилы.

Но осталась слава, которая не вянет, а растет и растет. Мало риску предсказать, что на могиле (хотя точное место ее и неизвестно) будет возведен памятник. Несомненно, горы книг будут напечатаны о страшной судьбе этой жертвы большевизма.

Хочется надеяться, что в работах о ней в конце концов восторжествует правда. А ложные трафареты и вредные мифы отлетят и рассеются как дым!